

Ольга Денисова

МАТЬ СЫРА ЗЕМЛЯ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «СЕРИИ»



ОЛЬГА ДЕНИСОВА



МАТЬ СЫРА ЗЕМЛЯ

УДК 82-3
ББК 84.44
Д33

Редактор *Елена Липлавская*

Денисова Ольга Леонардовна
Д33 Мать сыра земля: роман. – СПб.: Издательство
Сморода, 2013. – 384 с.

ISBN 978-1484853863

В маленькой северной стране, оккупированной мировторческими силами, в полуразрушенном бомбежками городе живет угонщик автомобилей, а вместе с ним — четверо мальчишек-беспризорников. Ему нет дела до того, что по его земле ходят чужаки, он не вмешивается в политику и презирает бойцов сопротивления. До тех пор пока не сталкивается с вывозом за рубеж уникальной технологии...

УДК 821-3
ББК 84.445

ISBN 978-1484853863

© **Ольга Денисова, 2012**

ОТ АВТОРА

Представьте себе абсолютную темноту перед глазами и полное отсутствие звуков. Каким органом чувств мы измерим ее глубину? Между тем, человек безошибочно определяет, что перед ним: потемки маленькой комнаты, чернота дощатой сцены с выключенными прожекторами или мрак бескрайнего пространства впереди.

Этот дом возник посреди бескрайнего пространства в полной темноте — деревянный коттедж в скандинавском стиле, приземистый и вытянутый в длину, с покато черепичной крышей, засыпанной снегом. Никакие прожектора его не освещали. Пожалуй, был виден только свет из окон, который разгонял темноту вокруг стен и отражался от снега — насколько хватало силы этого света. Я даже не знаю, был ли дом одинок в бескрайнем поле или стоял среди других таких же домов? Или под горой? Или на берегу реки? Или возле шумного шоссе? Мне был виден только дом, его свет и слышались звуки внутри него, но не снаружи.

Три окна библиотеки окрашивали снег в цвет спелого меда; а в том, что эта комната служила библиотекой, не оставалось никаких сомнений: застекленные стеллажи с книгами упирались в низкий потолок по всем четырем стенкам. Электрический камин играл сполохами огня, а в кресле возле журнального столика сидел солидный человек в уютном трикотажном костюме и в мягких тапочках на босу ногу. Широкая рюмка с остатками коньяка на дне повисла у него между пальцев, голову — седую, с двумя широкими залысинами — он откинул на спинку кресла. И не открывал глаз.

Он не спал, даже не дремал, хотя любой на моем месте принял бы его за спящего. Он высматривал что-то в абсолютной темноте бескрайнего пространства. Конечно, было бы забавно, если бы он увидел выхваченные из темноты окна моей комнаты, но тогда не было бы этой книги. Он видел совсем другое.

Мне так и не удалось узнать его настоящего имени из черновика его книги, на титульной странице которого он не удосужился ничего написать. Осталось только его детское прозвище — Килька. Мне было смешно оттого, что этого плотного дядьку лет пятидесяти называют Килькой.

Он оказался очень милым занудой, кропотливо объясняя своим читателям очевидные вещи, забегая в повествовании вперед, наивно раскрывая карты в самый неподходящий момент, не мучая загадками, затягивая диалоги и пропуская целые куски настоящего действия; по двадцать раз он повторял одно и то же, не надеясь на память читателей. Добрый романтик! Нестрогий судья с устаревшими принципами, реликт, более напоминающий разночинца века девятнадцатого, чем интеллигента века двадцать первого. Откуда он взялся такой? Килька...

Он заставил меня привязаться к нему. К нему и к его «гостям».

Мы вместе прошли весь путь, от первой страницы до последней точки. А если абсолютно темное пространство мутнело и дом с освещенными окнами терялся и блекнул, мне приходилось раздвигать эту муть, словно липкие водоросли на дне холодной реки, чтобы не пропустить ни одного слова.

Ветер подымается, звезда меркнет,
Цезарь спит и стонет во сне.
Скоро станет ясно, кто кого свергнет,
А меня убьют на войне¹.

Сейчас я в два раза старше, чем Моргот тогда. И в пять раз — чем я сам в то время. Теперь я могу смотреть на это с высоты прожитых лет. Что я понимал в те времена? Мне казалось — очень много. Прошло больше сорока лет, и реальность предстала передо мной гораздо более правдоподобной, но вместе с тем я понял, что не знаю почти ничего.

Я всегда мечтал написать эту книгу. Я хотел бы сложить о нем песню, но песен слагать я никогда не умел. Мы с Бубликом множество раз додумывали эту историю, особенно ее конец. Став взрослым, я старался достроить в воображении то, чего не видел и не знал, и часто мне казалось, что вот это-то и есть та самая правда, но шло время, и я понимал: это снова мои выдумки, ничем не отличающиеся от наших с Бубликом сказочных историй. Я создавал файлы с названием «Моргот», сидел, глядя в белый лист, развернутый на экране, и даже порывался что-то написать, но неизменно стирал написанное: по прочтении оно оказывалось косноязычным, доморощенным, смешным. Особенно по сравнению с тем, что когда-то в своей записной книжке написал Моргот.

Я бы так и не сумел начать, если бы однажды зимней ночью он сам не явился ко мне. За окном выла вьюга, снег стучал в стекло, и книга, которую я читал, навела сон. Ничего удивительного не было в том, что я отложил ее и откинул голову назад. Тогда он и вошел ко мне в библиотеку. Такой, каким я его помню: высокий и гибкий, в неизменном черном свитере и узких черных брюках, расправляя и чуть приподнимая плечи — он всегда приподнимал плечи, чтобы они казались круче. Я сразу узнал его легкую, танцующую походку, его узкое бледное лицо с выпирающими скулами, иссиня-черные прямые волосы, всегда отросшие, но никогда не достающие до плеч, и глубоко посаженные светлые глаза. Он мнил себя демоном, случайно запертым на земле, земля

¹ В. Щербаков. Ad Leucopoen.

казалась ему скучной и неполноценной по сравнению с мирами, что лежали за ее пределами. Он не сомневался в своем бессмертии. И мы с Бубликом еще много лет верили в то, что он пришел на землю из иных миров, а потом, выполнив свою тайную миссию, возвратился домой. Когда открылась дверь в библиотеку, мне показалось, что в проеме за спиной Моргота мелькнуло черное кожистое крыло...

— Ты стал толстым, Килька, — сказал он мне, усаживаясь в кресло напротив и разворачивая к себе электрокамин. — Я всегда думал, что ты станешь эдаким ученым интеллигентом, но в то, что ты потолстеешь, я бы не поверил никогда.

Моргот подвинул к себе широкую рюмку из-под коньяка и плеснул в нее из бутылки, не дожидаясь, когда я ему это предложу. А потом закурил и развалился в кресле.

Я не удивился и даже не обрадовался, из чего можно определенно сделать вывод: это был всего лишь сон. Но я испытал боль — тянущую боль старой, давно затянувшейся раны. От этой боли слезы навернулись мне на глаза, я словно вернулся в то время, когда мне еще не исполнилось одиннадцати лет.

— Я хотел написать о тебе книгу, — сказал я.

— Это забавно, — усмехнулся Моргот. — Никогда не думал, что кто-то напишет обо мне книгу.

Он врал. Он всегда об этом мечтал и не сомневался, что книгу о нем кто-нибудь напишет. Он любил находиться в центре внимания, он выставлял напоказ свои мысли и суждения (не вполне искренние, впрочем), он любовался собой каждую минуту и считал, что все вокруг должны им любоваться, и восхищаться, и любить его, такого замечательного, такого талантливого, такого загадочного. Я хотел написать ее именно поэтому — зная, как для него это важно, как ему этого хочется.

Мне было непривычно смотреть на него свысока...

С этого вечера и началась моя книга. Стоило мне включить камин и откинуться в кресле, выпив коньяка, ко мне являлись те, кто давно оставил эту землю. Они приходили, и мне казалось, что они говорят со мной. Иногда я думал, что сошел с ума. Но стоило им покинуть

библиотеку — я хватался за клавиатуру (я консерватор, и все эти технические новшества вроде диктовки текста или записи его от руки мне не нравятся) и стучал по клавишам до самого рассвета, позднего зимнего рассвета. На этот раз я не сомневался: то, что я записываю, произошло на самом деле. Слишком прозаичной оказалась эта история по сравнению с нашими выдумками.

Я не чувствовал усталости, но с каждым днем реальность уходила от меня все дальше — до тех пор, пока я не поставил последнюю точку. И время, повернутое вспять, вдруг остановилось... Я ждал чего-то. Я на что-то надеялся. И никто меня не понимал. А я, одиннадцатилетний, стоял перед заправочной станцией, вглядываясь в зарево над огромным городом, и ждал.

Бублик приехал ко мне на следующий же день после моего звонка — поезд шел от него ко мне сутки, и ровно через сутки он позвонил в мою в дверь. А это значит, что он не раздумывал, а сорвался с места и выехал сразу. Он приехал и сел в кресло, где до него столько ночей подряд сидел Моргот. Он читал мою книгу взахлеб, судорожно переворачивая страницы, лихорадочно бегая глазами по строчкам, и мне становилось страшно: а не продолжение ли это моих снов? А если продолжение, то кто сидит передо мной? Бублик ли? И жив ли он, друг моего детства?

И когда он дошел до последней точки — я видел это, — для него тоже остановилось время. Но он всегда был сильнее меня и всегда мыслил здраво.

— Ну и чего ты ждешь, Килька? — через несколько минут спросил он. — На что ты надеешься?

— Как ты думаешь, ему бы понравилось? — спросил я, ощущая себя ребенком, ищущим одобрения у друга (Бублик был старше меня на год). Словно оба мы стояли перед дверью в каморку Моргота и боялись переступить через порог.

— Ну, если вычеркнуть половину... — улыбнулся Бублик. — Добавить немного героических эпизодов, рассказать, как он хорошо смотрелся и как все вокруг были им очарованы... Кроме нас, разумеется.

— Я хотел, чтобы он был живым, понимаешь? Чтобы он оставался таким, какой он есть. Мне казалось, стоит мне написать все так, как это было на самом деле, и он оживет, вернется. Но он не вернулся.

— Ах вот чего ты хочешь? — Бублик кисло улыбнулся. — Нет, Килька. Не выйдет. Та точка, которую ты поставил, стоит не на месте. Сядь, вот сейчас же сядь и напиши все до конца.

— Я не могу. Я не хочу.

— А ты через «не могу».

— Тогда вообще не останется никакой надежды.

— Килька! Да ты на самом деле не понимаешь? Я читал твою книгу, и это было так же, как будто он вернулся. А ты отнимаешь у него самое главное — то, ради чего он явился на землю. Он живет здесь, — Бублик потряс толстой распечаткой. — Он живет здесь!

А что, собственно, есть жизнь? Отражение в темной воде, образ в чьем-то затуманенном сознании, контур за заиндевелым стеклом? Или буквы на белом листе бумаги. След человека на земле не есть ли сам человек?

Не знать начал своих желаний,
Но помнить, как рождался свет...
И мнимой вечности планет
Не признавать за мирозданием;
Не дорожить своим дыханием,
И не считать часов и лет,
Отмеренных на ожиданье
Любви, супружеских тенет,
Уродства, старости, болезней;
Пятном на солнце бросить след!
Жечь пламень звезд в холодной бездне!
И пламень в сердце бесполезном:
В моем бессмертье смерти нет!

*Из записной книжки Морготы. По всей
видимости, принадлежит самому Морготу*

«Вы смотрите хронику пятилетней давности: толпы людей на улицах, словно зомби, вскидывают правый кулак вверх и кричат: «Непобедимы!». Не все они — фанатики, многие выгнаны на этот митинг страхом за свою жизнь. Ровно пять лет прошло с того дня, как потерпел крах кровавый коммунистический режим Лунича — одного из самых страшных диктаторов уходящего столетия. Вглядитесь в эти лица (камера скользит по толпе, выхватывая крупным планом отвратительного старика с приоткрытым ртом, зверскую рожу, заросшую бородой, интеллигентную даму с длинным носом, ребенка, оглядывающегося вокруг и неловко вскидывающего кулак): тогда никто не знал, кто стоит рядом с тобой — фанатик, соглядатай или завистливый сосед, готовый в любую минуту донести на тебя властям. И взлетали вверх сжатые кулаки, и неся над площадями воинственный клич, угрожающий всему миру: «Непобедимы!».

Теперь этой угрозы нет (камера показывает богатый квартал малоэтажной застройки, женщину с коляской, играющих в саду детей). Непобедимый режим на поверку оказался гнилым внутри. Мы смели его с лица земли, подарив маленькой северной стране свободу и процветание. Избранное народом правительство Матвия Плещука идет по пути мира и созидания. Люди поднимают свою землю из руин, и недалек тот день, когда наши солдаты смогут вернуться домой. (Камера показывает людей, сажающих деревья на пустыре, им

помогают военные. Крупным планом в кадре девушка, улыбающаяся молодому солдату.)

Эта победа далась нам нелегко. До сих пор не утихают споры, имели ли мы право вмешиваться якобы во внутренние дела суверенного государства. И даже в наших рядах нет единого мнения на этот счет. Но ответ прост: если бы не наше вторжение, тлеющий огонь ядерных запасников рано или поздно обернулся бы мировым пожаром. Диктатор, посмевавшийся грозить миру смертоносным оружием, полусумасшедший изувер, поставивший на колени свой народ и мечтающий о власти над планетой, — он бы не остановился ни перед чем (в объективе — вышки и колючая проволока). Даже бомбардировка крупных городов и стратегических объектов не заставила этого фанатика выполнить требования мировой общественности: он спокойно взирал на то, как под бомбами гибнет его народ, и стоял на своем. Лишь прямое введение миротворческих сил положило конец ему и его власти.

Незадолго до памятной даты наши журналисты посетили военные базы, говорили с нашими солдатами и офицерами. Разговор получился острым, полемическим, противоречивым, и в результате на свет появился фильм, который выйдет в эфир как приложение к нашему выпуску новостей. Итак, смотрите после рекламы!»

В кадре один другого сменяют военные разных званий и родов войск.

— Мы были уверены, что нас поддержат местные повстанцы, мы пришли к ним как освободители, но люди были столь напуганы режимом Лунича, что боялись выступить на нашей стороне. Наши переводчики говорили с ними, и все они в один голос сказали: «Вы уйдете, а мы останемся».

— Мы продвигались вперед с большими потерями, мы не ожидали такого сопротивления. Если бы мы знали, что нас ждет, мы бы остались дома!

— Мой друг был зверски убит боевиками-коммунистами. Коммунистическую заразу надо извести во всем мире, и я готов отдать за эту свою жизнь.

— Ядерное оружие в руках фанатиков — это страшно. Я воюю за мир во всем мире.

— То, что мы пережили, — это был кошмарный сон. Мне и теперь по ночам снится крик «Непобедимы» и сжатые кулаки,

вскинутые вверх. Это не люди, это даже не звери — звери не могут питать такой ненависти к себе подобным.

— Мы пришли на эту землю с миром, мы несли сюда свободу и законность. Но теперь я не могу с уверенностью сказать, как отношусь к живущим здесь людям. За каждой улыбкой мне чудится желание убивать нас, за каждым обывателем мне мерещится переодетый коммунист. Я все время оглядываюсь — мне кажется, кто-то целится мне в спину.

— Мы дорого заплатили за мир на этой земле. И мы не уйдем отсюда, пока последний коммунист не предстанет перед народным судом.

Мы обожали его. Мы смотрели ему в рот. Мы ловили каждое его слово и с восторгом бежали исполнять любое его желание. Лишь дети способны на такую любовь — к старшим братьям или старшим товарищам. Моргот не звал нас ни в братья, ни в товарищи, он всегда немного отстранялся и все время повторял: «Навязались на мою шею». Но у нас никого больше не было. Мы не могли назвать его ни учителем, ни воспитателем — он кормил нас и давал нам кров. И ничего не требовал взамен. Тогда нам казалось, что так и должно быть: четверо мальчишек на попечении одного, совершенного чужого им взрослого. Только потом, когда мы с Бубликом уже закончили университет, нам пришло в голову, что Моргот никогда не требовал от нас благодарности. И мы ее не испытывали, мы любили его, как щенок любит хозяина: бескорыстно, а не за миску с едой.

Мы жили в подвале — роскошном подвале во дворе бывшего инженерно-механического института. Бывшего, потому что в то время на его месте лежали развалины; говорят, когда бомбы падали на институтские корпуса, бомбардировщики целились в стоящий неподалеку завод, но, как обычно, промахнулись. А роскошным мы считали его потому, что прямо под нами проходил подземный силовой кабель, и в подвале было сколько хочешь электричества, и совершенно бесплатно. Конечно, электричество в подвал провел не Моргот — он ничего не умел делать толком, да и не хотел: он был удивительно ленив. Это пьяница Салех, сбежавший из армии прапорщик, в редкие минуты трезвости

мастерил удивительные вещи. Мы привыкли не обращать на него внимания: он или спал без задних ног, или бродил по городу в поисках выпивки. Хотя именно он привел всех нас в подвал к Морготу. Салех жалел нас, как ребенок из хорошей семьи жалеет бездомных котят, и тащил к себе — подкормить и обогреть. Как забота о взятых в дом котятках ложится на родителей, так и в подвале мы быстро переходили в ведение Моргота.

Силою Салех нашел под мостом морозной ночью — тот уже уснул; Бублика отбил от озверевшей толпы на рынке, когда того поймали на воровстве; я, сбежав из интерната, пытался утопиться в пруду — Салех нырнул за мной и разбил бутылку водки, там было мелко... И только Первуня — самый младший из нас — просто плакал, сидя на поребрике. Плакал оттого, что хотел есть.

Приводя очередного мальчишку в подвал, Салех говорил Морготу одну и ту же фразу:

— Ну ты посмотри, какой маленький!

Словно мы на самом деле были котятами. Когда «котятка» выздоравливали, отъедались и успокаивались, Салех терял к ним всякий интерес. А Моргот пожимал плечами и повторял: «Навязались на мою шею». Но он не искал способа избавиться от нас и «передать в хорошие руки», даже никогда не говорил об этом, принимая наше присутствие в подвале как должное.

Мне пятьдесят два года. Я не знаю, что им двигало. Я не понимаю его — почему? Он не был ни добрым, ни жалостливым, в отличие от Салеха, он не лил над нами пьяных слез — он нас не прогонял... Кто-то мог бы посчитать нас бесплатной прислугой — мы готовили, бежали в магазин, убирали в подвале, стирали белье, носили воду, но, честное слово, одного Бублика хватило бы на это с лихвой. Нас же было четверо, и времени на игры у нас оставалось предостаточно. Сейчас мне кажется, что Моргот нуждался в нашей бескорыстной любви. Тысячи людей заводят собак, чтобы увидеть в чьих-то глазах беззаветную преданность, чтобы кто-то бежал тебе навстречу, когда ты возвращаешься домой. Но четверо мальчишек отличаются от одного маленького спаниеля — за нашу преданность Моргот платил гораздо дороже, чем владелец четвероногого друга.

Он не мог жить без собственной комнаты, и единственное, что сколотил в подвале своими руками, — две

перегородки, отделявшие угол, где он запирался от нас. Это было священное место: каждый раз, переступая порог его каморки, мы испытывали трепет. Такой же трепет испытывает уличный пес, когда его пускают в прихожую хозяйского дома. На бетонном полу там лежал протертый до дыр ковер, стенки были затянуты выцветшим гобеленом, а широченная кровать с выступающими пружинами матраса занимала больше половины угла — нам это казалось красивым и богатым. Мы тогда думали, что Моргот очень богатый; между тем, все убранство своей комнаты он собирал на свалках. Еще там стояли обшарпанный письменный стол и стул. Вещи он хранил в чемодане под кроватью. Да, Моргот не мог не смотреть на свое отражение — на двери в каморку, изнутри, висело большое мутное зеркало.

Он очень много курил — длинные тонкие темно-коричневые сигареты. Примерно два блока за неделю. Я не знаю, где он их доставал, — с сигаретами в городе было плохо, они стоили дорого, из чего мы снова делали вывод, что Моргот очень богат. Просыпаясь утром, он сначала брался за сигарету и выкуривал ее, еще не открыв толком глаз. Иногда он и ночью просыпался, чтобы покурить.

Он жил угоном машин и мелким грабежом, и, конечно, этих денег едва хватало, чтобы сводить концы с концами. Он запрещал нам попрошайничать на улицах, но мы все равно попрошайничали — у мальчишек множество расходов: сласти, спички, игрушки. О своих запретах Моргот тут же забывал и вспоминал только под настроение.

Он ненавидел деньги, его лицо всегда приобретало брезгливое выражение, когда он брал их в руки, и мы не понимали этого — деньги казались нам очень полезной штукой. И вместе с тем он нуждался в них, за что ненавидел еще сильнее, — он был исключительным мотом, спустил за несколько дней столько, сколько любому хватило бы на месяц, а потом сидел на бобах, хандрил и ругался.

Все эти подробности до сих пор вызывают у меня тоску — я не знаю, по Морготу ли я скучаю или по своему детству? Наверное, его следовало бы назвать тяжелым, но те два года, что я провел в подвале Моргота, были самыми счастливыми в моей жизни после потери родителей.

Город лежит в развалинах,
и на камнях его — черные ожоги.
Он похож на убитого зверя.
Сквозь его мертвое тело прорастает
сорная трава — высокая и кустистая.
Ее называют бурьян.

*Из записной книжки Моргота. По всей
видимости, принадлежит самому Морготу*

В тот вечер, довольно поздно, к нам явился Макс — одноклассник и друг детства Моргота. Мы любили Макса и знали, что он настоящий боец Сопротивления, правда, не вполне понимали, кому он сопротивляется. Он совсем не напоминал те страшные рожи, которые нам показывали по телевизору, называя их боевиками. Мы почему-то упрямо стояли вне политики, происходящее казалось нам слишком противоречивым, чтобы делать какие-то выводы. Разные взрослые говорили разные слова, и никому из них доверять в полной мере мы не хотели. А Моргот о политике с нами не говорил. Только иногда кривился, проходя мимо телевизора, или орал из своей каморки, когда мы смотрели мультики:

— Да выключите вы наконец этот гребаный ящик? Это же невозможная чушь!

Мы хотели быть такими, как Моргот, но мальчишки любят игры в войну, и Макс — настоящий боец — прельщал нас не столько своими убеждениями, сколько тем, что сражался против кого-то с оружием в руках.

Он был очень высоким, и в подвале ему приходилось пригибать голову, чтобы не касаться макушкой потолка. Мы, в силу малого роста, не замечали, что потолок висит у взрослых прямо над головой. Макс имел косую сажень в плечах, светлые выющиеся волосы и лицом — добродушным и жалостливым — напоминал плюшевого медведя. Сейчас мне кажется, что человек с таким лицом не мог стать боевиком, не мог стрелять, убивать.

Он зашел в подвал, как всегда, пригибаясь, захлопнул дверь и выкинул вверх правый кулак в знак приветствия. Мы повскакали с табуреток и ответили ему тем же, хором заорав:

— Непобедимы!

Для нас это была игра, мы не очень хорошо понимали смысл этого жеста, нам попросту нравилось орать хором.

В ответ на наш крик из каморки тут же высунулся Моргот — взлохмаченный, босиком и с сигаретой в зубах.

— Какого черта... — зашипел он. — Сколько раз говорить, чтоб я этого больше не слышал, а?

— Здорово, Морготище, — рассмеялся Макс.

— Принесла нелегкая, — поморщился Моргот, скрылся в каморке, а вернулся оттуда в тапочках, слегка пригладив волосы. Макс тем временем без приглашения уселся за стол и тут же, словно извиняясь, сказал:

— Я по делу.

Они дружили с первого класса, но Макс был почти на год старше и всегда относился к Морготу немного свысока — об этом Моргот рассказал мне потом. И я уже сам догадывался: он хотел быть таким, как Макс, подсознательно копируя его манеры, слова, походку и выражение лица, и одновременно непременно желал противопоставить самого себя другу, доказать ему собственную исключительность и превосходство.

— Макс, ты же знаешь, я не интересуюсь твоими делами, — Моргот зевнул и развалился на стуле напротив, оперев его спинку на стену и закинув ноги на табуретку.

— Ты всегда был трусом, — беззлобно усмехнулся Макс, включая чайник.

Моргота передернуло, и я подумал, что Макс не прав. Кем-кем, а трусом Моргот не был никогда.

— Моргот не трус! — воинственно сунулся Бублик, на что тут же получил от Моргота в лоб.

— Не лезь, когда старшие разговаривают! Развесил уши! И вообще, катитесь по кроватям! Давно спать пора, надоели...

— Ну, Моргот... — затыкнул Первуня. — Ну еще немножко... Мы будем тихо играть.

— По кроватям, я сказал! Вы тихо играть не умеете. И чтоб никаких разговоров!

— Что ты на них все время кричишь? — Макс склонил голову на бок, выражая снисходительный укор.

— Не твое дело, — ответил Моргот спокойно.

— Думаешь, дисциплину можно поддерживать громким голосом?

— Дисциплину я поддерживаю крепкими затрещинами.

Тут он не соврал — рука у Моргота была тяжелая, и поддать он мог вполне ощутимо. Но ни разу он никого

из нас не ударил просто так, от раздражения или от злости. Мы считали его справедливым.

Конечно, они говорили о политике. Я запомнил этот разговор, как и сотню других разговоров Моргота, — мы всегда прислушивались, о чем он говорит. Лежа под одеялом, я старался не закрывать уха и одним глазом смотрел на них обоих: Макс сидел ко мне лицом, а Моргот — вполоборота.

— Ну как, сколько военных баз противника Спротивлению удалось уничтожить за последний месяц? — усмехнулся Моргот, глубоко затягиваясь новой сигаретой.

— Знаешь, все это вовсе не смешно, — ответил Макс.

— А почему, собственно, мне не посмеяться? — с вызовом спросил Моргот.

— Иногда я поражаюсь твоему цинизму. Ты до сих пор считаешь, что тебя все это не касается?

— Нисколько не касается. Мне хорошо во все времена и в любом месте, — Моргот поменял местами скрещенные ноги.

— Ты сам не веришь в то, что говоришь.

— Ты так думаешь?

— Я в этом не сомневаюсь, — процедил Макс. — Послушай, когда всех твоих накрыло бомбой, когда тебе нечего было хоронить, ты тоже так думал? Ты тоже нес эту ерунду про все времена?

— Оставь, — Моргот поморщился. — «Бокалы пеним дружно мы и девы-розы пьем дыханье...» Я — жив, понимаешь? И этого достаточно, чтобы жить дальше, только и всего. Или я, по-твоему, должен разбить башку о могильные камни?

— Ты хочешь казаться хуже, чем есть на самом деле.

— Я такой, какой я есть! — фыркнул Моргот. — Нравится тебе это или не нравится. И я не хочу принимать участие в твоих делах не потому, что они меня пугают, а потому, что ты занимаешься ерундой, играешь в войнушку. Вы ничего не добьетесь, вы ничего не можете сделать! Все это полная чушь, разговоры и напрасная трата времени! Чем-то напоминает кнопку на стуле учителя. Конечно, учителю неприятно, но он останется учителем.

Макс сузил глаза:

— А если вместо кнопки окажется промокашка, пропитанная йодистым азотом? И так — три раза в неделю? Долго он продержится в учителях, этот учитель?

— Тебя раньше выкинут из школы, — рассмеялся Моргот, — да и промокашек я пока что не видел, только кнопки. Три выстрела из-за угла — это не война.

— Ты ничего не знаешь, — усмехнулся Макс. — Если по всему городу не грохочут взрывы, это не значит, что наша работа не имеет никакого смысла. Мы бьем редко, но метко. В самые больные места. О наших операциях не всегда пишут в газетах, это правда. Но от этого удары не становятся слабей. Мы не даем вывозить из страны ресурсы, мы делаем эту войну слишком дорогой для них. А сейчас, когда комендантский час отменили, у нас и вовсе развязаны руки. Вот увидишь, не позже чем через год мы развернем настоящий фронт.

— Да ну? Может, вы и демократические выборы подготавливаете? — Моргот рассмеялся еще громче. Смеялся он открывая рот и показывая все зубы — звонко и заразительно.

— Ты можешь не верить...

— Да я верю, верю. В прошлом году вы фронт уже разворачивали. И чем это кончилось? Вас переловят рано или поздно, и некому будет продолжить ваше правое дело. Вы не можете добраться до военных баз, а остальное — полная чушь. И потом, коммунизм — это не модно. Попробуйте какой-нибудь другой лозунг.

— Коммунизм здесь ни при чем, — терпеливо объяснил Макс, — мы воюем против захватчиков, против агрессоров.

— Долой иноземных солдат! По-моему, прекрасно.

— Ты напрасно издеваешься. У нас все больше сторонников.

— Видел я этих сторонников, — хмыкнул Моргот, — они не думают ни о чем, кроме денег, которых у них нет. Какой тут фронт! О чем ты говоришь?

— Видишь ли... Я считаю, что любовь к родине — естественное чувство для каждого человека. А что естественно, рано или поздно пробьет себе дорогу.

— Пффф, — прошипел Моргот, — у них никто не отнимает родины. Им дают новую родину — демократическую. Справедливую. Общество равных возможностей. И, знаешь, многие верят, что скоро начнут жить гораздо лучше, чем жили при Лунице.

— Надеюсь, ты в это не веришь? — спросил Макс.

— Я вообще не хочу это обсуждать. Равно как и ваши перспективы на разворот настоящего фронта. Все это — полная чушь.

— И чем ты тогда от них отличаешься?

— Я принимаю жизнь такой, какая она есть. Я радуюсь жизни, понимаешь? Я радуюсь, что ту ночь, когда на мой дом упала бомба, я провел с девкой в трех кварталах от него.

— Это здорово, конечно, что ты так хорошо устроился... — Макс сжал губы. — Подвал, грабеж, угон... Жизнь прекрасна и удивительна!

— Да! — Моргот выпрямился. — Да, она прекрасна и удивительна! Я беру у нее то, что могу взять!

— Ты же бессмертен? — хмыкнул Макс.

— Не передергивай. Бессмертие — это другое. Я не боюсь смерти, я просто живу. Я живу так, как мне нравится.

— Ну-ну... Живи, как тебе нравится. Знаешь, то, что тебе кажется игрой в войнушку и полным идиотизмом, миротворцы таким не считают. Они и торчат здесь пятый год подряд только для того, чтобы не дать нам открыть фронт, чтобы мы не могли собрать силы для реального удара. Потому что если бы не они, правительство Плещука не продержалось бы у власти и месяца.

— Не надо только лекций, — Моргот демонстративно зевнул. — Даже если миротворцы отсюда уберутся, никто и никогда не вернет того, что они называют «режимом Лунича». Надо быть таким наивным, как ты, чтобы в это верить.

— Лунич жив, — Макс сузил глаза.

— Ага. Лунич жил, Лунич жив, Лунич будет жить. В наших сердцах еще лет десять-пятнадцать.

— Моргот, он жив. Я видел его. Я говорил с ним.

— Это ничего не меняет, как ты не понимаешь?

Несмотря на любопытство, я быстро задремал под их голоса — я не понимал и половины из того, о чем они говорят. А проснулся среди ночи — как мне показалося — от крика Моргота:

— Килька!

Они давно перебрались в каморку, а он всегда звал нас, не вставая с постели, если ему было что-то нужно.

— Что ты кричишь? Они же спят давно! — зашипел Макс.

— Ничего, проснутся. Килька!

— Чего? — сонно спросил я, продирая глаза.

— А ну иди сюда!

— Ну чего? — я захныкал: мне очень хотелось спать.

— Ничего. Иди сюда, сказал.

Я не знаю, почему мы всегда его слушались. Уж точно не потому, что он мог прийти и силой вытащить меня из постели, — мы несколько его не боялись. Я, как сомнамбула, вылез из-под одеяла и пошлепал босиком по бетонному полу в сторону его каморки.

— Ну чего? — я приоткрыл дверь и сунул голову внутрь.

— Килька, кто такой Лунич, ты знаешь?

— Конечно. Он диктатор, — я вздохнул, словно отвечал урок у доски. — Он насаждал у нас коммунизм, и, если бы не переворот, мы бы до сих пор жили при его кровавом режиме.

На самом деле я подозревал, что это полная ерунда. Но думать спросонья мне не хотелось, и я выдал первое, что пришло в голову.

— Килька, — ласково спросил Макс, — ты где это услышал?

— В интернате, где же еще... К нам тетки приезжали из гуманитарного фонда, еду везли. Нас всех заставили выучить перед их приездом.

Моргот ухмыльнулся.

— Килька, а кем были твои родители, ты знаешь? — спросил он безжалостно.

— Знаю. Мама врачом была, а папа инженером, — я постарался не думать о них, мне было очень больно думать о них.

— А за что их убили, ты знаешь?

Я не смог ответить — только закусил губу, чтобы не разреветься.

— Моргот, прекрати, — забормотал Макс сквозь зубы. — Он ребенок, он хочет спать, не сейчас же с ним об этом говорить и не таким тоном.

— Да ну? А когда еще? Может, ты придешь к нам как-нибудь днем, мы вместе пойдем в парк на карусели, и там, в каком-нибудь кафе-мороженом, за стаканчиком молочного коктейля стоимостью в месячную зарплату врача, мы и поговорим о том, почему он остался сиротой в восемь

лет? Килька, твои папа и мама прятали у себя раненых боевиков, сторонников кровавого режима Лунича.

В ту минуту мне не хватило сил думать об этом. В интернате со мной работал «псих», как его называли другие ребята, — то ли психолог, то ли психиатр. Он-то и научил меня отстраняться от этих мыслей, не пропускать их через сердце. И я отстранился — и шагнул назад, в темноту подвала, где никто не увидит моего лица.

Конечно, я знал, как и за что убили моих родителей. Но я не мог думать об этом. И «псих» тоже говорил мне, что думать об этом не надо.

— Иногда мне очень хочется дать тебе в морду, — сказал Макс и отвернулся от Моргота.

— Не понимаю, что тебя останавливает, — фыркнул Моргот. — Килька, иди спать...

Я тихонько прикрыл дверь — она скрипела — и пошел обратно в кровать. Только теперь не мог уснуть и невольно прислушивался к разговору за тонкой перегородкой.

— Чего ты этим добился? — Макс скрипнул зубами так громко, что я услышал это и под одеялом.

— Я готовлю тебе смену. Ты думаешь, он не знает, что произошло с его родителями? Прекрасно знает. Их там всех покрошили в капусту: и раненых, и женщину, которая их лечила, и ее мужа. Всех! Килька чудом жив остался. Случись подобное веков этак пять-шесть назад, и он был бы одержим кровной мстью. А он не одержим! Он как зомби повторяет чушь, вбитую ему в голову в интернате, и не видит в происходящем противоречия. Он не хочет об этом думать! Он не сопоставляет фактов!

— Ты слишком много хочешь от десятилетнего ребенка. Сейчас не каждый взрослый способен сопоставлять факты.

— Брось. Все способны. И Килька способен. Он не хочет. У него в голове что-то сместили. Как будто выключили что-то.

— А у тебя, Моргот? У тебя не выключили? — Макс хлопнул ладонью по столу. — Ты же ведешь себя ровно так же! Разве твоих родителей не убили? А ты разве одержим кровной мстью? Ты-то не ребенок!

— Я не одержим именно потому, что я не ребенок. Я отдаю себе отчет в том, какая мерзость происходит со

мной. И, знаешь, нахожу в этой мерзости какое-то удовлетворение.

— Как всегда! — ответил Макс. — Это поза, Моргот! Поглядите, какой я негодяй! Не понимаю только, зачем тебе надо, чтобы этот мальчик тоже ощутил себя негодяем. Он, в отличие от тебя, ничего сделать не может.

— Нет, Макс. Не в отличие от меня. Ты хочешь, чтоб я встал в твою позу: посмотрите, какой я герой? Я бы назвал ее: посмотрите, какой я кретин.

— По-твоему, всякий, кто защищает родину с оружием в руках, — кретин? — в голосе Макса послышалась угроза.

— Нет, наверное. Но пьяный мышонок, который собирается бить морду коту Ваське, уважения у меня не вызывает, только смех.

— Ты основываешься на собственных пессимистичных прогнозах?

— Нет. Я основываюсь на здравом смысле.

Вскоре Макс ушел, а я так и не мог уснуть. Я не плакал, хотя, наверное, стоило бы. Иногда мне бывало так плохо, что я не мог плакать. Тогда мне казалось, что я схожу с ума.

Прошло наверное, не меньше полутора часов, когда я увидел, что ко мне на цыпочках приближается тень Моргота. Когда он ночью уходил в город, то всегда надевал кеды — их белые подошвы были хорошо видны в темноте, и он мазал их гуталином, зато ступали они бесшумно.

— Килька, — он тронул меня за плечо.

— Чего? — шепотом спросил я.

— Вставай, пошли со мной.

Он сказал это так странно, как никогда до этого со мной не говорил. Поэтому я ни о чем не спросил, а поднялся и начал одеваться. В темноте блестели белки глаз Моргота — мне показалось, что все это мне снится или я на самом деле сошел с ума, мне почему-то было очень страшно и весело одновременно. Меня даже слегка потряхивало — от волнения. Словно он заразил меня своим ознобом, своим неправильным, ненормальным возбуждением.

Мы вышли из подвала, и я сразу же споткнулся, не разглядев в темноте кирпича под ногами. Моргот взял

меня за руку и уверенно повел вперед — я думал, он видит в темноте. Я ни о чем не спрашивал его, просто шел рядом. Мне не было любопытно — только страшно и весело. Я чувствовал, как дрожит его рука. Он шел быстро, так что я еле поспевал за ним; впрочем, он всегда ходил быстро.

— Макс, собака, приперся не вовремя... — проворчал он вдруг. — Четвертый час уже...

Инженерно-механический институт располагался на границе «старого» города и новостроек. Когда-то в сторону проспекта, вдоль которого стояли длинные серые девятиэтажки, вела узкая зеленая улица с двухэтажными домами, построенными сразу после войны; теперь она превратилась в мрачный коридор между развалинами, освещенный, по непонятной случайности, двумя фонарями на погнутых столбах. Мы часто играли на этих развалинах. Сегодня фонари не горели.

Мы шли довольно долго — обогнули сияющий рекламной центр и вышли в «спальные» кварталы с другой его стороны. Я все еще подозревал, что это сон. Никого не было вокруг, только мы с Морготом. Как на другой планете. Огромный город, похожий на разоренный муравейник, замер в свете редких и тусклых фонарей. За пять лет успели разобрать не все завалы, и черные груды строительного мусора, в который превратились панельные дома, стали курганами, поросшими травой. Только местами из них торчали усы покореженной арматуры.

— Когда-то новостройки возводили с таким расчетом, чтобы разрушенные дома не загораживали проезда танкам... — сказал Моргот, доставая из кармана пачку сигарет. — Никто не верил в те времена, что такое на самом деле произойдет.

Мы свернули к виадуку над бывшей сортировкой, на котором движение было закрыто еще три года назад, и в двух местах нам пришлось перепрыгивать через широкие проломы, затянутые арматурой: понизу было не пройти, там и теперь стояли остовы товарных вагонов. Что-то сгорело во время бомбежек, а то, что осталось, люди давно растащили по домам. Но голые колеса и платформы, исковерканные, перевернутые, заросшие кустарником, все еще лежали на вывернутых из земли рельсах.

Моргот прыгал без труда, я так не мог. Он в детстве занимался легкой атлетикой и картингом и много раз говорил, что его детские увлечения сделали из него профессионального угонщика и грабителя.

— Руку давай, — он наступил на прогнувшийся под его весом ржавый стержень и взялся другой рукой за широкие перила моста, не вынимая изо рта сигареты.

Мне было страшно, но показать этого Морготу я не посмел: он бы стал смеяться. Я закрыл глаза и вцепился в его пальцы изо всех сил, а он перетащил меня на другую сторону. Обрывался виадук неожиданно, метрах в трех над землей, но и это Моргота не задержало. Он сначала повис на руках, цепляясь за металлические «ушки» бетонных плит, а потом спрыгнул вниз — легко и бесшумно.

— Давай, не бойся, — сказал он мне снизу, — я тебя ловлю.

— Я не боюсь, — ответил я. И действительно не боялся — мы частенько лазали по развалинам и спрыгивали и с большей высоты.

Потом мы шли по разбитой бетонной дороге через мертвую промзону. Сквозь стыки бетонных плит прорастали кусты малины, обочину же заполонила высокая крапива — ее жгучие листья иногда касались моей голой руки, я отдергивал ее и чесал о штанину.

За сортировкой лежало болотце, затянутое ряской.

— Здесь когда-то были пруды, — сказал Моргот, — мы в них купались. И утки тут жили круглый год.

Я кивнул.

За болотцем прямо на земле стоял десяток вагонов без колес. Я очень удивился, когда увидел занавески на окнах и какие-то сарайчики, развешенное на веревках белье и даже свет в одном окошке.

— Здесь живут беженцы, — пояснил Моргот. — Городок на АЭС сровняли с землей, и они перебрались сюда.

Дорога через промзону выходила прямо на трассу, которая вела в аэропорт, — я этого не знал, мы с ребятами старались туда не соваться. Трассу окружал довольно фешенебельный район: мотели, огромные супермаркеты, салоны по продаже машин и новые заводы — преимущественно по разливу колы, изготовлению леденцов и жвачки. Здания из металлических блоков, напоминавшие

дешевые и холодные ангары, громоздились друг возле друга, исходили неоновым светом и навевали мысли о потемкинских деревнях: за ними, ничем не подсвеченные, лежали развалины и уродливые участки садоводов — с покосившимися парниками, сараюшками и рядами только что вылезшей из земли картошки.

Моргот не стал выходить на освещенную фонарями дорогу, и мы пробирались дальше задворками, пока я не догадался, куда он меня ведет, — в авиагородок, туда, где расположился квартал миротворцев. Двухэтажные домики их старших офицеров, похожие на времянки, — ровненькие и светлые, — стояли вперемешку с панельными девятиэтажками. Когда-то, по словам Морготта, там давали жилье служащим аэропорта, а мы считали, что там живут летчики. В городе шутили: миротворцы поселились возле аэропорта, чтобы можно было быстро смотать удочки, в случае чего.

— Стой здесь и не сходи с места, — велел мне Морготт, когда мы вышли на асфальтовую дорогу, ведущую в авиагородок.

Я ничего у него не спросил, но меня снова стало трясти, очень сильно, так что зубы застучали отчетливо и громко — мне опять было страшно и весело. И когда Морготт скрылся в темноте, мне стало еще страшней, а веселье куда-то исчезло. Я стоял посреди дороги, и дрожал, и казался самому себе маленьким и жалким. Мимо меня проехало три машины, но я издали замечал их фары и прятался в кустах — не знаю, почему я это делал, но думал, что никто не должен увидеть нас с Морготтом здесь. Прошло очень много времени, как мне казалось. Я не устал ждать, я бы простоял на том месте целую неделю, если Морготт так велел. Но дрожь моя только усиливалась, и я думал, что Морготт не вернется уже никогда. Совсем близко пролетел самолет, заходивший на посадку, — огромный, мигавший огнями. В другой раз я бы подивился, разглядывая его, но в тот раз меня лишь напугал его свистящий грохот.

Машину я издали не заметил — она подкралась бесшумно, ни одного огонька на ней не горело, и она вынырнула из темноты в десятке шагов от меня. Я метнулся к кустам, но она остановилась, дверь распахнулась, и раздался знакомый голос:

— Килька! Быстро сюда.

Я даже не удивился, только вздохнул с облегчением и сразу перестал бояться и дрожать.

Моргот включил фары, лишь когда выбрался за черту города, на шоссе. Я не очень хорошо разбирался в машинах, но то, что это была очень дорогая иномарка, догадался быстро. Одни сиденья, обитые светлой мягкой кожей, стоили уйму денег.

— Ты ее угнал? — спросил я, когда мы помчались по шоссе на сумасшедшей скорости.

— Нет, купил, — натянуто хмыкнул Моргот.

— Мы ее продадим?

— Нет, — бросил он зло, едва не выронив изо рта сигарету.

Я не стал больше спрашивать, мне уже не было страшно, у меня появилось совсем другое чувство — похожее на злорадство. Я не вполне осознавал его, но то, что Моргот угнал машину у миротворца, наполнил меня и ненавистью, и торжеством. То, что я так старательно прятал от самого себя, вдруг выплыло из глубины подсознания, и я расхохотался. Моргот скосил на меня глаза и ничего не сказал.

Мы ехали очень быстро, едва не летели. Иногда в свете фар мне чудилось, что асфальт поднимается горбом или проваливается куда-то вниз, но я не боялся. На поворотах Моргот почти не сбрасывал скорость, и я думал, что мы сейчас перевернемся. Это было похоже на аттракцион в луна-парке. Я снова считал, что это мне снится.

Мы перепрыгнули через железнодорожный переезд, и машина, визжа тормозами, свернула к заброшенной станции, от которой остались только развалины платформы и пешеходный мост. Нас сильно трянуло, мотор взревел как зверь, когда Моргот, нажав на газ, перелез через рельсы по гнилым деревянным сходям. Я каким-то внутренним чутьем угадал, что он собирается сделать и зачем мы едем по рельсам. И когда он заглушил мотор под пешеходным мостом, ничему не удивился.

— Выходи, — сказал он, открывая дверь.

Я кивнул и снова задрожал.

Моргот бросил сигарету на землю и с силой наступил на нее — я никогда не видел, чтобы он так тщательно тушил окурки.

На заднем сидении, оказывается, лежала пластиковая канистра — я ее не заметил. Моргот вытащил ее, медленно отвинтил пробку и протянул канистру мне.

— Держи. Сегодня твоя очередь.

Наверное, Моргот взял ее в гараже, откуда угонял машину. Я едва удержал канистру в руках: она показалась мне очень тяжелой, хотя в ней было всего литров пять. Я даже не спросил, что с ней делать, — мне все было ясно. Я неловко размахнулся и плеснул бензином прямо в салон, на обитые светлой кожей сиденья. Мне почему-то стало смешно, я неуверенно хохотнул и снова плеснул бензином — на этот раз на руль, и на полированную деревянную панель, и на дверцы, и на задние сиденья, а потом на капот, на крышу, в открытый Морготом багажник. Мне хотелось, чтоб она вся пропиталась бензином. Я обливал ее и смеялся, хохотал — и задыхался от этого смеха, захлебывался им и шмыгал носом, потому что из него вдруг потекло... Мне казалось, что я стреляю из автомата. Я слышал автоматные очереди в каждом всплеске, и эхо этих очередей заставляло меня хохотать еще громче. Я слишком хорошо помнил, когда слышал автоматные очереди так близко. И запах бензина напоминал запах пороха и крови. Мне хотелось, чтоб эта машина кричала, кричала громко — сначала от удивления, а потом от ужаса. Как моя мама.

Моргот отобрал у меня пустую канистру и швырнул в багажник.

— Пошли, — он дернул меня за руку.

Я все еще хохотал и размазывал по лицу слезы вперемешку с соплями. Моргот не успокаивал меня, не обнимал за плечо, а тянул за собой на мост, не обращая внимания на мою истерику.

В темноте я еле-еле разглядел машину внизу. Моргот не спеша закурил и облокотился на перила. А через минуту, дождавшись, когда я перестану хохотать, спросил:

— Ну что? Пора?

Я кивнул, глотая слезы.

— Держи. И смотри не промахнись, — он протянул мне недокуренную сигарету.

Рука моя перестала дрожать — я взял окурок и стиснул фильтр пальцами со всей силы.

— Я называю это ритуальным убийством, — сказал Моргот, вытряхивая из пачки новую сигарету. — Завтра они найдут машину и расскажут ее хозяину, что с ней стало. И ему станет страшно. Мне нравится, когда им страшно.

Я не знаю, хотелось бы мне, чтобы им было страшно, или нет. Потом, став взрослым, я думал об этом: они сделали это из страха. Тогда, когда это произошло, я считал их исчадиями ада, воплощенным злом, вселяющим ужас. А став взрослым, увидел мальчишек-солдат, нервных, перепуганных, а оттого злых, мешающих в одном стакане энергетические напитки и успокоительное, потому что они не смели пить спиртного. Они боялись, что в квартире им окажут сопротивление, они убивали не от ненависти, а от испуга! Они стреляли по мертвым телам и не могли остановиться, потому что боялись!

Моргот щелкнул зажигалкой и улыбнулся:

— Да кидай уже, щас окуроч погаснет.

И я кинул. Машина вспыхнула сразу, едва маленький огонек коснулся ее крыши. И горела она странно, словно не сама, а что-то вокруг нее, в сантиметре от поверхности. Жар дохнул мне в лицо, а я облокотился на перила так же, как Моргот, и смотрел на огонь — водоворот огня, — и странное спокойствие сошло на меня. Спокойствие и радость. Я не смеялся, только улыбался. Словно в этом огромном огне сгорало то, что мучило меня столько времени. И я тогда подумал еще: это начало. Я боялся думать об этом, у меня не было мыслей ни о ненависти, ни о мести. Я не хотел понимать, зачем и почему это сделал: слишком тяжелым было мое потрясение от потери родителей, чтобы я мог спокойно об этом рассуждать.

Мы пешком дошли до другой станции на той ветке, где ходили электрички. Когда мы туда добрались, рассвело, и я заснул еще на платформе, положив голову Морготу на колени, а проснулся уже на вокзале, в городе. Мне снился Моргот с черными кожистыми крыльями за спиной, на фоне большого огня. Мы летели рядом, планировали, падали в пропасть и снова поднимались вверх — на черных крыльях. А под нами был огонь. Я

очень хорошо помню этот сон, он и сейчас иногда снится мне, хотя я давно расту только в ширину и летать во сне мне не положено.

Мне хватило ума не рассказывать о происшедшем никому, даже Бублику. Я думал, что если бы миротворцы нас с Морготом поймали, то расстреляли бы. На самом деле, конечно, мне бы они ничего не сделали, разве что отправили обратно в интернат, а Моргота могли бы посадить в тюрьму, и только. Но мне было приятно думать о нас с Морготом вместе и представлять себя в смертельной опасности.

Тогда я так и не узнал, за каким делом к нам приходил Макс, и об этом мне рассказывал сам Моргот. Потом. Когда я уже начал писать эту книгу.

Воспоминания мои слишком яркие, неестественно яркие. Иногда мне кажется, что я не просто вспоминаю, а заново проживаю некоторые минуты, словно смотрю кино со своим участием. Я раздваиваюсь, распадаюсь на маленького мальчика Кильку и зрелого, поседевшего зрителя, который смотрит фильм, заранее зная конец.

Макс просил у него не так много — всего лишь стать завсегдатаем в арт-кафе «Оазис» на набережной. Послушать разговоры, собрать слухи, сплетни — кафе в последнее время вошло в моду. Раньше там собиралась богема — преимущественно непризнанные художники и поэты, от неприлично нищих до вызывающе богатых. Местечко славилось возможностью купить кокаин чуть ли не прямо за стойкой, а траву не стесняясь курили за столиками. И вместе с тем, это кафе не было наркопритоном и имело вполне презентабельный вид: тихая музыка, мягкий свет, картины на стенах. А также мини-вернисажи, литературные чтения, тематические вечеринки и даже небольшие спектакли — хозяйева кафе подерживали репутацию заведения, так что вскоре вокруг него образовалось разношерстное общество, мнившее себя аристократами по тем или иным причинам: от утонченного восприятия мира до непомерно высоких доходов. Моргот бывал там раза два — высматривал машины, которые бросали прямо на набережной, так как стоянки кафе не имело.

Конечно, Макс в этом кафе делать было нечего, он бы выглядел там бельмом на глазу: аристократической утонченностью он не отличался.

— Ты же ничем не рискуешь! — убеждал он Моргота. — Ты же не шпионить будешь, а просто передавать слухи.

— Ну и зачем они тебе нужны? — Моргот смерил друга взглядом.

— У нас был человек для этого — в другом кафе, покруче. И он там работал, барменом. Знаешь, барменов за людей никто не считает, и разговоры за стойкой ведут не оглядываясь по сторонам. Я узнавал от него очень многое. Например, о том, что продают Гипропроект, слухи начали ходить за месяц. Откуда мне, простому смертному, знать о таких сделках? А там это обсуждается свободно, в этом нет никаких тайн, просто я не вхож в тот круг, где об этом говорят.

— И что, вашего бармена уволили? — Моргот зевнул. Он догадывался, что ему ответит Макс, и зевнул нарочно, демонстрируя Максу свое безразличие к Сопротивлению.

— Его убили. Неделю назад, в перестрелке. Он был одним из нас... — Макс помолчал. — Я долго думал, кем его заменить и как: устроиться на работу в такое место не так просто. А в «Оазис» прийти может каждый, там и цены не самые высокие.

— Я не люблю богему, — поморщился Моргот.

— Какая разница? Ты же любишь играть, вот и сыграй! И потом, ты не любишь их, потому что такой же, как они. Тебе противно сознавать, что и кроме тебя есть люди, которые не хотят быть такими, как все.

Моргот поморщился и отвернулся. Он не просто умел играть — он считал себя настоящим лицедеем; он мог представить себя любым человеком и становился им. И верил в то, что он другой человек. В детстве с ним это случалось произвольно: он менял маски в зависимости от обстоятельств, от прочитанных книг, увиденного в кино — и тогда это действительно была игра, но не актерская, а детская игра с самим собой. Он был то рыцарем, то предателем и трусом, то отважным разбойником, то ловеласом, то пай-мальчиком, то двоичником и хулиганом. Все дети играют сами с собой, но Моргот, примеряя на себя маски, сливался с ними:

у него менялся голос, походка, лицо — он полностью растворялся в своем воображении. И проживал жизни десятков людей, и за несколько часов мог поменять несколько ролей и измениться: и внешне, и изнутри. Да, у него были любимые образы, но для каждой компании особенные и разные для разных людей. И больше всего на свете Моргот не любил, когда с него срывали маску: для него не было неудачи тяжелей, чем сломанная игра, или, как это называл Макс, невозможность устоять в той позе, которую он сам себе выбрал. Моргот боялся разоблачения не только перед другими — он боялся разоблачения и перед самим собой, хотя, конечно, мнение о нем тех, кто его окружал, было для него важнее собственного.

Моргот не знал, какой он на самом деле, и не хотел знать. И даже для своей записной книжки выбрал определенную роль и играл ее, оставаясь наедине с собой. Он мог быть кем угодно, и хотел быть совсем не тем, чем был, и верил, что никто не догадается о том, каков он есть без маски.

Да, конечно, маска демона, запертого на земле, очень ему шла. По натуре эмоциональный и несдержанный, он хотел выглядеть флегматично равнодушным; открытый и нуждавшийся в общении, он изо всех сил старался казаться замкнутым и таковым себя искренне считал. Не имея никаких способностей к точным наукам, он, тем не менее, выбрал после школы Технический университет и тратил уйму времени на доказательства своей состоятельности в математике и механике. От природы не отличаясь физической силой, он старался не попадать в ситуации, где это будет заметно, но с детства тренировал ловкость, быстроту и реакцию, преодолевая прирожденную лень. Моргот рисовал сам себя, сильно приукрашивая действительность («приукрашивая» в его понимании), и верил, что нарисованное — это и есть он сам.

И когда под тщательно вырисованным портретом проступало его истинное лицо, когда внутренняя сущность брала верх над ролью, он долго мучился и избегал людей, которые не только могли увидеть это, но и услышать об этом.

Однажды в школе у него брали кровь из вены — Моргот упал в обморок, единственный из всего класса. Он

сам не понял, как это случилось: он увидел темную кровь в стеклянном шприце, густую и пенистую, сначала у него закружилась голова, потом затошнило и появился холодный металлический привкус во рту. Он думал, что умирает. Но не умер — наверху со стула на каменный пол, набив шишку на голове. Девочки жалели его, а мальчишки посмеивались, и он не мог им объяснить, что это не зависит от него, что это произошло не от страха, это нормальная реакция очень многих людей. Не мог объяснить, потому что не мог отнести себя к таким людям, это противоречило образу хладнокровного демона — невозмутимого и бесстрастного. Моргот неделю не ходил в школу и все это время провалился на кровати, глядя в потолок.

После той ночи, когда на его дом упала бомба, он хранил на лице маску равнодушия довольно долго — почти сутки. Он играл не сломленного горем героя: сухие глаза, опущенные плечи, застывающий время от времени взгляд, короткие рваные фразы... Эта роль спасала его, потому что играть человека, у которого убита вся семья, совсем не то, что быть этим человеком. И он продолжал играть. До тех пор, пока не разобрали завал и его не вызвали в морг для опознания. Там, собственно, нечего было опознавать — бомба разорвалась у них в квартире. Он прошел мимо длинного ряда мертвецов, продолжая играть в невозмутимость, с отвращением глянул на фрагменты человеческих останков, еле сдерживая тошноту, подкатывавшую к горлу, — но продолжал играть. А потом увидел сандалик — зеленый сандалик своего младшего брата. И босую ступню в нем. Его брату было девять лет, Моргот считал, что ненавидит его — за назойливость, за шумные игры, за детские глупости, который тот говорит со знанием дела, за постоянно включенный телевизор с мультиками, за проблемы с учебой и необходимость отвечать на бесконечные вопросы. За то, что в младенчестве он не давал спать. За то, что за ним надо было смотреть, когда он научился ходить и пихать пальцы в розетку. За то, что его надо было забирать из сада и идти по улицам, рискуя встретить знакомых.

Моргот выл и катался по кафельному полу морга, бился головой об этот блестящий белый пол и стучал по

нему кулаками. Пожилая санитарка, выдавшая в морге и не такое, равнодушно брызгала ему в лицо водой и подносила к носу ватку с нашатырем. Его подняли с пола, вывели вон и усадили на банкетку возле двери. Он отбил зубами край граненого стакана, когда его хотели напоить валерьянкой. Он вырывался из назойливых рук врача и милиционера и снова бился головой, теперь о стену. Им надо было получить от него подпись под протоколом опознания, а он рыдал навзрыд и повторял, как заведенный:

— Они уйти хотели, они оделись, чтоб уйти...

Почему-то именно эта мысль не давала ему успокоиться. Как только он собирал силы, чтобы взять себя в руки, она выплывала откуда-то, и все его попытки заканчивались новым потоком слез. Он до боли давил ладонями глаза, чтобы перед ними больше не появлялся зеленый сандалик.

Мимо него шли соседи и родственники соседей — кто утирая слезы, кто надрывно рыдая, кто стиснув зубы, кто выкрикивая проклятья — Луничу или миротворцам. Пришел Макс, молча обнимал Моргот за плечо и смотрел глазами плюшевого медведя, поставив брови домиком. Так и не успокоившись, Моргот просидел в морге не меньше двух часов, пока наконец из него не выцепили эту злосчастную подпись и не вытолкали вон. Макс отвел его к себе, и до самой ночи Моргот, лежа на диване в комнате друга, тонко подвывал, зажимая рот подушкой, — уже без слез. Мать Макса позвала соседа-врача, и только после укола появилось равнодушие и пришел странно глубокий, похожий на забытые сон.

Маска не сломленного горем героя после этого никуда не годилась, и на следующее утро Моргот придумал новую роль: человека под воздействием сильного транквилизатора — заторможенного, апатичного и бесстрастного. Роль ему удалась — безо всяких уколов он чувствовал себя так, словно в него вливали литр валерьянки в сутки. Он сам занимался похоронами: обзвонил родственников, заказал венки, нашел место на кладбище, нанял автобус, заплатил могильщику — играть эту роль наедине с самим собой или с Максом показалось ему ненадежным. И даже когда на крышки трех закрытых гробов упали первые комья земли, он оставался

невозмутимым и безучастным: слишком много зрителей собралось посмотреть на него в этот день. Он знал, что под гробовой доской лежит зеленый сандалик, но эта мысль не встревожила его.

В кафе «Оазис» Моргот заявился слегка навеселе. Он не сказал Максу ни «да», ни «нет», чтобы не чувствовать себя связанным. Не то чтобы он боялся не выполнять обещаний — отсутствие совести тоже входило в тщательно прорисованный образ, — но на этот раз он опасался, что у него ничего не выйдет. Моргот действительно не любил богему потому, что там каждый стремился попасть в центр внимания, и в подобной компании можно было встретить серьезных конкурентов в борьбе за звание самых оригинальных и самых загадочных.

Для начала Моргот вымыл голову, а потом долго стоял перед зеркалом, пытаясь придать волосам непринужденный и не очень чистый вид — при помощи подсолнечного масла. Он оделся так, как обычно выходил на улицу по ночам, в черное, только кеды вымыл, чтобы белые подошвы бросались в глаза. Обычно он не носил часов, но тут достал из чемодана довольно дорогую вещицу — не все часы, которые ему удавалось снять с припозднившегося пьяницы, он продавал, кое-что оставлял и себе. Равно как и зажигалки — он питал слабость к дорогим мелочам.

«Оазис» летом перебирался под высокие деревья бывшего парка, внутри почти никого не было, музыка играла еле слышно, официантки, сбиваясь с ног, сновали туда-сюда, а за стойкой скучал бармен. Моргот попросил триста грамм водки и бутылку минеральной воды: денег у него оставалось немного, цены в кафе кусались, и он, продумавший новый образ до мелочей, посчитал, что заказ соответствует этому образу.

Он не пошел в парк, где было шумно и многолюдно, а сел в угол возле двери, повернувшись к стойке: он знал, как хорошо его бледное лицо заметно в полутьме, притом что сам он не бросался в глаза сразу, на входе. И не ошибся: не успел он выкурить и двух сигарет, как его заметили. Две девицы, смазливые и фигуристые, зашли взять по бокалу пива и принялись пристально разглядывать Моргота, толкая друг друга локтями и переглядываясь.

— Вы не скучаете? — спросила одна из них, блондинка в красном блестящем платье.

— Нет, — усмехнулся Моргот, качая головой.

Он не знал отказа у женщин, но ни с кем не стремился сойтись тесно. Влюбленного демона он представлял себе плохо, поэтому никогда не демонстрировал женщинам своих чувств, даже если их испытывал (а в юности это случалось с ним нередко). Моргот имел два или три довольно продолжительных романа, но уже в университете, когда он получил возможность затащить к себе в постель кого пожелается, его романтический пыл слегка поутих — он свел представление о любви к физиологии.

Впрочем, определенные его роли допускали некоторую возвышенность и даже восторженность, и тогда он вспоминал свою первую школьную любовь, девочку по имени Таня. В ее облике было что-то японское: миниатюрность, хрупкость, очень темные волосы и большие глаза странной формы — не вполне миндалевидные, совсем чуть-чуть раскосые, немного припухшие и всегда словно влажные, бархатные, похожие на лепестки темного цветка. Она была на год старше и жила в одном дворе с Морготом. По утрам он глядел из окна, как она выходит из своего подъезда. Он никогда не шел вслед за ней, напротив, дожидался, когда она уйдет настолько далеко, что он точно не догонит ее по дороге. Сталкиваясь с ней в школьных коридорах, он не смотрел в ее сторону, но если она случайно попадала ему на глаза, это напоминало вспышку: у Моргота обрывалось дыхание и пересыхало во рту.

После школы он ни разу не видел ее, она очень быстро вышла замуж, а ее семья переехала в новостройки. И, наверное, он радовался этому — она запомнилась ему юной, в школьном платье, в ореоле недоступности и целомудрия.

Эти две девицы не навевали на Моргота никаких романтических мыслей. Их откровенная физиологичность — выпирающие груди, блестящие губы, обтянутые тонкой тканью бедра — слишком напоминала о продажной любви.

— Вы сидите тут, такой одинокий... — вторая девица, шатенка в мини-юбке, подседа к другому концу столика. — Вы кого-то ждете?

— Нет, — Моргот плеснул в рюмку немного водки и быстро опрокинул ее в себя, словно это был глоток воды. На девиц он смотрел снисходительно, не отталкивая: пусть подсядут, надо же с кого-то начинать.

— Скажите, а вы, случайно, не художник? — блондинка села рядом с подругой.

— Нет, я не художник, — слегка улыбнулся Моргот.

— Жаль, — вздохнула блондинка. — Может, у вас тут есть знакомые художники?

Девицы хотели быть натурщицами. Если бы Моргот был художником, он бы выбрал натуру поинтересней. Но кто же знает этих художников?

Они поболтали с ним минут десять и ушли на улицу — Моргот вздохнул с облегчением. За час рядом с ним остановились еще пять или шесть человек, дольше всех задержался какой-то обкуренный подросток, пытаюсь читать ему свои незрелые вирши. Моргот собирался вышвырнуть его из-за столика, но тот понял это заранее, по глазам, и отвалил. Моргот выкурил десяток сигарет, ополовинил графин с водкой и собирался уйти — не особенно и надеялся на удачу в первый же день, хотел сначала примелькаться. Но тут, на его счастье, начался ливень, от которого не спасали зонтики под деревьями, и толпа из парка хлынула под крышу — девицы визжали, звенели собранные стаканы, бутылки и тарелки.

Столиков внутри не хватало, и Моргот почувствовал себя хозяином положения — это был подходящий момент обратить на себя внимание. К нему подседа компания из шести человек — две девицы богемной наружности и четверо молодчиков, получивших в народе прозвище «чей папа круче». Девицы смотрели на Моргота благосклонно и заинтересованно, молодчики же косились на него с презрением, но поделаться ничего не могли: они пришли к нему за столик, а не он к ним. Они пили дорогое красное вино, словно компот, и закусывали его мидиями и креветками — редкое невежество для тех, кто причисляет себя к аристократам. Разговор их, вялый и натянутый, вращался около цен на бензин и избытка дешевых автомобилей в городе.

Моргот невозмутимо влил в себя стопку водки — ему мучительно хотелось закусить, его тошнило от сигарет и омерзительно подсоленной минералки. Но он хлебнул

воды из бутылки, затянулся и выпустил дым вверх, приподняв голову.

— Вы не дадите мне прикурить? — к нему повернулась томная девица, сунув в рот длинный мундштук с крепкой и дорогой сигаретой без фильтра.

Моргот откинул крышку серебряной зажигалки, щелкнул ею и протянул девице огонек левой рукой, незаметно отодвигая с запястья рукав, чтобы продемонстрировать швейцарские часы, — очень хорошую и недешевую подделку, неотличимую на первый взгляд от подлинных. Она оценила стоимость и того, и другого: взгляд ее изменился.

— Я вас никогда не видела, — девица курила не затягиваясь, словно целовала край мундштука, — вы тут в первый раз?

— В третий, — ответил Моргот.

— Вот как? И каждый раз напиваетесь в гордом одиночестве?

— Я люблю наблюдать за людьми со стороны, — он пожал плечами.

— Мы вам помешали?

— Отчего же, — Моргот хмыкнул, — я и за вами наблюдаю со стороны.

— Как в зоопарке? И каковы ваши впечатления?

— Забавно.

— И это все, что вы можете сказать? — девица подняла брови.

— Нет, это все, что я хочу сказать.

Ей нечего было ответить, и она отвернулась к своим.

— Это нормально! Почему во всем цивилизованном мире в центре расположены офисы самых престижных фирм? Какого черта у нас здесь полно коммуналок и нищих старух? Это неприлично, непрезентабельно, в конце концов! Никто не выселяет их насильно, просто жизнь в центре постепенно становится им не по карману, и они вынуждены сваливать отсюда в спальные районы.

— Как-то это негуманно по отношению к бедным старушкам, — захихикала девица с мундштуком.

— Очень даже гуманно! Там и воздух свежей, и зелени больше. Если старушка воспитала своих детей бездельниками и неудачниками, то ей за это и расплачиваться.

Слава богу, теперь не надо жалеть убогих и делить на всех то, что досталось тебе честным трудом.

— Что ты называешь честным трудом? — снова расмеялась девица. — Теплое местечко в банке, которое тебе подыскал папаша?

— Ты не представляешь себе, что такое работа в банке! И сколько знаний она требует. И какая это ответственность. И потом, я не вижу ничего предосудительного в том, что мой отец позаботился обо мне, а не о каком-нибудь голодранце с улицы, — говоря это, парень недвусмысленно покосился на Моргота.

Отец Моргота был полковником в отставке. Имел связи, как это было принято тогда называть, четырехкомнатную квартиру в центре, дачу на берегу озера — она сгорела во время бомбежек, а участок Моргот продал. Моргот гордился тем, что никогда не пользовался связями отца. И меньше всего сожалел о том, что некому теперь пристроить его на работу. С тех пор, как он поступил в университет — безо всякого протектирования, — он не брал у родителей ни копейки. Из гордости. Его отношения с отцом были сложными, если не сказать — враждебными. Отец был властным человеком, а Моргот не принимал никакого насилия над собой, даже минимального давления. Их война, с переменным успехом обеих сторон, постепенно заканчивалась в пользу Моргота: чем старше он становился, тем легче ему было выскользнуть из-под отцовской авторитарности. Даже смерть отца не примирила Моргота с ним: он словно не успел что-то отцу доказать, добиться окончательной и безоговорочной победы, и потребовалось несколько лет, чтобы сквозь враждебность и соперничество проступила тоска, и любовь, и жалость.

Отец был убежденным коммунистом, рьяным и непримиримым. Он не пользовался и десятой долей тех благ, которые мог бы иметь. Моргот часто задумывался: что бы отец делал в этой новой действительности? Кем бы стал? Пенсионером, ругающим правительство? Или, напротив, нашел бы путь к деньгам и власти? Он имел такую возможность, и не стар был вовсе... И отставка его перед самой войной тоже вызывала некоторые сомнения — словно армия избавилась от самых ревностных апологетов социализма, с тем чтобы потом без осложнений присягнуть новому правительству.

Моргот слушал циничный бред молодых подонков, рассуждавших о справедливом социальном переустройстве, и его тошнило. И от коммунистических лозунгов отца, и от не далеких от фашизма разглагольствований об ускорении вымирания старых и больных. Но больше всего — от выпитой водки.

Дверь широко распахнулась, и по «Оазису» пролетел возглас радости. Моргот поднял пьяные глаза и сначала им не поверил: на пороге стоял Кошев собственной персоной.

Они ненавидели друг друга с первого курса, едва ли не с первого сентября, хотя учились на разных потоках. Во всяком случае, Моргот ненавидел Кошева с первого взгляда. Это было его отражение в кривом зеркале, пародия на его сущность лицедея, на образ демона.

Кошев был загорелым, светловолосым и кареглазым, девушки называли его белокурым херувимом. Он стриг волосы неизменным длинным каре, с челкой, закрывавшей лоб и падавшей на глаза. Он носил броскую одежду, более уместную для отдыхающего в курортном городке на теплом море: какие-то разноцветные рубахи, то чересчур широкие, то обтягивавшие его тощую грудь и длинные руки; яркие галстуки с невообразимым сочетанием цветов, вроде зеленого в красный горошек; то сапоги на каблучке, то навороченные кроссовки, бывшие в те времена редкостью, доступной не всем; то джинсы в обтяжку, то белые пляжные штаны, то безупречные костюмы-тройки.

Отец Виталиса Кошева был директором металлообрабатывающего завода — одного из самых крупных в городе. Теперь завод захирел, а старший Кошев изрядно приподнялся. Но и в те годы, когда Моргот учился в университете, сына директора такого завода причисляли к «золотой молодежи».

Младший Кошев всегда окружал себя свитой, и свитой многочисленной. Вокруг него вились и откровенные искатели его благоденствий (которые он раздавал не скупясь), и те, кого очаровывал его ореол: веселья, праздности и богатства. Моргот иногда задумывался, на чем основывается его ненависть: не на зависти ли? Кошев шел по жизни легко, со стороны казалось, что его ничто не встревожит, не сможет возмутить буйной радости жизни, не перекроет кипучей энергии,

бьющей через край. Он тоже играл — Моргот не мог не видеть этого, — но играл совсем не так. Его маски были пустышками, за ними не скрывалась глубина истинного лицедейства, и, как считал Моргот, прикрывали эти маски пустоту. Кошев был умен, но его ум не растрачивал себя на абстракции, ограничиваясь ловкими построениями «здесь и сейчас». Он мог рассуждать, но за его рассуждениями не стояли ночные размышления наедине с собой — размышлять и рассуждать наедине с собой Кошеву было неинтересно. Так думал Моргот.

Их конфликт был затяжным. Поначалу, оказываясь в обществе друг друга, каждый старался задеть другого побольнее. Оба работали на публику, оба имели сторонников, оба отличались остроумием и умением находить уязвимые точки противника. К открытой же конфронтации они перешли на третьем курсе.

Кошев искал места в университетском комитете профсоюза (у него были проблемы с учебой, а это теплое местечко обеспечивало ему ряд поблажек и автоматических оценок на экзаменах); Моргот, который никогда не интересовался делами профсоюза, пустил по факультету слух о том, что Кошев вылетит из университета, если не получит должности. А вдобавок дал своему сопернику кличку «массовик-затейник», которая прижилась и доставила Кошеву немало хлопот. Профсоюзное собрание факультета прокатило Кошева, и кличка решила исход дела. На это собрание (как и на все остальные) Моргот не пошел.

Кошев не остался в долгу: написал в милицию заявление о том, что Моргот изводит его сексуальными домогательствами. Моргот не ожидал ничего подобного, и, поскольку выражение праведного гнева не входило в его образ, мог только молча хлопать глазами и про себя поражаться цинизму противника. Во-первых, в те времена было не принято привлекать милицию к выяснению отношений; во-вторых, о сексуальной ориентации Кошева и так ходило немало толков, и лишь субъект, напрочь лишенный стыда, мог выставить себя в столь пикантном свете. Не будь он сыном своего отца, в милиции бы лишь посмеялись над ним и послали подальше. Но проигнорировать заявление самого Кошева-младшего никто не посмел.

Надо сказать, Моргот пережил немало неприятных минут за три часа в отделении: ему вывихнули правую руку и едва не отбили почки. Но вмешался его отец — Моргот многое бы отдал, чтобы отец вообще об этом не узнал, но повестку из милиции прислали домой, и почтальону двери открывала мама. Собственно, отец не собирался его вызволять, он всего лишь хотел узнать, что Моргот натворил, но когда услышал, в чем дело, орал в трубку на все отделение, включая обезьянник, — доходчивыми словами кадрового военного. Стражи порядка, оказавшись между двух огней, постарались замять дело.

Моргот вышел из отделения злой как черт, горя желанием отомстить, в перерыве заявился на лекцию параллельного потока, разыскал Кошева и пробил слева, прямо в ухмыляющийся большой и красивый рот. Удар получился слабым, Кошев не растерялся, отскочил и начал с улюлюканьем бегать от Моргота по аудитории, как обезьяна прыгая по партам, корча рожи и показывая «носы». Собравшиеся зрители нашли ситуацию забавной, и Морготу ничего больше не оставалось, как выматериться и уйти.

Он, конечно, дал Кошеву по морде, но попозже и, к сожалению Моргота, при отсутствии публики: его утешил только синяк на пол-лица, с которым Кошев появился в университете на следующий день. Впрочем, наличие синяка того нисколько не смутило — он был как прежде весел и окружен свитой.

Прошло больше пяти лет с тех пор, как они виделись в последний раз, но Кошев нисколько не изменился. На этот раз он был в кремовых льняных брюках и черной рубашке, прошитой полосками люрекса. Из свиты с ним появилась только одна девушка, он втащил ее внутрь за руку и провозгласил:

— Господа! Прошу любить и жаловать! Стася Серпенка, юная художница, страдающая от недостатка поклонников ее таланта, а также от застенчивости и целомудрия!

Кошев протолкнул девушку вперед, на свет, и, казалось, тут же позабыл о ней. Она стояла посреди прохода, между дверью и стойкой — потерянная, смущенная — и не знала, куда девать руки. Она показалась Морготу

бесцветной: выцветшие волосы, застиранная ковбойка, блеклое широкое лицо на тоненькой шейке, серая юбка, из-под которой торчали широкие коленки. Девушка была subtilной, с плоской цыплячьей грудью, волосы она заправляла за уши — большие и острые, как у зверюшки. Если бы не широко поставленные, большие глаза, Моргот бы посчитал ее дурнушкой: широкие светлые брови, широкий нос, широкие губы. Однако было в ней и некоторое очарование — испуг и беспомощный взгляд милого затравленного зверька. Но не более. Моргот, рассмотрев ее, тут же потерял к ней интерес.

Кошев там временем бурно здоровался с завсегдатаями кафе: перегибался через столы, пожимая руки и целуя ручки, махал ладошкой тем, до кого не собирался дотягиваться, обнимался с девицами и успел глотнуть из десятка протянутых ему бокалов. Моргота он заметил не сразу — тот поспешил откинуться на спинку дивана, пряча лицо в тени. Но стоило Кошеву подойти поближе, как взгляд его тут же изменился: в нем появился веселый азарт.

— Ба! Какие люди! Какая встреча! Громин! Тебя ли я вижу?

— Даже не знаю, что тебе на это ответить, — проворчал Моргот. — Наверное, не совру, если скажу, что ты видишь меня.

Кошев поломал ему выбранный образ, и пришлось судорожно выдумывать новый, не противоречащий предыдущему, а Моргот чувствовал себя пьяным и импровизировал с трудом. Соседи за столиком изрядно удивились его знакомству со столь блестящей личностью.

— Неужели ты стал поэтом, Громин? — широко улыбнулся Кошев. — Я всегда подозревал в тебе лирика! Эдакое обостренное восприятие мира, тонкие душевные движения, чувственность и уязвимость... Это так поэтично...

— А тебя, я смотрю, неразделенная любовь к искусству толкнула на стезю мецената. Очень благородно: если сам творить не можешь, хоть рядом постоишь.

— Громин, я не верю, что ты хочешь меня обидеть, — Кошев нагнул голову набок и скроил притворно-удивленную мину, — это так на тебя не похоже!

— Да ну что ты, — криво оскалился Моргот, — я никогда не стремлюсь к невозможному. Обидеть? Нет, Кошев, я хотел тебя оскорбить.

Моргот боковым зрением изучал реакцию публики: интересно, что они думают?

— Меня? За что же? Я так обрадовался, встретив старого товарища!

— Товарища? Товарищи остались в комитете профсоюза, Кошев. Теперь товарищи не в моде.

— Эх, Громин, какая ты бука! — Кошев расхохотался. — Я надеюсь, ты не уходишь прямо сейчас? Могли бы посидеть, поболтать, вспомнить золотые годы!

— Золотые годы у тебя впереди, — успел пробормотать Моргот до того, как Кошев развернулся и направился к своей протее. Элегантно подхватив девушку под руку, он увлек ее за собой к соседнему столику, где им тут же нашлось место. Моргот выпил еще одну стопку — его едва не стошнило.

— Вы так хорошо знаете Виталиса? — тут же повернулась к нему его соседка с мундштуком.

— Мы вместе учились, — ответил Моргот, скривив лицо.

— А по-моему, он очень мил и совершенно безобиден, — ответила она. Видимо, приняла кривое лицо Моргота за выражение отношения к Кошеву — и была недалеко от истины.

— Возможно, — кашлянул Моргот и подумал, что в следующий раз, перед тем как пить без закуски, надо хотя бы пообедать.

— У него только один недостаток, — щебетала его соседка, — он забывает возвращать зажигалки, когда просит прикурить.

Моргот хотел прислушаться, о чем Кошев разговаривает со своими соседями, — собственно, Макс просил именно об этом: послушать разговоры. Но голова уплывала, услышанные слова не складывались во фразы, смысла в них Моргот не улавливал и очень хотел уйти. Впечатление он уже произвел; что еще здесь делать? И он бы ушел, как вдруг его пьяное сознание выхватило из бесконечного потока слов:

— Это секретарша моего папаша. Почему бы не поддержать бедняжку? Не на помойке найденная. И не такое уж она и чучело...

Моргот повернулся в сторону столика Кошева: девушки, с которой он пришел, там не было — она или ушла совсем, или вышла на минуту. Секретарша Кошева? Ничего себе! Да одного такого знакомства достаточно, чтобы добывать для Макса нужные слухи, и не только слухи! Моргот спешно долил в рюмку остатки водки — еще грамм пятьдесят, — выпил залпом и поднялся.

— Вы уже уходите? — спросила соседка.

Моргот чуть не икнул вместо ответа, кивнул ей и вяло помахал рукой. Если девушка всего лишь вышла, ее можно поймать у гардероба. Его слегка качнуло, он зацепил стул, на котором сидел один из молодчиков, и тот недовольно оглянулся. Моргот проигнорировал его взгляд, но тот вызывающе спросил:

— А извиниться?

— Отвали, — рыкнул Моргот и пошел дальше. Молодчик поверил и больше заводиться не стал.

Секретарша старшего Кошева столкнулась с Морготом в дверях, и новый образ созрел в голове мгновенно.

— Погодите, — Моргот схватил ее за руку, — погодите, не ходите туда.

— Почему? — она отступила на шаг, но руку вырвать не посмела.

— Мне надо кое о чем у вас спросить.

— О чем? — ее бесцветные брови поползли вверх.

— Когда вы придете сюда в следующий раз?

— Я... Я не знаю... Я не собиралась...

— Приходите завтра, пожалуйста. Это очень важно!

Он умел ошеломить, он умел быть убедительным. Она — несчастный кролик, а он — мудрый удав.

— Я... я не знаю... — в отчаянье прошептала она. — Но если вы так просите...

Моргот сжал ее тощенькую руку посильней:

— Это точно? Я нарочно приду пораньше, часам к семи.

— Хорошо, хорошо, — глаза ее все шире раскрывались от удивления и страха. — Я не знаю, успею ли я к семи, я до шести работаю и могу задержаться. Я никогда не знаю, на сколько меня задержат.

Ей не пришло в голову отказаться, у нее на лице было написано, что говорить «нет» она не умеет.

— Приходите. Стася.

Когда он успел запомнить ее имя?

— Громин! — услышал он окрик Кошева. — Ты что, уже сматываешься?

Моргот отпустил руку девушки.

— Нет. А ты что, хочешь проводить меня до сортира? — крикнул он Кошеву и ослабился. Перепуганная окончательно Стася проскользнула мимо него в зал, втянув голову в плечи.

Он сидит передо мной в кресле — откинувшись на спинку и обхватив пятернями края подлокотников. В его позе — напряжение и напускное спокойствие. Чувство собственного достоинства и чувство вины. Высокий лоб с еле заметными залысинами не блестит в свете настольной лампы. У него волевое лицо — прямоугольное, узкое, словно чуть вытянутое по вертикали изображение на экране. Только губы с опущенными уголками, красной ниткой пересекающие бледную, рыхлую кожу, не вписываются в это лицо: они мягкие, чувственные и безвольные. Глаза его, кажется, смеются, но на самом деле он серьезен. Он старше меня даже сейчас.

— Я почти не знал Моргота Громина. Я видел его несколько раз, и только, — говорит старший Кошев. У него вкрадчивый взгляд и голос. Он похож на шпиона, который прикидывается добропорядочным обывателем. Он хочет казаться умней, чем есть на самом деле.

Я не возражаю. Мне есть что возразить ему, но я не возражаю. Пока. Он делает вид, что ни в чем не виноват. Но знает, что это не так. Я ненавижу его. Я не имею на это права, я знаю, что он поступил правильно. Но я ничего не могу с собой поделать. Я ненавижу его за все — за сына, которого он породил, за завод и сеть супермаркетов, за его попытку остаться честным перед собой, и за этот сотни раз проклятый мною чистый графит! А главное — за его первый и последний визит в подвал. Но об этом — по порядку.

— Я знал о цехе по производству чистого графита. Верней, не так. Я знал, что этот цех, кроме графитовых добавок для производства сталей, может производить не только реакторный графит, но и особо чистый графит для полупроводников. Я один из немногих знал об этом. Цех появился на заводе в начале пятидесятых, когда

атомная электростанция для нас была лишь мечтой. Когда технология только создавалась. Я принял его из рук моего предшественника. Этот цех никто не прятал, он, что называется, лежал на поверхности. Верней, стоял. Размещался в отдельном здании, не очень большом, да и объемы выпуска имел скромные. Но никто не знал, чем занимаются люди в лаборатории при цехе, что часть продукции выпускается по особому госзаказу, и технология эта относится к стратегическим. Цех формально не принадлежал заводу и директору завода не подчинялся, хотя оформление рабочих проходило через наш отдел кадров. Он отличался от других производств только тем, что немногочисленный инженерно-технический персонал проходил многократные проверки на лояльность правительству, а техническое руководство имело многочисленные ученые звания, о которых, впрочем, помалкивало. Посвященных было немного.

Я не вполне понимаю, о чем он говорит. Я представляю себе этот цех монстром социалистической индустрии и думаю, что неправ.

— Лунич законсервировал цех, как только почувствовал внешнюю угрозу. Он ее только почувствовал! Это произошло за три года до его отставки. Графитовые добавки для науглероживания металла нас тогда не интересовали, у нас имелись некоторые запасы. Цех был разобран и упакован в контейнеры. Действующая АЭС требует не очень больших объемов выпуска реакторного графита, но требует, и запасы его не бесконечны. Я не знаю, о чем думал Плещук. Я считаю, он не думал вообще — только исполнял приказания. Замедлитель нейтронов — не то сырье, которое нам с радостью продадут из-за границы. Я не говорю об особо чистом графите, прекращение выпуска которого не остановит нашу экономику, но закроет перед нами множество дверей. Контроль же над АЭС имел двоякое политическое значение. С одной стороны, это позволяло контролировать экономику страны, значительную ее долю. Остановка АЭС означала экономический коллапс, у нас не было ни мощностей, ни лишнего топлива для того, чтобы производить электроэнергию на тепловых электростанциях. И не было средств на строительство гидростанций. Но есть второй, и очень важный, нюанс:

все четыре энергоблока нашей АЭС накапливали оружейный плутоний. И весь мир был против этого. Мы действительно в любую минуту могли начать производство ядерного оружия, у нас не было к этому никаких препятствий. Принудительно лишить нас АЭС и поставить экономику под угрозу миротворческие силы не решились, они и без того наворотили тут достаточно. По большому счету, лишив нас возможности поддерживать реакторы в надлежащем состоянии, они добились бы того, что рано или поздно АЭС остановилась бы без их участия.

Он замолкает, собираясь с мыслями, и продолжает снова:

— Говорили, Лунич расстрелял всех посвященных, кто работал в этом цехе, но я в это не верю: Лунич не тот монстр, которого нам рисовали когда-то средства массовой информации. Я знал его лично и могу сказать: это был дальновидный и сильный политик. Он думал не только о завтрашнем дне, но и послезавтрашнем. Для него уничтожение ученых не имело никакого смысла. Да, эти технологии представляли из себя государственную тайну, но не того масштаба. А впрочем... Политика — не игра на скрипке. Эта государственная тайна стоила очень дорого. Я даже не мог себе представить, насколько.

Он оправдывает себя. Он хочет уверить меня в том, что за эту тайну не жалко положить несколько человеческих жизней. Я ненавижу политику и политиков. За человеческим материалом они не видят человеческих жизней и человеческих судеб. И свою жизнь Кошев за эту тайну не отдал.

— Я долго не мог понять одного: неужели технологию можно уничтожить безвозвратно? Вот так просто взять и вывезти оборудование с чертежами? Да, конечно, при Плещуке никто не стал бы заниматься ее восстановлением, а через десять-двадцать лет она бы не стоила ломаного гроша. Но мне все равно это казалось странным, — он пожимает плечами и добавляет многозначительно: — На наш завод не упало ни одной бомбы...

Ненависть — обременительное чувство.
Она или клокочет внутри, требуя выхода,
или выплескивается
в самый неподходящий миг;
она учащает дыхание и пульс,
от нее болит левая сторона груди.
Она противоречит инстинкту самосохранения,
не знает притворства,
не понимает игры,
не ценит шуток.
Попытки вылить ее тогда,
когда тебя никто не видит,
не приводят ни к чему:
она от этого разгорается только сильнее.

*Из записной книжки Моргота. По всей
видимости, принадлежит самому Морготу*

Мы проснулись от грохота перед дверью и ругани Моргота: он был настолько пьян, что, скатившись с лестницы, не мог встать и пережегал матерную брань с жалобными стонами. Бублик поспешил зажечь свет.

— Моргот, тебе помочь? — спросил он почему-то шепотом.

Похоже, дверь Моргот открыл лбом, потому что она была распахнута настежь, а Моргот валялся на пороге.

— Идите вы все к чертовой матери! Навязались на мою шею... — проворчал он и снова жалобно застонал.

— Ты ушибся? — спросил Бублик тихо.

— Мля, а ты как думаешь?

— Давай я тебе помогу...

— Пошел к черту.

Моргот по-пластунски перелез через порог и начал подниматься. Это ему не удалось, и он сел на полу, покачиваясь из стороны в сторону.

— Ну? Что разлеглись? — угрюмо начал он. — А ну быстро всем встать!

Сила подняться и потащил за собой одеяло, стараясь в него завернуться, — из открытой двери тянуло холодом.

— А? А остальных это не касается? — рявкнул Моргот, после чего и мы с Первуней вылезли из кроватей — ну что же сделаешь с пьяным Морготом? Не спорить же с ним, в самом деле.

— А Бублик? Куда Бублик свинтил? — Моргот пристально посмотрел на его кровать.

— Я здесь, — Бублик тщетно старался закрыть дверь, но ему мешала нога Моргота.

— Вот и иди сюда, чтоб я тебя видел. Значит, в школу вы не ходите, так?

— Не ходим, — вздохнул Первуня.

— И не собираетесь ходить, я правильно понимаю?

— Моргот, нас из школы сразу в интернат заберут, — сказал Силя. — Ты что, хочешь нас в интернат отдать?

— Я хочу, чтоб ты помолчал. Ты когда в последний раз книжку читал, а?

— Какую книжку? — удивился Силя.

— Обычную книжку. Которую читают.

— А я не умею читать, — Первуня снова вздохнул.

— Так ты еще и читать не умеешь? Бублик! Почему он читать до сих пор не умеет, а?

— Я не знаю...

— Вот чтоб завтра купил ему букварь, понял?

— Моргот, так денег же нету...

— Деньги — это грязные бумажки, тебе ясно?

— Да.

— Что тебе ясно?

— Что деньги — это грязные бумажки, — невозмутимо ответил Бублик. Мы довольно спокойно относились к пьяным выходкам Моргота.

— Молодец. Первуня, ты хотя бы буквы знаешь?

Первуня замотал головой.

— И чего ты тогда тут стоишь? А?

— Моргот, можно мы спать пойдём? — спросил Силя. — Ночь ведь...

— Не ной. Так я не понял, чего ты тут стоишь?

— Так ты же сам сказал... — Первуня распахнул глаза.

— Да? Я сам сказал? А ну-ка марш по кроватям! Быстро! И чтоб ни одного звука! Ни днем, ни ночью покоя нет!

Мы бестрепко ретировались, пока Морготу не пришлось в голову что-нибудь еще. Силя делал знаки Бублику, чтобы тот скорей погасил свет, но Бублик покачал головой и приложил палец к губам. Моргот снова попытался встать, но тут же опять растянулся на полу и долго лежал не шевелясь, сквозь зубы втягивая в себя воздух.

— Моргот, давай, — Бублик присел рядом с ним на корточки, — за меня хватайся.

— Больше мне делать нечего, — фыркнул тот, приподнимая голову. — А хавка есть какая-нибудь?

Бублик все же довел Моргота до кровати, снял с него кеды и притащил ему кусок хлеба с маслом, но Моргот уснул, так и не сумев его прожевать.

На следующее утро шел дождь, и мы остались дома — играть в настольный хоккей, который где-то раздобыл и починил Салех. Моргот проснулся поздно и, прежде чем встать, слабым голосом позвал:

— Бублик... Бублик, твою мать...

Бублик вскочил, махнул нам рукой, чтоб мы его подождали, и кинулся к двери в каморку.

— Чего? — спросил он, просовывая голову в щелку.

— Во-первых, прекратите орать... — Моргот вздохнул, прежде чем продолжить. — И сбегай за пивом.

— Так денег же нету, Моргот...

— В штанах у меня возьми сотню. И это... пожрать есть что-нибудь?

— Только булка осталась. Принести?

— Не надо. Возьми еще сотню, купи селедки, что ли... И картошки...

— Ты вчера еще сказал букварь Первуне купить, — язвительно вставил Бублик.

— Чего? Какой букварь?

— Ну букварь, чтоб он буквы учил.

— Бублик... — устало вздохнул Моргот. — Иди за пивом, а? Жрать нечего, какой букварь, на...

Когда Моргот в начале восьмого явился в «Оазис», Стася Серпенка уже ждала его за столиком возле стойки. Она была одета точно так же, как накануне, словно не ночевала дома. Ей не хватило ума даже на то, чтобы не смотреть пристально на вход, — каждому становилось ясно: она кого-то с нетерпением ждет. Моргот сделал невинное лицо — в конце концов, она сама сказала, что не успеет к семи. Его еще мучило похмелье, зато брюхо он набил перед выходом под завязку. Меньше всего ему хотелось водки — он не любил пить два дня подряд, но имидж требовал...

В кафе никого, кроме Стаси, не было: народ собирался попозже. Официантки скучали за соседним столом, уставившись в телевизор, висящий над стойкой, а бармен куда-то исчез.

— Я рад, что ты пришла, — Моргот подмигнул ей, усаживаясь напротив. — Взять тебе чего-нибудь?

Она улыбнулась смущенно:

— Можно. Я бы выпила сок.

Моргот щелкнул пальцами, когда увидел, что одна из официанток недовольно и нервно оглядывается в ожидании заказа, — та тут же поднялась, с грохотом отодвигая стул, и неторопливо направилась в их сторону.

— Девушке martini с соком, без водки, — сказал ей Моргот, — и... пирожное какое-нибудь...

— У нас нет пирожных, — официантка зевнула.

— Не надо, не надо... Здесь все так дорого, — тихонько запротестовала Стася.

Моргот сдал в ломбард золотое кольцо, припрятанное в чемодане на черный день, и чувствовал себя зажиточным человеком.

— А что есть из сладкого? — спросил он у официантки.

— Мороженое и фруктовый десерт, — ответила та.

Моргот прикинул: кролики должны любить фрукты.

— Тогда фруктовый десерт. Мне — триста водки, бутылку воды, только не минеральной, обычной воды... Без газа.

Официантка скрылась за стойкой, Стася с напряженным и оттого еще более несимпатичным лицом выжидающе смотрела на Моргота; он не торопясь закурил и повторил:

— Я рад, что ты пришла.

— Вы... Ты... так просили меня об этом. Как же я могла отказать?

— Я вчера был пьян, поэтому не хотел задерживаться. А мне очень хотелось с тобой поговорить.

— Я даже не знаю, о чем со мной можно поговорить... Я вчера оказалась тут случайно, я вообще не хотела сюда идти. Это все Виталис, ему же невозможно отказать! Заехал к отцу в управление на ночь глядя и потащил меня сюда... Шеф не хотел меня отпускать, но Виталис и слушать его не стал. Я вчера прокляла тот день, когда сказала ему о том, что рисую.

— А ты рисуешь? — Моргот поднял брови.

— Я закончила художественное училище, — вздохнула она, приподняв и опустив покатые плечики, — но ведь сейчас работу не найти... И раньше-то было тяжело, а сейчас художники совсем никому не нужны. Мой отец был другом семьи Кошевых, и дядя Лео взял меня к себе.

— Как-как ты его назвала? — Моргот прыснул. — Дядя Лео? Это превосходно!

Она засмеялась вместе с ним — натянута и скованно. Ее нужно было напоить, чтобы она перестала смущаться, и Моргот шепнул официантке, что в мартини пора добавлять водку. После четвертого бокала Стася смеялась непринужденно и болтала без умолку. Впрочем, болтала она очень мило — Моргота несколько не раздражало.

— Послушай, так ты будешь говорить со мной или нет? — спросила она, когда в кафе потянулся народ.

— А я что делаю? — Моргот поднял брови.

— Ну, я думала — у тебя ко мне какое-то дело, — она улыбнулась, и на лице ее появилось что-то таинственное.

Моргот, конечно, всем своим видом старался убедить ее в том, что она ему всего лишь понравилась, но говорить об этом вслух не входило в его планы. Он неопределенно повел бровями и тоже напустил на себя таинственность. Как будто бы предлагал ей угадать, какое дело привело его сюда.

— Это, конечно, смешно... — она игриво прикусила нижнюю губу, — но вчера мне показалось, что ты... Ты не бойся, я никому об этом не скажу... Мне показалось, что ты из Сопrotивления...

Моргот и в этом не стал ее разубеждать.

— А что, тебе так хотелось встретиться с кем-нибудь из Сопrotивления?

Он представил ее с калашниковым наперевес и едва не рассмеялся.

— Я не знаю... Мне кажется, в Сопrotивлении очень много настоящего честных людей. Чистых... Которые не думают о том, как разбогатеть. Разве это не благородно — рисковать жизнью за свои убеждения?

— Наверное, — Моргот пожал плечами.

— Мне кажется... они, конечно, заблуждаются... и, конечно, приносят много вреда людям, но они, по крайней мере, думают не о себе.

— Ты не разделяешь их убеждений?

— Я не знаю. Я ничего не понимаю. С одной стороны, режим Лунича был чудовищным. Если вспомнить, сколько людей он отправил за решетку, сколько расстрелял...

— Ты присутствовала при расстрелах?

— Нет, конечно, но цифры, которые обнародовали... Это ужасно, я и представить себе не могла, что творилось здесь на самом деле! Я хотела убить его собственными руками, когда нам все о нем рассказали!

— Во здорово, — хмыкнул Моргот.

— Тебе смешно?

— Нисколько. Я не собираюсь никого убеждать в том, что Лунич — ангел во плоти. Но к официальным цифрам советую относиться с осторожностью. Кто стоит у руля, тот их и диктует. Если им верить, во время бомбежек погибло девятьсот человек...

— А ты думаешь, больше? — глаза ее испуганно распахнулись.

— Я не считал.

— Все, что происходит, — это что-то невероятное, что-то, чего я не хочу понимать. Я уже никому не верю. С одной стороны, что мешало Луничу остановить бомбежки? А с другой — неужели у миротворческих сил не нашлось другого способа добиться его отставки?

— Послушай, — Моргот усмехнулся, — все это — ерунда. Миротворческим силам надо было посадить в президентское кресло Плещука, и они его туда посадили. Вот и все. Ты думаешь, их сильно заботили жертвы? Нисколько! И тратить на это лишнее время и деньги они не собирались.

— Ты рассуждаешь так, как будто они не желали нашей стране добра и не добивались справедливости...

— Чего? Какой справедливости? Какого добра? Они вложили в правительство Плещука деньги, теперь отбивают их и хотят отбить как можно больше и выстрей. Им нужны были открытые границы для ввоза и вывоза капитала и свободное предпринимательство — чем свободней, тем лучше. Им нужна безработица, чтобы

снизить цену на рабочую силу, им нужно давать нам в долг валюту, чтобы получать проценты — это тоже вложение капитала. Им нужна приватизация, чтобы на законных основаниях скупать здесь все, что может приносить прибыль. В особенности — землю и недра.

— То, что ты говоришь, — это так цинично... — Стася снова прикусила губу, только теперь от горечи. — Я думаю, если бы чиновники не рвали страну на куски, у нас все пошло бы по-другому. Ведь живут же люди в развитых странах по-человечески!

— Они живут по-человечески, потому что на них работают три континента. Теперь и мы на них работаем тоже.

— Да нет же! Мы просто не умеем работать. Мы отстали от мира, от прогресса, у нас нет своих технологий, поэтому, конечно, мы и плетемся в хвосте... Если все начнут работать так, как работают люди на Западе, и у нас все получится!

— Чтоб мы начали работать, как работают люди на Западе, нас сначала надо убедить в том, что другого выхода нет: или пахать на дядю до седьмого пота, или подыхать с голоду. Многие уже поверили, но что-то я не вижу от этого никакого толку: работая на дядю, никто еще не разбогател, разве что пока от голода не умер.

— Bravo, Громин! — вдруг раздалось от входа: Кошев поднялся со стула и три раза хлопнул в ладоши. Моргот не заметил его прихода и не ожидал, что тот может войти тихо, без обычной помпы. — Ты, я смотрю, изрядно покраснел за последние годы. Может, повторишь все это в саду, на широкую, так сказать, публику? Там найдется много людей, готовых с тобой поспорить. И даже постоять за свои убеждения с оружием в руках. Тут красных не любят особенно, Громин.

— У меня нет убеждений, Кошев, — Моргот едва повернул голову в его сторону, — я в своих рассуждениях использую здравый смысл, не более.

— Твой здравый смысл словно сошел со страниц пропагандистских газет Лунича, — Кошев подошел и уселся за их столик.

— Возможно, Луничу здравый смысл отказывал не всегда.

— Запомни, Громин: Лунич — полусумасшедший фанатик, поставивший страну на грань разорения. Диктатор, угрожавший миру ядерным оружием и обвиняемый в геноциде собственного народа. Сейчас это знает каждый ребенок, а ты до сих пор этого не понял? — Кошев рассмеялся.

— Отчего же? — Моргот осклабился. — Я это очень хорошо понимаю. Бомбы и танки — убедительный аргумент в споре, они не оставляют оппонентам выбора, кроме как согласиться с точкой зрения противной стороны.

— Вот об этом я и говорю, — Кошев поднял указательный палец. — А ты рассуждаешь так, как будто до сих пор с ней не согласился. Не угостишь меня сигареткой?

— Я пользуюсь своим конституционным правом на свободу слова, — ответил Моргот, машинально протягивая Кошеву пачку.

— Громин, я же не собираюсь сдавать тебя властям! Я всего лишь предлагаю повторить сказанное во всеуслышание.

— Сдавать меня властям ты уже пробовал, у тебя это неплохо получается, — Моргот хмыкнул. — Не могу взять в толк, почему в общении со мной тебе непременно требуются заступники? Тебе что, не хватает аргументов?

— Я не люблю красных, Громин. От идейных борцов за дело коммунизма у меня оскомина осталась на всю жизнь, — он сунул сигарету в рот. — Может, у тебя и прикурить есть?

— А ты не иначе как идейный борец за дело капитализма? — Моргот протянул ему зажигалку, которой в некотором роде гордился.

— Нет, конечно. Я не борец, к тому же — безыдейный. Но мне не нравится, когда милым барышням пудрят мозги красной пропагандой, заставляя их думать о том, о чем барышням думать не положено. Это ты — эдакий здравомыслящий созерцатель сущего, а Стасенька... — Кошев обнял девушку за плечо и притянул к себе. — Стасенька — существо трепетное, ранимое, которое не может созерцать несправедливости мира и не страдать при этом.

— Это очень трогательно, Кошев. Я уже проникся жалостью и оценил собственную неотесанность. А теперь — свали отсюда. Кто девушку ужинает, тот ее и танцует.

— Стасенька, может быть, ты хочешь, чтоб тебя поужинал я? — Кошев со смехом нагнулся и чмокнул ее в щеку. — Честное слово, я не ограничусь фруктовым десертом!

— Виталис... — она сложила губы бантиком. — Ты все время ставишь меня в неловкое положение. И вчера, и сегодня. Я вовсе не хочу есть!

— Бедняжка такая скромная, — Кошев подмигнул Морготу и наконец прикурил, — никогда ничего не попросит для себя.

— И я сама могу решить, о чем мне положено думать, а о чем — нет... — добавила Стася, смешавшись.

— Она мне как младшая сестренка, — Кошев снова чмокнул ее, не сводя глаз с Моргота, и сунул зажигалку Моргота в карман, — ее отец, царство ему небесное, был моим крестным. Моя маман относилась к нему словно к родному брату. Знаешь эти взрослые дни рождения — когда детей всех возрастов запирают в самой дальней комнате, чтоб они не мешали взрослым напиваться? А, Громин? Ты помнишь? Твой папа-полковник наверняка таскал тебя на такие праздники. Кстати, как он себя чувствует?

— Благодарю, превосходно. Думаю, лучше всех нас, — коротко кивнул Моргот.

— Очень рад. Наверное, разбогател во время конверсии? Самые ярые последователи Лунича почему-то отказывались от своих коммунистических взглядов быстрее остальных.

— Это интересное наблюдение, Кошев. Я попробую собрать статистику. У тебя ко мне все?

— Еще одно замечание: обрати внимание, красные разговоры обычно заводят те, кому не хватило ни ума, ни ловкости выбиться в люди. Те, кто еще надеется приподняться, напротив, превозносят свободное предпринимательство, а те, кому ничего не светит, вроде тебя, — вот они-то и вспоминают Лунича со слезами на глазах... Привет семье, Громин! — Кошев поднялся, шумно вздохнув. — Я, может, еще загляну.

— Надеюсь, этого не случится... — проворчал Моргот и только потом вспомнил о зажигалке: — Эй, верни вещь!

— А! Точно! — Кошев сунул руку в карман и вытащил зажигалку. — Все время забываю их возвращать!

Стася проводила Кошева взглядом и посмотрела на Моргота.

— Вы так сильно друг друга ненавидите?

— Мы друг друга недолюбливаем... — улыбнулся Моргот.

— Виталис, конечно, развязный и избалованный, как говорит моя мама, но он не так уж плох. Он добрый, его все любят. И денег он никогда на друзей не жалеет, и помочь всегда может.

— У него есть свои деньги? — удивился Моргот.

— Нет, конечно: он же нигде не работает. Дядя Лео ему ни в чем не отказывает. Ты видел его новую машину?

— Пока нет. Но обязательно взгляну, — Моргот отвел глаза — мысль показалась ему интересной.

— Но он все время говорит, что рано или поздно заткнет своего отца за пояс. И, знаешь, мне кажется, он решил взяться за ум. Он часто приезжает к нам на завод, в управление.

— А что, завод еще жив? Я считал, дядя Лео, — Моргот сделал ударение на этих словах, — давно все продал.

— Нет, ну что ты! — она тихо засмеялась. — Да, центральная площадка почти вся сдана в аренду. Кое-что, конечно, продано. Но у завода восемь площадок, и три еще работают. У дяди Лео сорок процентов акций, и больше крупных собственников нет, только мелкие акционеры. Рабочие в основном. А то бы завод давно распродали.

— Интересно, а откуда дядя Лео взял деньги на открытие двадцати супермаркетов? — осклабился Моргот.

— Завод приносит прибыль, — Стася пожалла плечами, — это же гигант...

— Верится с трудом... — сказал Моргот вполголоса.

— Виталис говорит, что весь завод стоит в десять раз дороже, чем все эти супермаркеты.

— Да ну? Прогнившее оборудование? Или панельные стены? Если что-то там и стоит денег, так это центральная площадка. И только из-за стоимости земли в центре города.

— Я не знаю. Я ничего в этом не понимаю. Я ведь только секретарь. Но Виталис в этом разбирается, и он в последнее время загорелся работой на заводе. Дядя Лео

так радуется, он так надеется, что Виталис будет работать вместе с ним! Мне даже страшно иногда: Виталис — натура увлекающаяся, сегодня ему интересно на заводе, а завтра — в ресторане. Мне будет жалко, если он разочарует отца.

— Не бойся. Дядя Лео переживет, — серьезно кивнул Моргот, нисколько не сомневаясь, что младший Кошев непременно разочарует отца. И не станет он шататься по заводу, если у него нет в этом прямого интереса. Наверняка задумал оттяпать у папаши кусок пожирней!

— Почему ты так плохо думаешь о них обоих?

— Разве плохо? — Моргот пожал плечами. — Я попросту не ободряюсь. А про старшего Кошева я и вовсе ничего не знаю, кроме того, что он ни в чем не отказывает своему сыну и имеет сеть супермаркетов.

— Дядя Лео очень его любит, поэтому переживает. Понимаешь, разочарование после надежды — это всегда очень больно.

— Наверное, — Моргот подумывал о том, что пока разговоров достаточно, надо как-то сворачивать беседу на личное и расставаться до следующего раза. И организовать этот следующий раз где-нибудь в другом месте — подешевле и там, где не появится Кошев. — Давай лучше закажем еще выпить и поесть чего-нибудь.

— Я и так, по-моему, слишком много выпила... Голова кругом.

— Тем более надо закусить, — кивнул Моргот.

— Ты это предлагаешь нарочно. Потому что Виталис тебя поддел, — она улыбнулась. — Так вот, я на самом деле ничего не хочу. И я прекрасно понимаю, что это место тебе не по карману.

— Мне?

— И мне, между прочим, тоже. Только я не вижу в этом ничего постыдного. Сейчас такое время. Если хочешь, пойдем лучше просто погуляем. Сегодня прекрасный вечер.

Моргот плохо представлял себе прогулки по городу с девушкой: такие приключения остались в далеком школьном прошлом. Он хотел возразить, но тут в кафе вломилась толпа человек из двадцати — во главе с Кошевым, понятно.

— Громин, я обещал тебе вернуться, и я вернулся! — со смехом воскликнул тот, хлопнул Моргота по спине и

плюхнулся рядом, пытаюсь обнять его за плечо. Моргот брезгливо освободился от объятий, но их уже окружили со всех сторон. Четверо вчерашних молодчиков как-то незаметно встали у него за спиной, за столик набились молодые люди, чем-то неуловимо на них похожие, девушка с длинным мундштуком встала напротив, прислонившись к стене, и, сделав равнодушное лицо, внимательно разглядывала происходящее. Стася оглядывалась по сторонам и, как рыба, открывала и закрывала рот, ничего не говоря.

— Громин, расскажи нам о Луниче! — Кошев хихикнул и толкнул Моргота локтем в бок.

— Право, даже не знаю, с чего начать, — Моргот стиснул зубы: ситуация вовсе не показалась ему невинной шалостью Кошева.

— Начни с конца. О том, как Лунич учинил геноцид! Я хочу проверить, хорошо ли ты понял, что я тебе говорил.

Моргот не мог жить без риска. Он понял это еще в детстве. Сначала он ощущал свою потребность смутно, не отдавая себе отчета, зачем иногда выкидывает опасные и глупые шутки — например, пройти по краю крыши или прыгнуть в бассейн с десятиметровой вышки. Пережитый страх несколько дней питал его головокружительным восторгом. Это каким-то причудливым образом уживалось в нем с обычной человеческой трусостью, но потребность в головокружительном восторге рано или поздно сносила барьеры. Заниматься картингом он пошел, отлично осознавая, чего ему хочется. И очень жалел, что родители отдали его в секцию легкой атлетики, а не горных лыж или чего-нибудь подобного. Картинг оказался скучнейшим делом: время уходило на закручивание гаек, в ладони въедалась черная смазка, ковыряться в моторах Моргот так и не полюбил, хотя неплохо в этом разбирался. Карты собирали практически своими руками, изучая каждую деталь мотора, каждый винтик, каждый проводок. Моргот до сих пор удивлялся, как ему удалось пройти через все эти барьеры — ему, белоручке и эстету! Все окупалось скоростью — бешеной скоростью, и поворотами, когда широкие колеса низкой машинки отрываются от земли, и визгом тормозов. Он рисковал гораздо сильнее и

чаще, чем это было позволено, и много раз его собирались выгнать из секции.

А кроме всего прочего, Моргот утер нос Макс, который научился водить машину только через десять лет. Картинг был настоящим мужским делом, не то что легкая атлетика. Лет в девять-десять Макс дразнил Моргота «принц-принцесса», и тот не раз кидался на него с кулаками, потому что более обидной клички и представить себе не мог. Надо отдать Макс,у должное: он никогда не делал этого при свидетелях. Макс действительно считал Моргота трусом, белоручкой и неженкой, но не старался доказать это остальным — он был верным другом. Моргот же не замечал благородства Макса и при любых обстоятельствах стремился опровергнуть его мнение, попадая при этом в еще более нелепые ситуации.

Моргот не переносил дискомфорта, даже в детстве. Может быть, этому послужило желание отца воспитать его как спартанского мальчика, и сработал дух противоречия: вместо привычки появилось отвращение к жестким кроватям и водным процедурам. Он ненавидел походы и ночевки в палатках, плохо переносил холод и жару, не умел терпеть боль и не мог отказать себе ни в одной слабости. От голода у него кружилась голова и тряслись руки, и тогда он не выдерживал и нескольких минут, не положив чего-нибудь в рот. Макс потешался над ним иногда, отбирая булочку, купленную на перемене, и наслаждался его бешенством. Мама объяснила, что это такая болезнь и с этим ничего нельзя поделать, но примириться с этим Моргот не мог — впрочем, и справиться тоже. С возрастом это пропало, но на смену пришли сигареты, из дурной привычки быстро превратившиеся в необходимость, как он сам себе объяснял.

Макс имел слоновью шкуру, бегал босиком по снегу, всю зиму ходил без шапки, мог сунуть руку в костер и не обжечься, обожал всяческие трудности и занимался боксом. Моргот тоже хотел заниматься боксом, но после первой же тренировки получив в нос, больше никогда в этой секции не появлялся. Став постарше, он где-то услышал про низкий болевой порог — и заявил о нем как о своей особенности, о признаке демонической сущности. Макс назвал это «низким волевым порогом» и

оправданий не принимал. Впрочем, в драках Моргот не чувствовал ни боли, ни страха — одно бешенство, — уступая Максу только в технике. И, тщательно скрывая от остальных свои слабости, искренне считал, что о них известно только лучшему другу.

Но драка драке рознь, и, сидя в «Оазисе» в окружении товарищей Кошева, Моргот бешенства почему-то не ощущал: образ не предполагал столь сильных чувств. Страх образ не предполагал тоже, но, пожалуй, Моргот испугался, потому что больше всего он боялся унижения и сорванной маски. И за образ пришлось цепляться, натягивая маску сильнее, прижимая ее к себе, срачивая с кожей, превращая в собственное лицо.

— Что-то я не понял, Кошев... Ты не читал газет? Или мое авторитетное мнение призвано выбить клин у тебя из мозгов?

Девушка с мундштуком еле заметно усмехнулась, и глаза ее посмотрели на Моргота одобрительно.

— Нет, Громин, — Кошев широко улыбнулся, — твое авторитетное мнение послужит индикатором твоей лояльности демократическому правительству.

— Ты работаешь на правительство? — Моргот с нарочитым удивлением нагнул голову.

— Да! Я тайный агент военной полиции! — захохотал Кошев. — Похож?

Он привстал, повернулся в разные стороны, выпятив грудь, а потом резким кивком поклонился благодарной публике.

— Чрезвычайно, — фыркнул Моргот. — Я надеюсь, в военной полиции все сотрудники столь же искренне болеют за дело демократических перемен. И нет им покоя ни в светлый день, ни в темную ночь...

— Громин, ты тянешь время, — покачал головой Кошев, — по-моему, ты боишься высказать свою точку зрения на эти перемены.

— Я? Да что ты! Свою точку зрения я всегда высказываю с удовольствием, особенно если ее записывают на пленку. Значит, ты хотел услышать историю о том, как Лунич учинил геноцид собственного народа? Я тебе расскажу. Потрясенная его бесчинствами мировая общественность потребовала от него добровольно покинуть пост президента страны, а он, подлец, не внял голосу разума, доносившемуся со стороны всего прогрессивного

человечества. И тогда прогрессивное человечество, вооруженное демократическим пафосом и тяжелыми бомбардировщиками, подкрепило свои требования налетами на наше недемократическое государство. Но Лунич слишком дорожил президентским креслом, чтобы уступить, и принес в жертву девятьсот невинных граждан, погибших под бомбами, и примерно столько же солдат, когда мировая общественность, отчаявшись попасть бомбой в президентский дворец, ввела на нашу, опять же еще недемократическую, территорию миротворческие силы. Дальше рассказывать? — Моргот ослабился. — О победном шествии миротворческих сил и освобождении народа от коммунистической диктатуры?

— Громин, мне кажется, за твоим сарказмом кроется несогласие с обвинением Лунича в геноциде, — Кошев сбвинул брови.

— Я, право, не выражал согласия или несогласия с обвинением. Обвиняемый не считается виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке. Вот когда суд установит его вину, я всецело соглашусь с мнением суда. А соглашаться с обвинением или нет — разве я могу один взять на себя труд это решить? Поднять материалы дела, с которым и международный суд еще не справился? Нет, Кошев, просто так взять и согласиться — это было бы нарушением презумпции невиновности.

— Может быть, ты тогда расскажешь нам о целях миротворческих сил, пришедших сюда для установления свободы и демократии? Ты еще час назад рассказывал об этом так увлекательно, я слушал с большим удовольствием!

— И об этом расскажу, Кошев, — Моргот едва удержался, чтобы не хлопнуть его по плечу. — Как ты только что отметил, установление свободы и демократии, ради которого миротворческие силы так самоотверженно сражались с нашей недемократической армией, одурманенной идеями Лунича и запуганной его кровавым режимом, потребовало от мировой общественности существенных затрат. И это неудивительно: война — дорогостоящая штука. Но для чего это было сделано? Не для личного же обогащения мировой общественности, правда? Наша страна в настоящий момент являет из себя площадку для инвестиций, наша неокрепшая рыночная экономика требует

капиталовложений, нового строительства. Кроме этого, мы — рынок сбыта продукции народного потребления. Наша экономика не в состоянии производить эту продукцию на уровне мировых стандартов, но чем же наши люди хуже остальных? Ну, а поскольку мы не располагаем квалифицированной рабочей силой и не владеем высокими технологиями, то и вложения в нашу экономику пока делаются осторожно, только в добывающую промышленность и торговлю. В то, что может быстро окупиться. Ведь ни для кого не секрет, что у нас пока неспокойно, и иностранные предприниматели боятся рисковать, избегая долгосрочных и крупных капиталовложений. Вот когда правительство Плещука с помощью миротворческой армии окончательно наведет тут порядок, тогда, вне всяких сомнений, инвестиции потекут к нам рекой. Я так и представляю себе вложения в фундаментальную науку, подготовку специалистов для высокоточных производств, строительство заводов, на которых мы будем сами производить микропроцессоры для электронно-вычислительных машин. Я представляю, как высшее образование и платная медицина становятся доступными для всех граждан страны без ограничений, как приобретение жилья превращается в необременительную сделку, как пенсионеры, когда-то по уму обратившиеся к частным пенсионным фондам, путешествуют по миру, а не прозябают на грошовые подачки государственных учреждений. Все это будет, как только иностранный капитал почувствует себя спокойно на нашей территории и посчитает, что наши граждане достойны того, чтобы делиться с ними прибылью. Я, правда, не припоминаю ни одного аналогичного случая в мировой истории, но мы — особенные. Мы, в отличие от третьих стран, сумеем доказать миру свою состоятельность. Мы же не третья страна, правильно?

— Громин, ты меня утомил... — Кошев махнул рукой. — Ты, наверное, читаешь по утрам газеты...

— Да что ты — газеты! Нет, я иногда смотрю телевизор.

Она сидит передо мной — двадцатилетняя... Худенькая, узкоплечая, с волосами, небрежно заправленными за острые ушки. Когда-то я считал ее тетенькой... Сидит на краю кресла, с прямой спиной, положив на колени

руки, сцепленные замком. И еще иногда теревит край юбки, пытаюсь натянуть подол на широкие колени.

— Мое первое очарование Морготом прошло очень быстро. Ну, не очень... но быстро, — говорит она. — Когда я разглядела в нем позера и циника, мне стало трудно с ним общаться. Он был слишком в себе уверен и слишком самовлюблен, чтобы замечать кого-то вокруг. Сначала я думала, что его цинизм — это притворство. Ну, вы понимаете меня...

Она обращается ко мне на «вы». Она не помнит маленького тощего Кильку, который прибежал к ней по поручению Моргота.

— Он считал себя неотразимым. Настолько неотразимым, что я поначалу поверила в это. Потом мне было противно оттого, что я в это поверила.

Стася Серпенка не может говорить о Морготе без неприязни. Она умалчивает о том, что ее «первое очарование» прошло в тот день, когда она встретила Макса. Я не возражаю ей — зачем? Она так и не узнала о четверых бездомных мальчишках в подвале. И я сейчас думаю: а какая разница, почему Моргот позволял нам жить с ним? Какая разница, для чего ему это требовалось? Пусть бы и для того, чтобы кто-то смотрел на него с восхищением и встречал у порога. Нам от этого не стало ни лучше, ни хуже. Я не знал о его младшем брате, пока он сам не рассказал мне об этом. Неделю назад. И теперь я думаю: не искал ли он в каждом из нас своего брата? Искал и не находил? Или, напротив, не мог избавиться от чувства вины перед ним? Сейчас я знаю, как это бывает: мучительно вспоминаешь второпях произнесенные слова, укоряешь себя за равнодушие, за нехватку времени, за раздражение... Только изменить ничего нельзя, потому что смерть — это навсегда.

— Когда мы встречались в самый первый раз, в «Оазисе», я нарочно отпросилась у дяди Лео пораньше, чтобы забежать домой и привести себя в порядок. Я взяла такси, чтоб успеть к семи часам. А он опоздал. Я очень неловко себя чувствую в незнакомых местах и больше всего боюсь оказаться там в одиночестве. Он даже не извинился, как будто так и должно было быть! Но тогда я не обиделась, тогда я его совсем не знала и приняла это как должное. Мне кажется, общение с ним чем-то унизило меня, как

будто я позволила обращаться с собой, как с вещью. Он использовал меня, он имел собственные интересы и не гнушался никакими средствами.

Я не возражаю и про себя улыбаюсь — она всего лишь хочет оправдать свое мимолетное увлечение. Перед собой ли, перед Максом? От влюбленности до неприязни расстояние гораздо короче, чем от любви до ненависти. Конечно, Моргот имел собственные интересы, если их можно назвать собственными. Да, он играл, он развлекался, он любил авантюры. Но, опять же, какая разница, что двигало им?

— Он был настолько эгоистичен... Он никогда ничем не жертвовал ради других, никогда. Только если ему было что-то нужно... Я столько раз говорила ему, что мне плохо от табачного дыма, но он никогда не выходил курить на балкон, он курил прямо в постели.

Я ловлю себя на мысли, что мне очень хочется ей возразить. Я думаю, она и не представляет себе, насколько она несправедлива, насколько ужасающе несправедлива. Но я опять не возражаю.

— Иногда я думаю, что Виталис был прав, когда говорил о нем как о завистливом неудачнике. Мы вышли из «Оазиса» после этого отвратительного спектакля — а я считаю, он был отвратительным как со стороны Виталиса, так и со стороны Моргота... Они глумились над тем, над чем глумиться нельзя. Они трагедию собственного народа обращали в фарс, они соревновались в остроумии, они словно забыли, что за всем этим стоят человеческие жизни! Жизни невинных людей, детей! Они оба никогда не знали горя, настоящего горя!

Тут я не могу смолчать.

— У Моргота под бомбой погибла вся семья... — говорю я тихо.

— Да? — лицо ее удивленно вытягивается. — Я не знала...

Она поперхнулась и кашляет, словно ей требуется пауза.

— Значит, он еще циничней, чем я думала, — делает она вывод через полминуты.

— Вы говорили про «Оазис», — напоминаю я.

— Да. Мы вышли из «Оазиса», и он попросил показать ему машину Виталиса. Я давно забыла о том, что обещала это сделать, мне это казалось незначительным,

не заслуживающим внимания, но он словно только об этом и думал весь вечер. Я не разбираюсь в машинах, но это была роскошная машина — красный кабриолет. Это при нашей-то погоде! Да на нем можно было ездить только несколько дней в году! Но Виталис был в него влюблен, как ребенок, он гордился этой машиной, словно сам на нее заработал. Моргот, когда ее увидел... у него рот открылся. Он даже головой покачал, как будто своим глазам не поверил. Он вокруг ходил не меньше пяти минут, а я нервничала — если бы Виталис это заметил, они опять начали бы пререкаться. Я тогда... я тогда очень испугалась. Ну, еще в «Оазисе». Когда Виталис привел эту толпу. Они же фашисты все, настоящие фашисты.

Про настоящих фашистов я ей не очень верю.

— Виталис сказал мне потом, что пошутил. А Моргот принял это за чистую монету и испугался. Тогда я не заметила, чтобы Моргот испугался, но я не хотела этого замечать. Я говорю, он очаровал меня...

Весь день пробежав по улицам, мы вернулись в подвал, когда стемнело: еще не привыкли к отсутствию комендантского часа, да и отменен он был только номинально. И хотя патрули теперь ходили по улицам реже, попадаться им на глаза не следовало. Моргот, конечно, отсутствовал, Салех спал в своем углу и, судя по храпу, был мертвецки пьян. Вообще-то Салех был тихим алкоголиком, никогда не буянил, иногда исчезал на несколько дней, а если пил в подвале, то, хлебнув из добытой бутылки, мирно спал, распространяя вокруг запах перегара и мочи. Он мог протрезветь на несколько дней и каждый раз собирался бросить пить навсегда, занимался хозяйством, пытался с нами играть — неуклюже и без души, — но вскоре снова выходил на поиски спиртного и возвращался пьяным. Мы почему-то были равнодушны к нему, стеснялись и чувствовали неловкость, когда он заводил с нами пьяные разговоры. Иногда нам приходилось раздевать его и стирать его вещи, когда запах становился невыносимым.

Моргот принимал Салеха как неизбежное зло, никогда его не осуждал, разве что время от времени кривил лицо, глядя на храпящее вонючее тело в дальнем углу.

Они, бывало, даже разговаривали — когда Салех только-только начинал входить в запой. Но Морготу с ним было скучно. Я думаю, Моргот мирился с ним, потому что ничего не умел и не хотел делать сам. В подвале, конечно, не могло быть канализации, но водопровод Салех к нам провел. И сделал насос, которым можно было выкачивать на улицу грязную воду из ванны — у нас была ванна. Обычная чугунная ванна на тонких ножках. Воду мы в ней грели кипятильниками, сделанными из двух лезвий, — их тоже изобрел Салех. И телевизор у нас был, и холодильник, и электрическая плитка с двумя конфорками, и электрический чайник.

В тот день мы почему-то ссорились с Силей. Сейчас меня поражает жестокость, с которой мы иногда относились друг к другу. Сия единственный из нас не был сиротой, родители отдали его в интернат сами. По-моему, они принимали наркотики. Во всяком случае, алкоголиками они не были, судя по тому, что Сия нам рассказывал. Он сбежал из интерната, чтобы вернуться домой, но там жили чужие люди: квартиру его родители продали. Он в очередной раз плел нам какую-то сказку о том, что их похитили инопланетяне, а мы хохотали над ним до упаду, отчего он злился и чуть не плакал. Сия верил в то, что его родители мечтают о встрече с ним (и это не удивительно), и каждый раз придумывал новые версии их исчезновения. То они уходили в партизаны, то уезжали на заработки в Африку и попадали в плен, то улетали в космос на много лет, но должны были вот-вот за ним вернуться.

Я думаю, наша жестокость к нему происходила из зависти: ни у кого из нас не осталось ни одной лазейки для иллюзий. Отец Бублика по пьяной лавочке зарубил топором его мать и отправился в лагерь до конца дней — это случилось еще при Луниче. Встречи с отцом Бублик не жаждал. Шестилетний Первуня двое суток провел в квартире с мертвой матерью. А потом, одевшись, ушел из квартиры и больше туда не возвращался. Через неделю на улице его подобрал Салех. Моргот ходил к нему домой — Первуня знал свой адрес, но сам туда не пошел. Наверное, в интернате ему было бы лучше. Наверное, он должен был ходить в школу. Но я, вспоминая интернат, не желал Первуне такого счастья.

Так сложилось, я не знаю почему, что все мы больше всего боялись оказаться в интернате. Жизнь с Морготом в подвале нельзя было назвать жизнью в семье. Но мы чувствовали себя семьей, мы очень хотели быть семьей. Хотя бы и ее жалким подобием, которое все равно лучше казенной обстановки интерната, где от тебя ничего не зависит, где ты сливаешься с серой массой остальных и безуспешно ищешь в себе личность, индивидуальность. В подвале мы сами делали свою жизнь, мы сами отвечали за себя: Моргот — то ли в силу своего эгоизма, то ли из философских соображений — быстро научил нас самостоятельности. Сейчас, вспоминая об этом, я думаю: главная задача воспитателя — научить ребенка быть взрослым. Моргот научил нас быть взрослыми. В интернате нас этому не учили. Мы в конце концов попали в хороший интернат, там нам старались подарить счастливое детство. Никто из тех, кто закончил школу вместе со мной, так никогда и не встал на ноги, так и не понял, что значит быть взрослым человеком и отвечать за свою жизнь. Только мы с Бубликом сумели.

Сила был слабаком и обычно не лез драться, но в тот день нам удалось довести его до того, что он кинулся на Бублика с кулаками. Двенадцатилетний Бублик разделался бы с десятилетним Силей в одну минуту, но их драку оборвали свет фар в окне под потолком и звонкая трель автомобильного сигнала. Мы присели от испуга, уверенные, что это за нами приехала милиция, и Бублик не сразу отважился подставить стул и выглянуть в окошко.

— Это не милиция, — сказал он шепотом, — там красная машина какая-то...

Мы, осмелев, тоже полезли на стул, отталкивая друг друга. Первуня навернулся на пол и, как всегда, захныкал — он был плаксой. Бублик спрыгнул вниз — он жалел Первуню. Если меня Бублик считал другом, Силю — товарищем, то Первуню — младшим братом. Почти настоящим.

— Ну? — раздалось с порога. — Я не понял: и долго мне ждать?

Лицо Моргота светилось радостью и самодовольством, хотя он не улыбался. И глаза его горели, как в ту ночь, когда мы сожгли машину миротворца. Он постоял,

опершись на дверной косяк, поглядел на наши ошарашенные лица и направился обратно наверх. Мы со всех ног кинулись за ним, высыпали из подвала и обступили красную машину.

— Ух ты! — я погладил капот. — Красная!

— Вот это тачка! — Бублик со знанием дела обошел кабриолет со всех сторон.

— Моргот, это теперь наша машина? — неуверенно, но радостно спросил Первуня.

— Щас тебе, наша, — фыркнул Силя. — Моргот ее украл!

— Ну раз он ее украл, значит она теперь наша? — не сдался Первуня.

— Наша, наша, — кивнул ему Моргот. — Залезайте быстро, кататься едем.

Мы полезли в машину, не открывая дверей, поспорили немного, кто поедет спереди, рядом с Морготом, но Моргот усадил Первуню и пристегнул его ремнем безопасности: тот преисполнился гордостью.

Кабриолет рванул с места так быстро, что мы кучей повалились на заднее сиденье и захохотали от восторга. Стоило нам подняться, Моргот заложил такой крутой вираж на повороте, что все мы отлетели в противоположную сторону, снова хохоча и поколачивая друг друга кулаками.

— Локоть убери!

— Сам дурак! Ты мне коленкой по зубам дал!

— Моргот! Это было круто! Давай еще раз так повернем!

Моргот выехал на проспект и понесся вперед, обгоняя машину за машиной, виляя из ряда в ряд — у нас от восторга захватило дух. Мы визжали и пытались встать на заднем сиденье. Первуня сидел впереди не дыша и тарашил глаза от страха и восторга. Дважды Моргот пролетал перекрестки на желтый свет, но на третьем затормозил: в будке посреди перекрестка маячила фигура милиционера. Мы, как груши, попадали Морготу на спину, но успели залезть на сиденье и плясали там козликами, пока он снова не рванул с места.

— Поехали на кольцевую! — захлебываясь встречным ветром, крикнул ему в ухо Бублик. — Вот там мы развернемся!

— Поехали, Моргот!

— На кольцевую! Ура!

— Поехали, — Моргот сунул в рот сигарету, и услужливый Первуня тут же утопил кнопку прикуривателя.

Он прокатил нас проходными дворами, пронесся маленькими зелеными улочками спального района, визжа тормозами на поворотах, выбрался на другой проспект и красиво вылетел с него на полукруглый виадук, ведущий к кольцевой дороге. Мотор начал поддрагивать, когда Моргот выдавил из него все возможное.

Дети не ведают страха смерти, не чувствуют опасности — бешеная скорость в открытой машине казалась нам веселым аттракционом, плотный ветер обтекал кабриолет и задувал в лицо, это было как в мультфильме, где герои несутся с обрыва в вагонетке или падают в пропасть: всем понятно, что дело закончится хорошо! Ощущение полета, настоящего полета, как на крыльях!

— Ура! — крикнул я. — Летим! Мы летим!

Мы, обнявшись, пытались плясать и даже попробовали затянуть какую-то песню про летчиков. Моргот хмыкал, Первуня раскрыл рот, и из его угла поползла густая струйка слюны.

По автостраде мы сделали целый круг, когда с виадука на кольцевую внезапно выскочила машина ДПС с мигалками и грозный, шипящий голос велел красному кабриолету съехать на обочину и остановиться.

Моргот, конечно, останавливаться не стал.

— Ух ты! Нас догоняют! — восторженно вскрикнул Сияя.

— Мы им покажем! Моргот! Быстрее! Быстрее! Они на хвосте! — заорал Бублик.

— Нас так просто не возьмешь!

Нищая милиция сравниться с кабриолетом не могла, Моргот легко оторвался на приличное расстояние, но со следующего виадука выехала вторая машина, с обочины сорвалась третья, едва не задев его бампер. Даже я понимал, что на кольцевой они возьмут нас легче легкого!

— Мы будем отстреливаться! — предложил Сияя. — Им нас живыми не взять!

— Чем это мы будем отстреливаться? — спросил я. — У нас же нет ничего!

Надо сказать, я немного струсил, в отличие от всех остальных.

— Здорово! Как в кино! — Бублик развернулся лицом назад, сделал вид, что в его руках автомат, и выдал очередь. — Ты-ды-ды-ды-ды-ды!

— Ура! Они отстают! Ты его подранил! — подхватил Сия и тоже начал «стрелять из автомата».

Мы, вообще-то, боялись милиции. Но тут с нами был Моргот — взрослый, с нашей точки зрения, — и мой страх быстро развеялся, уступив место захватывающей игре, в которой все было по-настоящему! Действительно, как в кино!

Моргот хотел уйти с кольца за город, но поворот перегородили три милицейские машины, и ему пришлось проехать дальше.

Мы стреляли и орали песню про погоню.

— Эх, гранату бы щас! — прошипел Сия. — Первуня, открой бардачок, посмотри, там гранат нет?

Первуня, ерзавший на переднем сиденье, с радостью дернул дверцу бардачка: оттуда посыпались зажигалки — огромное количество зажигалок, перемешанных с какими-то бумагами. То ли хозяин кабриолета их коллекционировал, то ли забывал в бардачке и покупал новые.

— Есть гранаты! — заорал я радостно. — Первуня, будешь подавать!

— Так точно! — Первуня отковырял мне и полез под сиденье доставать трофеи.

Впереди кольцевая оказалась перегороженной по всей ширине, и перегороженной машинами военной полиции. Моргот увидел это издали и успел вывернуть руль на ближайшем виадукe — правые колеса едва не оторвались от земли. Я тогда и представить себе не мог, в чем разница между военной полицией и дорожно-патрульной службой и насколько осложнилась ситуация. Но камуфляжная раскраска вызвала у меня рефлекторный ужас, который в тот миг только придал азарта игре — словно все действительно происходило на экране телевизора, не со мной, а с каким-то неведомым героем — непобедимым и отважным.

Три полицейские машины рванули к повороту, визжа тормозами. Наверное, Морготу было не до шуток — он сжимал руль обеими руками и, не вынимая сигарету изо рта, оглядывался назад, сосредоточившись и сузив глаза.

— Ура! — заорали мы хором, когда первая зажигалка полетела в джип, выкрашенный в защитные цвета.

— Недолет! — сквозь зубы прошипел я и со всей силы швырнул следующую.

Ничего подобного тому, что я испытывал, когда сжигал машину, на этот раз не было — я чувствовал веселый азарт игры, и только. В тот раз все происходило по-настоящему, на самом деле, а в этот — мы просто баловались. Сирены надрывались, и мы еще громче заорали песню про погоню, надеясь их перекричать. Зажигалки летели на дорогу одна за другой, и Бублик с Силей сами изображали взрывы:

— Тыдыщ! Тыдыщ!

Моргот выскочил на проспект — обыватели прижались вправо, освобождая дорогу.

— Первуня! Гранату!

— Тыдыщ! Они отстают! Моргот, быстрее! Они отстают!

Моргот пролетел перекресток на красный свет, и к трем джипам присоединился четвертый.

— Моргот, у нас больше нет гранат!

— Из автоматов стреляйте, — хохотнул Моргот.

— Ты-ды-ды-ды-ды! Ты-ды-ды-ды-ды!

На проспекте впереди снова показался полицейский кордон. Моргот развернулся, перелетев через газон посреди проспекта, Первуня подпрыгнул, прикусил язык и пустил слезу, а мы едва не вылетели на дорогу.

— Кончай стрелять, — крикнул Моргот. — Держитесь крепче. Сейчас самое интересное начнется.

Мы вцепились в сиденья, и Моргот на полной скорости свернул с проспекта. Он отлично знал город, гораздо лучше пришлых миротворцев, — наверное, в силу своей «профессии», — поэтому направился к центру, где проходные дворы делали его преимущество еще более значимым.

Полицейские не успели повернуть за ним, пролетели по проспекту дальше, а Моргот тут же выкрутил руль, сворачивая в карман возле длинной девятиэтажки.

Минут десять мы мчали по темной улице вдоль железной дороги, и погоня отставала — на гладком асфальте красный кабриолет начал отрываться от тяжелых военных машин. Мы проскользнули под мостом, но там, на проспекте, ведущем через промзону, нас снова заметили: сначала включилась сирена машины ДПС, а вскоре

наперерез нам выехали два военных джипа. Моргот ушел в темный узкий проезд между двух бетонных заборов, погоня заметалась — шесть машин не успели договориться, какая из них повернет за нами первой. Нас тряхнуло на вросших в асфальт рельсах, колеса зашуршали по траве, но вскоре впереди показался свет городских улиц, и кабриолет выкатился в район старых домов, с арками, ведущими в проходные и глухие дворы. Мне показалось, Моргот не снижал скорости. Преследователи чуть оторвались, он успел свернуть на узкую улицу до того, как они выехали из-за поворота, и тут же кабриолет взвизгнул тормозами, въезжая в проходной двор. Нас подбросило вверх на двух лежачих полицейских, Моргот снес хлипкую оградку газона, проехал сквозь подворотню и вырулил на соседнюю улицу.

— Готовьтесь. Как только я остановлюсь, выскакивайте из машины и бегом в разные стороны. Встретимся «У Рональда» на проспекте. Все ясно?

— А когда ты остановишься, Моргот? — спросил Первуня.

— Как только, так сразу. Отстегивай ремень.

Первуня завозился, а со стороны проспекта нам навстречу тихо вырулила полицейская машина. Сирена включилась, когда из нее увидели кабриолет. Моргот развернулся, заехав задом в подворотню, — чуть руки не вывернул, выкручивая руль. Навстречу попалась какая-то мелкая дамская машинка с девицей за рулем, Моргот сшиб ей зеркальце и царапнул бок: мне показалось, девица упала в обморок. Как в кино! Из подворотни вырулила еще одна полицейская машина, Моргот прибавил скорость, пролетел перекресток, едва не угодив под колеса огромной хлебозовки: сзади послышался визг тормозов. Он свернул в ближайший двор, проскочил его насквозь и остановился.

— Быстро! Разбегаемся в разные стороны! — он ловко распахнул двери, и мы последовали его примеру. Силя побежал в сторону проспекта, мы с Бубликом — в глубину дворов, Моргот направился к темной подворотне, маячившей впереди. Мигалки осветили двор мерцающим светом, и тут около машины раздался оглушительный рев Первуни. Мы оглянулись и увидели пацана, растянувшегося на асфальте. Бублик хотел вернуться, но я потащил его за собой, заметив, что Моргот, успевший

отбежать от машины на десяток шагов, возвращается.

— Черт бы тебя побрал! Бегать разучился? — услышали мы, как рывкнул Моргот на Первуню.

— Стоять! Не двигаться! Буду стрелять! — раздалось сзади. Мы с Бубликом присели и на полусогнутых побежали вперед еще быстрее. Теперь, когда Моргота с нами не было, нам действительно стало страшно.

Конечно, Первуня нам рассказывал, и не один раз, как они с Морготом бежали и прятались от полицейских. Да и сам Моргот не обошел этот эпизод вниманием — с этого самого момента история если не началась, то круто повернула в сторону. И сейчас я не знаю, как мне относиться к этому повороту...

Моргот поднял Первуню с асфальта рывком, за руку, и потащил за собой — тот спотыкался, путался в собственных ногах и волочился по асфальту.

Полицейский действительно выстрелил в воздух, отчего Первуня присел, но Моргот свернул в подворотню, вытащил мальчишку на улицу, пробежал до следующего двора и затаился в ближайшем подъезде.

Первуня сопел, лил слезы и тихо всхлипывал.

Полицейские в камуфляже, бряцая автоматами, пробежали мимо. Моргот поднялся на площадку и посмотрел из окна на их поиски: они не усердствовали. Посветили вокруг фонариками, покричали чего-то и убрались через несколько минут. Я думаю, они успели разглядеть нас на заднем сиденье кабриолета, а воевать с детьми и подростками, пусть и хулиганами, в планы военной полиции не входило. Машину они нашли и вскоре вернули владельцу; зачем им было стараться, бегать по дворам, а потом полночи писать протоколы?

Моргот не стал дожидаться, пока прибудет подкрепление, и дернул Первуню вниз.

— Пошли. Герой!

— Моргот, я не хотел... У меня случайно.

— Не ной.

Они добрались до проспекта проходными дворами и слились с множеством прохожих. Первуня всю дорогу спотыкался и норовил упасть.

— Ты чё? Ходить не можешь? — раздраженно спросил Моргот.

— У меня шнурок случайно развязался...

— Во здорово! — посмеялся Моргот. — А как насчет завязать? Не пробовал?

— Ну как бы я его завязал, если мы все время бежим?

Вообще-то Морготу казалось, что они давно идут куда не торопясь; он поглядел на ноги Первуня и увидел, что тот еле-еле успевает ими перебирать, стараясь за ним поспеть. Моргот остановился.

— Завязывай шнурок, только быстро.

Первуня присел, и из кармана его узких джинсов что-то выпало на асфальт. Мальчишка подобрал вещицу и попытался снова засунуть ее в карман, но у него ничего не вышло: как только, завязав шнурок, он разогнулся, вещица снова вывалилась. Моргот не стал дожидаться, когда Первуня нагнется еще раз, и сам поднял ее с земли: это был маленький блокнотик, в розовых цветочках, с нарисованным плюшевым мишкой голубого цвета и белой головой куклой рядом с ним. Блокнот был отделан латунной оправкой и защелкивался на блестящий замочек. Моргот брезгливо поморщился и вернул вещь Первуне.

— А платица тебе никогда надеть не хотелось? — спросил он.

— Да нет, это я в машине подобрал, он из бардачка выпал. А что? Красивый же блокнот.

— Очень... — кивнул Моргот.

Мы с Бубликом едва не заблудились в проходных дворах, выходили на какие-то неизвестные нам улицы, снова прятались, уверенные, что нас ловят, пока случайно не оказались на хорошо знакомом углу проспекта, откуда рукой было подать до того места, о котором говорил Моргот. Напротив фонтана, где раньше был скверик, стоял стеклянный ресторанчик фаст-фуд «У Рональда», открывшийся с полгода назад, — один из десятков, разбросанных по всему городу.

Сейчас об этом смешно вспоминать, но тогда «Рональд» необыкновенно привлекал нас и был совершенно недосягаем: для нашей страны цены в нем оказались слишком высокими и мало кому доступными, хотя во всем мире он считался дешевым. Мы частенько разглядывали его снаружи, прикладывая ребра ладоней к стеклу, и обсуждали за пределами высокие цены; нам казалось, что все, что там продается, — невозможно вкусно, мы знали наизусть весь

ассортимент и обсуждали, кто что больше любит, хотя не пробовали незамысловатых блюд. Но мы никогда не заходили внутрь, не толпились у стойки, никогда не ощущали себя «клиентами». Мы смотрели на детей, которых родители выводят из ресторана, и выдумывали, что прячется в цветных складных коробочках, похожих на новогодние подарки. Нас манил рыжий клоун из папье-маше, стоящий в маленьком стеклянном вестибюле, — в полосатом трико и желтом комбинезоне. Мы думали, он живой. Или оживает по ночам, когда его никто не видит. Во всяком случае, нам хотелось рассмотреть его вблизи, постоять рядом, потрогать, но мы не решались войти внутрь.

Однако на этот раз Моргот сам велел нам ждать его «У Рональда» и не уточнял, около ресторанчика или внутри. И мы, конечно, воспользовались этой двусмысленностью, — верней, первым ею воспользовался Сия: он раньше всех добрался до места и зашел в вестибюль. Правда, пройти дальше он не решился и сел на скамейку рядом с клоуном, разглядывая его снизу вверх и украдкой трогая пальцами его ярко-желтые штаны.

Мы с Бубликом заметили его издали: кафе хорошо освещалось, и Сия выглядел в нем как рыбка в аквариуме. Пока он был один, он еще немного робел, но как только мы к нему присоединились, от робости не осталось и следа. Для начала мы попытались подвинуть его в сторонку, чтобы тоже посидеть на скамейке рядом с клоуном, но Сия не уступил. Возились мы довольно долго, визжа, переругиваясь и пихая друг друга. По нашим меркам, это вовсе не напоминало ни драку, ни шумную игру. Да, клоун покачнулся раз-другой, и скамейка едва не опрокинулась, но мы ничем не отличались от других мальчишек, и хулиганами нас назвать можно было с большой натяжкой. Мимо нас добропорядочные припозднившиеся мамы волокли в машины своих детей — тогда все, кто приходил в «Рональд», ездили на машинах, это была особая, в какой-то степени избранная публика. Кто-то из «избранных» за стеклом показал на нас пальцем охраннику, и тот, лениво пожимая плечами, вышел к рыжему клоуну.

— Вам что здесь нужно? — спросил он, зевая.

— А чё? — Бублик поднялся и выпятил грудь. — Нигде не написано, что детям тут нельзя!

— Валите отсюда, — поморщился охранник. — Тоже мне, дети! Ничего же не купите.

— А может, и купим! — подхватил Силя.

— Валите, я сказал. Нечего тут хулиганить. Чини скамейки после вас. А Рыжего уроните — вообще в милицию отведу, ясно?

— Никуда мы не пойдём, — набычился Бублик. — Где хотим, там и хулиганим. Почему это им можно, а нам нельзя? Где тут написано, что нам нельзя?

— Слово такое есть: фейсконтроль. Слыхал? Считай, ты его не прошел.

Бублик не знал, что такое «фейсконтроль», но виду не подал, только глупый Силя не постеснялся спросить:

— А что это такое?

— Фейсконтроль? Это когда мне рожа твоя чем-то не понравилась, — охранник расхохотался.

Мы не заметили, как в вестибюль зашли Моргот с Первуней — на наше счастье, потому что ничего другого, кроме как убраться, нам не оставалось: мы боялись, что нас отведут в милицию.

— Может, тебе и моя рожа чем-то не понравилась? — Моргот оперся на дверной косяк ладонью, так что его локоть оказался возле уха охранника, а сигарета едва не воткнулась тому в лицо.

Конечно, его поведение было не более чем рисовкой, дешевой и весьма неоригинальной, но тогда мы готовы были завывать от восторга. Мы восхищались им в этот миг, в наших глазах он выглядел Робин Гудом, защитником всех угнетенных детей на свете!

— Поосторожней, — охранник отодвинулся и смерил Моргота угрожающим взглядом.

— А ну-ка позови своего управляющего, — Моргот затыкнулся и выдохнул дым охраннику в лицо. — К тебе клиент привел четверых детей, а тебе, значит, рожи их не понравились? Или эта завлекалка стоит здесь не для того, чтоб детишки издали сбегались смотреть на ваши бутерброды?

Моргот ткнул рыжего клоуна пальцем в живот, так что тот покачнулся.

— Кооператив «Слеза ребенка». Дети плачут, а родители платят, — проворчал он. — Мультик такой был, про поросенка, помнишь?

Охранник ничего не сказал и молча вернулся через стеклянные двери на свое место. Тогда нам казалось, что он испугался Моргота, на самом же деле он боялся потерять работу — клиентов у «Рональда» было маловато, да и политику рестораника Моргот обрисовал довольно точно.

— Моргот, мы что, пойдем в «Рональд»? — Первуня раскрыл рот.

— А что нам теперь остается? — Моргот затушил окурок в цветочном горшке с высоким фикусом и полез в карман посчитать деньги. — Но я бы с большим удовольствием разгрохал им пару стекол.

Мы закричали «ура» и ринулись в двери, едва не срывая их с петель.

Моргот взял нам четыре детских обеда с игрушками — тогда в них вкладывали дешевые трансформеры, но даже мы с Бубликом (довольно взрослые) не считали себя разочарованными. Моргот велел девушке на кассе проверить, чтобы все игрушки были разными, и она не посмела отказать. И колу он велел налить безо льда, чем сильно нас расстроил.

— Ну почему, Моргот? — заныл Силя. — Со льдом же лучше!

— Цыц! Водички я тебе дома налью.

— Ну Моргот! Без льда в бутылках продается.

И он уступил.

— Ладно, черт с вами. Девушка! Насыпьте им льда! Чтоб вы им подавились.

Еще он взял нам по рожку с мороженым и по хрустящему пирожку с вишней.

— А тебе, Моргот? — поинтересовался внимательный Бублик — больше никто не заметил, что себе Моргот не взял ничего.

— Я этого дерьма не ем, — он поморщился и спросил у девушки: — А выпить у вас нечего?

— К сожалению, только безалкогольные напитки, — ее широкий оскал изобразил улыбку.

— Не надо мне так улыбаться, я никому не скажу, что вы не были со мной приветливы, — Моргот кинул на стойку несколько скомканных купюр и добавил мелочи, порывшись в кармане.

Мы пировали, сидя за блестящим столиком: шуршала льдом, сосали колу через полосатые соломинки с гофрированным изгибом; дрались за нагетсы и картошку фри, макая ее в

соус; кусали друг у друга гамбургеры, которые Моргот так презрительно обозвал «бутербродами»; жевали пирожки, подбирая с подносов сыпавшиеся хрустящие корочки и слизывая со стола вишневое варенье, капавшее с другой стороны пирожка. Мы были счастливы.

Моргот пошел покурить, а вернулся с маленькой бутылкой водки: лицо его выражало исключительную брезгливость. Он пил водку из горлышка, изредка запиная колой из наших бумажных стаканов.

— Как вы можете пить эту дрянь? — каждый раз повторял он, отодвигая стакан в сторону.

Лицо его светилось, и глаза горели тем же странным, демоническим блеском.

Мы возвращались домой почти час: у Моргота не оказалось денег даже на автобус. Нам он об этом, понятно, не сказал, да мы и не устали. Наоборот, нам нравилось идти с ним по темным улицам — он не так часто куда-то с нами ходил.

Сейчас я думаю, что он мог бы продать кабриолет. Это была дорогая, очень дорогая машина. Ему ничего не стоило, не заезжая за нами в подвал, перегнуть ее перекупщикам — мы почти час носились по городу, пока нас не начали ловить, за это время можно было уехать далеко за город. Конечно, перекупщики платили ему едва ли десятую часть той стоимости, по которой потом машину продавали, но все равно это составило бы огромную сумму — можно сказать, за один вечер Моргот просадил столько, сколько хватило бы нам на полгода безбедной жизни, а то и больше. Я до сих пор помню ощущение праздника, и восторг, и счастье. Моргот хотел, чтобы мы смотрели на него раскрыв рот, и добивался своего. Его недалновидное презрение к деньгам, его ничем не оправданное мотовство может вызвать осуждение, но я до сих пор восхищаюсь его способностью к эдакому широкому жесту. Ради минутного удовлетворения швырнуть под ноги такую сумму — пусть и украденную — способен не каждый.

Вернувшись в подвал, спать мы, конечно, не собирались: нам было что вспомнить. Моргот заперся в каморке, сказав, что мы надоели ему до тошноты. Вот тогда-то Первуня и показал нам свой трофей — розовый блокнот.

Крохотный замочек сломал Бублик — вилкой. Блокнотик оказался исписанным непонятным почерком, а в его середине были спрятаны разрезанные на кадры кусочки пленки. Я первый решил, что это диафильмы: мои родители показывали мне их, когда я был совсем маленьким. Никто из ребят о диафильмах не слышал, и мне пришлось долго объяснять, что это такое и как их смотрят. Я понятия не имел, чем диапозитив отличается от негатива, и был уверен: чтобы непонятные белые значки на темном фоне превратились в картинки, нужен специальный проектор. Спросить о проекторе у Моргота мы решились только утром, когда он выбрался к завтраку. Еду готовили мы сами — как умели, конечно. Чаще всего на завтрак была яичница, иногда с колбасой, но чаще — с хлебом.

— Моргот! — Первуня кинулся к своей кровати — каждый из нас имел свою кровать, и лампочку над ней, и постельные бельё, и покрывало. Моргот хотел, чтобы мы жили по крайней мере не хуже, чем в интернате.

— Не ори... — Моргот поморщился: у него болела голова. — И не топай.

— Да я и не топаю, — шепотом ответил Первуня и на цыпочках вернулся назад с блокнотом в руках. — Смотри, Килька говорит, это можно смотреть через какую-то штуку специальную...

— Это диафильм! — подтвердил я. — У меня такие были в детстве.

Моргот взял в руки один из вырезанных кадров и посмотрел на свет.

— Чуть, — ответил он. — Никакой это не диафильм. Это негативы. Можете смело выбросить.

Он взял второй кадр и снова посмотрел на свет — и вдруг лицо его изменилось.

— Где вы их взяли?

— Так в блокноте же... — ответил Первуня.

— В каком еще блокноте?

— Вот в этом, — Первуня с готовностью протянул Морготу розовый блокнот. — Это который я в машине нашел.

— Дай его сюда.

Он долго разглядывал вещицу, пролистал его с начала до конца, а потом обратно.

— Черт бы тебя побрал... — проворчал он, забрал все и унес к себе в каморку.

Мать сыра земля...
Рождение и смерть.
Я видел ее сегодня,
трогал даже —
она оставляет грязные следы
на пальцах.
Она действительно сырая.
И теплая, как женское лоно.
Поутру капли ее пота
ложатся на траву —
она красиво потеет.
Она принадлежит мне.

*Из записной книжки Моргота. По всей
видимости, принадлежит самому Морготу*

«Европейская цивилизация постепенно проникает и в наш город. Вчера Матвий Плещук побывал на открытии второй в городе ночлежки для бездомных. В благоустроенном двухэтажном корпусе любой зарегистрированный бродяга может получить ночлег, скромный ужин, душ и услуги прачечной, и все это за очень умеренную плату. На строительство ночлежки деньги были собраны депутатами парламента, а ее текущее содержание берет на себя городской бюджет.

Еще одна приятная новость: на прошлой неделе создан пенсионный фонд “Наследие”, и с сегодняшнего дня триста тысяч рабочих предприятий города начали подписывать договоры на частное пенсионное обеспечение. Ни для кого не секрет, что частные пенсионные фонды имеют больше возможностей для прибыльного размещения средств, и, в конечном итоге, это повлечет за собой значительное повышение уровня жизни пенсионеров.

Искрами насилия назвал тележурналист Владислав Райнер беспорядки, все еще нарушающие покой мирных горожан, однако в военной полиции это не изжитое нами явление принято называть прямо: бандитизм. Сегодня ночью пять человек, имеющих автоматическое оружие, пытались проникнуть на территорию порта с целью захвата сорокафутового контейнера с дорогостоящим оборудованием, предназначенным для бурения скальных пород. Нет сомнений: бандиты руководствовались меркантильными соображениями — в состав оборудования

входят алмазные буровые коронки, а также инструмент из особо прочных металлов. В результате неумелых действий грабителей произошел взрыв находившихся неподалеку баллонов с ацетиленом. Два работника порта и один пожарный пострадали и доставлены в больницу. Преступникам удалось скрыться.

Завершает ленту новостей сообщение, полученное из-за рубежа: нашу страну в ближайшие месяцы намерен посетить Боб Флай — легенда тяжелого рока, которого в нашей стране до свержения коммунистической тирании почитатели его таланта могли слушать лишь тайком. Шестидесятилетний Боб намерен дать у нас четыре концерта, сборы от одного из них полностью пойдут на восстановление разрушенного бомбами жилья. Рок-кумир сказал, что это станет его вкладом в дело мира и дальнейшего процветания нашей страны».

Розовый блокнот Моргот изучал несколько часов. Он снял с него копию. Он выучил наизусть его содержание. На следующий день, отчаявшись разобрать изображения на негативах с помощью лупы, он стащил проектор для диапозитивов из фотомастерской. Черчение было самым ненавистным для него предметом в университете, но он снял копии с чертежей на миллиметровку, чтобы не разглядывать их в темноте. Он не знал, зачем это делал, и не собирался передавать полученную информацию Максусу. Во всяком случае, немедленно. Он почувствовал Большую игру сразу, с первой страницы блокнота. Да, Моргот закончил всего четыре курса университета из шести и не был усерден в учебе, он ни дня не работал по специальности и никогда не интересовался своей будущей работой всерьез, но технический университет имел особенность вкладывать знания и в те головы, которые всячески этому противились. Моргот представлял себе примерную ценность искусственного графита, применяемого в ракетостроении, и догадывался, насколько более совершенную структуру имеет графитовая кладка для атомных реакторов.

Сначала он заподозрил Кошева в желании продать запасы чистого графита, но, по мере расшифровки его обрывочных записей, убеждался, что даже это для Кошева мелко.

На одной из последних страниц он нашел список фамилий с инициалами, рядом с которыми значились адреса. Их было около двадцати. Моргот был слишком ленив, чтобы тут же кинуться на поиски «фигурантов», и азарта его хватило ровно на то, чтобы прогуляться до телефонной будки — позвонить Стасе. Потому что самыми мелкими буквами, в самой середине блокнота, в уголке, Моргот нашел запись: «ю-з пл?». Расшифровал он эту запись как «юго-западная площадка».

В шпионы Кошев не годился: такие вещи надо запоминать.

Стася собиралась обедать и не скрывала радости от звонка Моргота.

— Хочешь, пообедаем вместе? — спросил он непринужденно.

— Моргот, мне неловко... Ты все время тратишь на меня деньги...

Он вспомнил неожиданно (он всегда вспоминал о таких вещах неожиданно), что вчера все деньги оставил в этом проклятом «Рональде». Три дня можно было жить...

— Мы же не в «Оазис» пойдем, правда? — вкрадчиво дыхнул он в трубку.

— Конечно нет... У меня вообще-то с собой бутерброды. Давай лучше сходим в парк, такое солнце сегодня!

Моргот постарался, чтобы вздох облегчения не прозвучал слишком громко:

— Ну, давай в парк.

— Тогда подходи к проходной. Я увижу тебя в окне.

Моргот не стал возвращаться в подвал: до центральной площадки завода за полчаса можно было дойти пешком, а кланчить у пацанов мелочь, упрятанную в кубышки (у нас у всех имелись смешные сбережения, которыми Моргот пользовался часто и беззастенчиво), ему не хотелось.

Стася, похоже, ждала его не у окна, а возле вертушки, потому что выпорхнула на улицу, как только он появился. Щеки ее горели, и большой рот расплывался в улыбке; Моргот отнес ее незамысловатое счастье на счет своего обаяния и непревзойденного мастерства в постели. Впрочем, в постели Стася была холодна и чересчур стеснительна. Моргот чмокнул ее в щечку и,

направляясь в сторону парка, вульгарно притянул к себе, искренне полагая, что скромницам надо привыкать к откровенным ласкам.

— Представь себе, вчера у Виталиса угнали машину! — начала она, когда оправилась от неловкости и перестала оглядываться по сторонам.

— Да ну? — Моргот злоратно прикусил зубами усмешку.

— Да! Прямо от «Оазиса»! Он пришел к нам в управление и требовал, чтобы дядя Лео поднял все свои связи и нашел угонщика.

— Связи в таких случаях хороши только в первые пятнадцать минут, — проворчал Моргот.

— Ничего подобного! Машину нашли через два часа. Между прочим, Виталис был уверен, что машину угнал ты. Мне кажется, он сильно разочаровался, когда ему сказали, что машину взяли покататься какие-то подорожки. Ее искала военная полиция! Представляешь?

— Ничего себе связи у дяди Лео! — присвистнул Моргот.

Они расположились в парке на покрашенной в белый цвет скамейке, Моргот закинул руку на ее спинку, чтобы удобно было нагибаться и шептать что-нибудь Стасе на ухо. От бутерброда с дешевой вареной колбасой он отказался и осторожно и старательно поворачивал разговор к юго-западной площадке завода. И в конце концов услышал то, что хотел: площадка действует, но частично сдана в аренду.

— Наверное, дядя Лео готовит ее к продаже, — усмехнулся Моргот.

— Нет, что ты... — Стася махнула на него ладонью. — Он против ее продажи. Ему предлагали, но он отказался. Дядя Лео очень дорожит заводом. Ты можешь в это не верить, но это именно так.

— Ну еще бы! Это сегодня магазины приносят денег больше, чем металлургия. Но, как я тут недавно говорил, скоро инвестиции потекут к нам со всего мира... — он хмыкнул и отвернулся.

— Дядя Лео говорит, что завод — это капитал, а супермаркеты — стекляшки, которые ничего не стоят.

— Посмотрел бы я, на чем ездил бы его сын, не будь этих стекляшек, — фыркнул Моргот.

— Акции завода поднимаются в цене, — с гордостью ответила она. — Дядя Лео говорит, это конец экономического кризиса, и скоро пойдет рост производства. Вот как только отменят валютный коридор. Это он так говорит...

— Пффф... Валютный коридор при Плещуке никто не отменит. Это требование МВФ.

— Дядя Лео считает, что валютный коридор не дает производству разворачиваться. Наш прокат стоит дороже, чем в других странах.

— Надо думать. Валютный коридор для этого и создан. По-моему, это очевидно. Никому не нужен наш прокат, всем нужно наше железо. А оно-то как раз дешевеет, чтобы сделать конкурентоспособным наш прокат.

— Ты так хорошо в этом разбираешься, — вздохнула Стася и посмотрела на Моргота с восторгом. Она не была дурой, нет. Она пыталась ею прикинуться. Но Моргот все равно удовлетворенно вздохнул.

— Я всего лишь думаю над тем, что происходит, — снисходительно ответил он и загадочно улыбнулся.

— Ты ненавидишь их?

— Кого?

— Ну... Плещука...

— С чего ты взяла? Они мне до лампочки.

— А зачем ты тогда так упорно выпрашиваешь меня о заводе? — она улыбнулась — открыто и немного испуганно.

Моргот решил, что переиграл в красного шпиона, если это бросается в глаза. И тут же успокоил себя мыслью: тот красный шпион, которого он играл, не был искушен в шпионской деятельности. Но неприятный осадок все равно остался: обычно его хитрости оставались невидимыми.

— Хочешь честно? — он доверительно взял Стасю за руку. — Мне действительно нет дела до Плещука, и вообще — до политики. Я не люблю Кошева.

— Дядю Лео? — она удивленно приоткрыла рот.

— Нет, конечно. Младшего Кошева.

— Но за что?

— У меня есть на то причины. И сейчас я очень сильно подозреваю, что он хочет обуть твоего любимого дядю Лео.

— Как это... обуть? Почему обуть?

Моргот усмехнулся про себя и качнул головой.

— Кинуть, — он достал сигарету и, посмотрев на ее непонимающее лицо, добавил: — обойти на повороте. Ну, обмануть.

— Этого не может быть... Виталис ветренный, но он не станет обманывать отца.

— Ты слишком хорошо о нем думаешь. Если интересно, можешь проверить. Зуб даю, он скупает акции завода. Поэтому они и растут в цене, а вовсе не из-за выхода из кризиса.

— Неправда! — она мягко, но победно улыбнулась. — Мы знаем обо всех крупных покупках наших акций! Мы же ведем реестр акционеров.

— Вот и попробуй проверить, кто покупал у вас акции. Не сомневаюсь, ваши новые акционеры валяются под забором. Или это домохозяйки, у которых нет денег даже на квартплату.

— Я проверю, — уверенно ответила она и улыбнулась снова.

Моргот сидит передо мной, развалившись в кресле, и цедит коньяк, время от времени катая его по широкой низкой рюмке, — это хороший коньяк, он оставляет на стекле мимолетные маслянистые разводы.

— Эта идея с акциями сама собой пришла мне в голову. Что-то вроде наития. И только после этого я подумал, что Кролик ляпнет об этом старшему Кошеву.

Он упорно называет Стасю Кроликом.

— Я позвонил ей домой часов в десять. Я не собирался к ней, мне надо было где-то достать денег, а хуже ночи на пятницу может быть только ночь на понедельник. Она ничего не сказала «дяде Лео», ей хватило ума.

— Лучше бы сказала, — не удержавшись, ворчу я. — Старший Кошев остановил бы это до того, как потерял решающий голос.

— Я тогда так не считал. Мне было мало разоблачить игру Кошева против отца. Я хотел огласки, я хотел, чтобы об этом цехе узнали все.

— Зачем?

— Не знаю. Мне так хотелось. Придумай сам что-нибудь, — Моргот подмигивает мне.

Он и теперь играет. У него роль развязного, разбитного парня, который стесняется того, что о нем кто-то

пишет книгу. Но играет он столь достоверно, что я иногда верю: он действительно испытывает неловкость.

Я понимаю, почему он хотел огласки: ему нужно было выставить Кошева негодяем публично, именно публично. Моргот не только ненавидел Кошева — он ревновал к нему его популярность, его умение находиться в центре внимания. Я не верю в то, что Моргот завидовал ему, его богатству. Это отношение я считаю именно ревностью.

— И потом, я же не знал, что старший Кошев — против продажи цеха. Я думал, он продаст его сам, как только о нем узнает.

Он затягивается и откидывается в кресло еще глубже.

— Ты остановился на том, что позвонил Стасе в десять вечера, — мягко напоминаю я.

— Да. Она, представь, действительно посмотрела в реестр акционеров и сразу после работы побежала выяснять, кто купил крупные пакеты за последние дни.

— И как?

— Я оказался прав! — довольно жмурится Моргот. — Она проверила всего два адреса. По одному из них застала семейство в коммуналке, троих детишек в коротких маечках, а по второму — алкоголика, заросшего мусором. Она потом еще неделю бегала по разным адресам и видела то же самое. Но меня это уже не интересовало. Я не сомневался, что это Кошев.

— Послушай, если бы ты знал, чем это закончится, ты бы полез в эту историю? — после паузы спрашиваю я.

— Если бы я знал, чем это закончится, я бы не повел! — смеется Моргот. — Ты чего, Килька? Я хотел нагадить Кошеву, только и всего! Меня, знаешь ли, не интересовали стратегические интересы Родины. Да и стратегического интереса я в этом не увидел. Я хотел помешать ему срубить денег за по-легкому! Родину продавали все кому не лень, и меня это волновало не больше, чем жизнь на Марсе.

— Это же неправда, Моргот, — я смотрю на него, укоризненно наклонив голову. — Я читал твою записную книжку.

— Ну и что? — он равнодушно пожимает плечами. — Мало ли что я писал в записной книжке? Нет, Килька, я не был пламенным борцом за правое дело.

Он не желает знать о том, какие чувства им двигали. Он закрывается от самого себя, он играет роль перед самим собой и верит в искренность игры. Он найдет тысячу оправданий своим поступкам, лишь бы никто не посчитал его «пламенным борцом».

Ему не везло — хуже ночи на пятницу может быть только ночь на понедельник. Улицы центра словно вымерли. Одинокие дамочки не спешили домой из ресторанов и от любовников, пьяные посетители не валили валом из казино, обкуренные подростки не расхаживали по домам богатых родителей...

Моргот случайно набрел на пьянчугу, у которого в кармане денег нашлось на две бутылки пива, потом вытащил из стоявшей машины барсетку, но в ней денег не было вообще. Наконец ему повстречался в меру пьяный гражданин с портфелем, но деньги он явно в портфеле не держал, а Моргот не добирал квалификации карманника. Гражданин не производил впечатление сильного и ловкого — так, загулявший мелкий чиновник, — и Моргот попытался отобрать у него бумажник силой. Но просчитался, за что получил сначала кулаком в лоб, а потом, лежа на асфальте, — презрительный пинок ногой в живот.

— Что, так сильно доза нужна? — брезгливо поинтересовался гражданин, глядя сверху вниз, как Моргот корячит-ся и пытается хлебнуть немного воздуха. — Подавись...

Он вытащил из портфеля две крупные купюры — действительно, на дозу могло и хватить — и пустил их плавно лететь вниз, прямо Морготу на голову. Моргот выругался: если бы он мог только предположить, что деньги лежат в портфеле, то не валялся бы сейчас на асфальте, считая искры, высыпающиеся из глаз — на лбу набухла здоровая шишка. Нет, разбойные нападения надо совершать с оружием, ну хотя бы с ножом. Гражданин не дождался, пока деньги упадут на землю, и направился своей дорогой. Мелькнула мысль догнать и вырвать портфель, но Моргот решил, что человек, столь мастерски владеющий кулаками, и бегать может не хуже него.

Подобные происшествия он относил к профессиональным рискам, но каждый раз долго досадовал на себя и переживал неудачу по несколько дней подряд: еще бы — его, такого хитрого и ловкого, вываляли в грязи, унизили, над ним

насмеялись, глядя свысока. Он пытался изобразить человека, который не видит в этом унижения, только радуется полученным деньгам, но эта роль давалась ему плохо. Моргот не был вором по своей сути — он только играл вора. Когда он искал себе рискованные приключения, он вовсе не хотел, чтобы они заканчивались столь плачевно, напротив, если его «подвиги» кончались неудачей, пусть и не самой страшной, он уже не испытывал того, ради чего их затевал, — легкости и слегка пьянящей эйфории.

Поднявшись на ноги, он долго отряхивался, как будто хотел уничтожить следы случившегося, дабы ничто не напоминало о бесславном «налете». Фортуна так и не улыбнулась ему в ту ночь, и на подвиги Моргота особо не тянуло: от удара в лоб раскалывалась голова. Он вернулся в подвал, когда светало, нашел в холодильнике кусок мороженого мяса, добытого Салехом с месяц назад, и лег спать, приложив его к шишке на лбу, — мясо воняло тухлятиной. Наверное, поэтому Бублик и утверждал, что еды нет совсем.

Мы не могли не разбудить его своей утренней возней. Мясо растаяло и капало розовой вонючей водичкой сквозь полиэтиленовый пакет прямо на подушку. Моргот сбросил его на пол и позвал:

— Бублик!

— Чего? — мы всегда ждали, когда он нас позовет, и немедленно заглядывали в спальню.

— Иди сюда.

Тот с готовностью протиснулся в дверь.

— Дверь закрой. И слушай внимательно. Я тебе сейчас дам пару адресов, сбегаешь и выяснишь, что там к чему. Ну, в общем, живут там эти люди или нет. Понял?

— Ага, — Бублик все понимал.

Он немало хлебнул за свою маленькую жизнь, гораздо больше меня и больше Моргота. Принято считать, что дети, которым приходилось не жить, а выживать, становятся отмороженками. Это неправда. Жизнь научила Бублика совсем другому: он чувствовал чужую беду, как свою собственную, он умел сопереживать, потому что на своей шкуре испытал, что такое горе, боль, голод, страх. Он был удивительно добрым, мой друг. Жизнь заставила его стать старше и умней, а не злей и циничней. Наверное, потому, что он никогда не винил в своих несчастьях злую судьбу.

— И перестаньте орать... — добавил Моргот, вырывая из записной книжки листок.

— Ага, — кивнул Бублик с готовностью, — а Кильку можно с собой взять?

— Нет, — поморщился Моргот. — И не надо трепаться об этом всем и каждому.

Хранить тайны Бублик умел, ему не надо было повторять дважды. Перегородки в комнате Моргота пропускали звук слишком хорошо, и я слышал их разговор, но Сия и Первуня не слушали: они дрались за умывальник, хотя умываться, конечно, не любил никто из нас.

Моргот дал Бублику первый адрес в списке и те, что были подчеркнуты ногтем, потому что считал их наиболее важными. Адреса были написаны против фамилий Стогов, Станич и Ганев.

— И это... — Моргот посмотрел на кусок мяса, валяющийся на полу, — на помойку, что ли, снеси... Где Салех только раздобыл эту тухлятину?

— Ему в магазине дали, где он машину разгружал, — тут же объяснил Бублик. — Он думал, ему денег заплатят, а ему дали мяса. Он продать хотел, но никто не купил.

Не было никаких сомнений в том, что мясо стухло в попытках его реализовать...

Живой и здоровый Бублик поставил мне в вину тираду про его трудную жизнь.

— Килька, убери это. Я понимаю твоё желание сделать меня ангелоподобным существом, оттенив демонизм Моргота. Но, честное слово, я вовсе не был добрым, я был нормальным ребенком. Вспомни, как мы издевались над Силей! Очень добрый Бублик даже дрался с ним время от времени! А ведь сейчас подумать — это же изощренная жестокость: смеяться над его надеждой на возвращение родителей. А?

Я неопределенно повел плечами, но вычеркивать ничего не стал.

Лео Кошев тихо кашляет, прочищая горло, прежде чем заговорить. В отличие от Моргота, он смотрит на меня с непониманием, когда я предлагаю ему коньяк.

— Главным инженером цеха, фактически руководителем, был Виктор Ганев, — начинает он, все так же сжимая пальцами подлокотники. Ничто, кроме нервно сжатых подлокотников, не выдает его волнения. — Я хорошо знал

его, хотя формально он мне не подчинялся. Это был великий ученый, человек, преданный своему делу. Мы привыкли представлять себе ученых либо седыми стариками, либо нелепыми очкариками. Ганев более всего напоминал капитана парусника. Очень энергичный человек, очень деятельный и очень умный. У него в госбезопасности была кличка Хранитель. Я узнал это после его смерти, когда ко мне попали документы. Трагически погиб во время бомбежек. Если к его смерти не причастны люди Лунича (а я очень сильно сомневался, что это сделали люди Лунича, как я уже говорил), то тогда можно было говорить о разработке операции по лишению нас технологии производства искусственного графита. Сейчас я в это верю с трудом, и правды, боюсь, никто никогда не узнает.

— Почему они не купили Ганева? — спрашиваю я.

— Ганев не продавался, — пожимает плечами Кошев. — Вы можете в это не верить, но в те времена существовали люди, которых нельзя было купить. Заставить ученого работать на себя по принуждению? Не знаю. Не верю, что такое возможно.

— Возможно все, — вздыхаю я. — А второй, его заместитель? Технолог?

— Инженер-конструктор. Марко Станич. Был убит случайным выстрелом во время уличных боев. Был еще некто Сава Стогов, так вот он погиб незадолго до продажи цеха.

Кошев морщится. Он не хочет произносить вслух того, что знаем мы оба.

— Зачем они ждали пять лет? — спрашиваю я. — Почему не вывезли цех сразу?

— Они не знали, где он. Они не знали даже, на каком из заводов страны он размещен. Наша государственная безопасность, вопреки общепринятому мнению, работала профессионально.

Я не собираюсь превращать нашу беседу в допрос, хотя мне очень хочется спросить: а откуда о цехе узнал ваш сын? Этот вопрос вертится у меня на языке, но я держу его при себе. Пока.

Никакой Ганев по указанному адресу никогда не проживал, Марко Станич погиб довольно давно, а вот некто Стогов скончался в больнице не приходя в сознание всего два дня назад — Бублик застал приготовление к похоронам и

попал в очень неловкое положение. Больше Моргот Бублика на проверки не посылал — ходил сам. Он надеялся успеть. Две трети людей из списка расстались с жизнью пять лет назад, а остальные почему-то вздумали умереть на прошлой неделе. Моргот надеялся застать хоть кого-нибудь. И застал — Игоря Пospelова семидесяти восьми лет, находящегося в НИИ скорой помощи с желудочным кровотечением. Моргот заявился в больницу, не дожидаясь часов, отведенных для посещений, и не ошибся: входить в НИИ мог кто угодно и когда угодно. Охрана на входе лишь поинтересовалась, в какое он идет отделение.

Дед лежал в коридоре, в длинном ряду металлических кроватей, расставленных по обеим его сторонам. В отделении толпилось много народу, только медперсонала видно не было. Громко кричал телевизор в холле, вокруг которого собрались больные в халатах и спортивных костюмах. Моргот постоял у сестринского поста в надежде узнать, кто из больных Игорь Пospelов, но, так никого и не дождавшись, пошел по коридору, собираясь угадать. И угадал — это оказалось несложно: восковое лицо, плотно обтянутое сухой блестящей кожей, большие глаза с расплывшейся, затуманенной радужкой, и при этом — осмысленный, умный взгляд, спокойный и отрешенный.

— Вы — Игорь Пospelов? — спросил Моргот, остановившись над стариком.

В глазах старика промелькнул страх, но тут же исчез, сменившись бесстрашием.

— Да, — ответил он тихо.

Роль сурового борца подполья не шла Морготу, и он долго примерял на себя разные образы по дороге в больницу. Очевидно, с равнодушным демоном, запертым на земле, старик откровенничать бы не стал. Моргот годился ему во внуки, и надеяться на понимание не приходилось. Образ, на котором он остановился, примирял его с необходимостью искать подходы и проявлять должное уважение к пожилому человеку — Моргот не любил просить, быть кому-то должным и проявлять уважение.

Он разглядел пустующий стул у соседней койки и с шумом притянул его к себе.

— Посмотрите на этот список, — Моргот вытащил из кармана замусоленный листок бумаги, — вы ведь знаете этих людей?

Старик вытащил руку из-под одеяла и взял список тонкими, чуть подрагивающими желтоватыми пальцами.

— У меня в тумбочке лежат очки. Будьте добры, достаньте их, пожалуйста, — попросил он, немного насмешливо глядя на Моргота. — Тумбочка под кроватью.

Морготу пришлось встать на колени и пригнуться к полу, чтобы обнаружить злосчастную тумбочку. Да еще и долго разглядывать полутемные полки — роль загадочного пришельца не предполагала таких манипуляций.

— Возьмите, — наконец сказал он, протягивая старику очки.

— Спасибо, юноша, — кивнул тот, и Моргот подумал, что дед в этом цехе наверное не был подсобным рабочим. Он больше напоминал профессора, привыкшего к ученикам, и долго разглядывал листок, отодвигая его от лица, словно Моргот явился на зачет и ждет оценки своего ответа.

— Да, я знал этих людей, — через некоторое время кивнул старик, — конечно, знал. Ни для кого не секрет, что мы работали вместе.

— Кроме вас, никого из них нет в живых, — сказал Моргот, пристально вглядываясь в лицо собеседника.

— Я это предполагал. Видите ли, у меня всю жизнь барахлали печень, но был очень здоровый желудок. О моем желудке мои друзья сочиняли байки, будто я могу пить неразбавленную серную кислоту. Я жив только потому, что они были недалеко от истины.

Игор Пospelов замолчал.

— Я знаю, что производил тот цех, где вы работали, — сказал Моргот.

Старик ничего не ответил, разглядывая Моргота без удивления и любопытства — скорей, изучая его и подбирая слова. А потом заговорил, словно и не услышал его утверждения.

— Знаете, я всю жизнь считал себя космополитом. В молодости я верил в коммунизм, который скоро наступит на всей земле, а потом — в здравый смысл человечества, в его ум и стремление к совершенству. Я искренне полагал, что научные открытия должны принадлежать миру. Меня очень тяготила необходимость работать в условиях жесткой секретности. Я восхищался теми, кто,

рискуя прослыть предателем, передавал противной стороне военные секреты в надежде уравновесить силы. Нет, сам я ни на что подобное никогда бы не решился, но я завидовал принципиальности этих людей, их мужеству. Неважно, какой стороне они принадлежали. Наверное, я и сейчас стою на этой позиции. Но сдается мне, что мое детище, дело всей моей жизни, жизни моих друзей, моих коллег, соратников, если так можно сказать... Это детище не собираются дарить миру. Уравновешивать нечего. Нас хотят его лишить, отнять. Если бы речь шла о секретном оружии, я бы нашел этому оправдание. Но речь в том числе идет о мирном атоме, о том, что несет в дома людей тепло и свет. Простите, что я говорю столь высокопарно, но это действительно так.

Старик вздохнул, выдержал паузу и спросил:

— Скажите, цех уже уничтожен?

Моргот покачал головой.

— Странно. Зачем вы пришли?

Он спросил это так неожиданно, что Моргот вздрогнул и не сразу нашел, что ответить.

— Вы же зачем-то пришли, — продолжил старик. — Мне нечего бояться, мне все равно, кого вы представляете: Лунича, Плещука или наших друзей-миротворцев. Вы хотите что-то узнать, а когда я умру, спросить будет некого. Кто бы ни захотел меня спросить. Спрашивайте.

— Почему вы считаете, что у нас хотят отобрать технологию?

— Потому что иначе нет никакого смысла убивать тех, кто может ее воспроизвести по памяти.

— А вы можете воспроизвести ее по памяти?

— Разумеется. Я занимался ею сорок лет без малого. И потом, основы таких технологий известны каждому инженеру, ценность представляют лишь принципиальные технологические моменты, то, что можно считать открытием. То, что будет опубликовано в журналах лет через двадцать. Мы понятия не имели, насколько позади или впереди остального мира находимся. И сейчас не знаем. Возможно, наша технология вообще не представляет ценности, возможно, наше производство чересчур дорогостоящее или слишком медленное. И если физические свойства и степень чистоты реакторного графита мы могли сравнивать с зарубежными

аналогами, хотя бы и с опозданием в несколько лет, то о качестве графита для получения чистого германия и кремния мы могли только гадать. Никто не продал нам и грамма... — старик посмотрел по сторонам, но отделение монотонно шумело вокруг и на них с Морготом внимания не обращало, — и грамма... Зато наши запасники и лаборатории, насколько я знаю, исследовали с особой тщательностью под предлогом поисков ядерного оружия. Мы двигались вслепую, совершенствовали технологию, снижали брак, сокращали потребление электроэнергии, а графитация — энергоемкий процесс. Через несколько лет мы узнавали, что наши зарубежные коллеги идут тем же путем, или другим, более витиеватым, или, напротив, прямым. Только это ничего нам не давало, поскольку обнародование таких сведений происходит на том этапе, на котором они уже бесполезны. Разведка наша такими мелочами не интересовалась.

— Скажите, а само оборудование цеха представляет из себя ценность?

— В определенной степени представляет. Но оно не сравнимо со стоимостью научных разработок, вложенных в него. С моей точки зрения, оборудование ценно только тем, что по нему можно судить о тонкостях технологии. Скажем так, воспроизвести эту технологию заново, с нуля, будет очень сложно. На это потребуются годы. И не просто годы. Учеными, да и инженерами, не рождаются, ученых создает среда, окружение, образование. Чем больше людей получает нужное образование, тем больше вероятность, что среди них отыщется один, способный открыть что-то по-настоящему важное. Но и этого мало. Открытие — это цепочка случайностей, это наитие, а наитие не возникает в голове на пустом месте. Вложение средств в фундаментальную науку всего лишь увеличивает вероятность появления цепочек, приводящих к открытиям. Сегодня мы еще способны дать миру ученых, настоящих ученых, но пройдет лет десять-двадцать, и их не станет. Молодые не стремятся в науку, образование постепенно выхолащивают, превращают в объект купли-продажи. Дети не ходят в авиамодельные кружки и шахматные секции, молодые люди озабочены добычей средств к существованию, родители не в состоянии платить за их обучение в вузах, а

ученые — самая низкооплачиваемая категория людей... Я начинаю думать, что это делают с нами нарочно...

Моргот отвернулся в сторону — от лекций он скучал. Старик заметил это и замолчал.

— А в какую сумму вы бы оценили оборудование цеха? — тут же оживился Моргот.

Старик чуть заметно скривил губы:

— Я не коммерсант. Я ученый.

Моргот понял, что заигрался: загадочный незнакомец явно перестал нравиться Игорю Пospelову.

— Его хотят продать. Почему его хотят купить, я уже понял. Теперь хочу понять, есть ли смысл его продавать? Если стоимость оборудования невелика?

— Знаете, юноша, награбленное обычно продают за бесценок...

Это Моргот знал лучше старого ученого. Гораздо лучше. И не смог сдержать усмешки.

— Вы не могли бы посмотреть на чертежи, которые мне удалось достать? — Моргот хотел спросить, представляют ли они какую-нибудь ценность, но вовремя сообразил, что загадочный незнакомец должен мыслить не только стоимостными категориями. — На этих чертежах отражено что-либо, что не может воспроизвести рядовой инженер?

Старик кивнул, и Моргот полез за пазуху, доставая неаккуратно сложенную миллиметровку.

Желтые пальцы дрожали, и широкие тонкие листы тряслись и тихо шуршали в руках ученого, как сухая листва на ветру. Моргот неожиданно представил себе, что будет, если к миллиметровке поднести огонек зажигалки: как легко вспыхнет бумага, как сторит за несколько секунд, осыплется пеплом на грудь старика, покрытую жалким, запятнанным больничным одеялом. Ему показалось, что и старик может так же легко стореть вместе с этой бумагой — такой же высохший, тонкий, дрожащий, как лист на ветру.

— Вынужден вас разочаровать: вы не продадите это и за бутылку водки, — старик улыбнулся, и руки его упали на одеяло.

Моргот сузил глаза и усмехнулся, чтобы скрыть разочарование. Он, конечно, не собирался продавать чертежи, но он надеялся передать их Макс. Передавать

Максу дешевку он не хотел — ему непременно надо было доказать свою значимость и продемонстрировать исключительный талант шпиона.

— У меня нет на них покупателя, — зло ответил он старику. — У тех, кто имеет покупателя, я думаю, на руках не только все документы, но и оборудование. Куда ж мне со свиным рылом в калашный ряд?

— Скажите, а зачем тогда вам это нужно? — ученый взглянул на Моргота с любопытством. — Я все гадаю, кто вас прислал ко мне, и не могу понять... Мне, конечно, все равно. Те, кому я бы не хотел ничего говорить, пытались заставить меня замолчать, значит, им мои речи ни к чему... Тем, кто продает цех, не о чем меня спрашивать. Это дельцы, им без надобности знать технические секреты...

Он поднял глаза и улыбнулся Морготу — Моргот оставил лицо неприоницаемым.

— Спрашивайте. Что еще вы хотите узнать?

— Я хотел вас попросить. Если это физически возможно, конечно. Если это вообще в принципе возможно. Напишите, что, по-вашему, могло бы помочь воспроизвести технологию, если она все же уйдет из страны. Самое главное.

Ученый посмотрел на Моргота и качнул головой:

— Мне нечего терять. Государственной тайны больше нет. Я напишу. То, что успею. Пусть мои последние дни станут осмысленными... Я не уверен, что мои записи попадут в нужные руки, но пусть они останутся. У первого встречного.

Крупная медсестра средних лет выскочила в коридор из ниоткуда и тут же деловито всплеснула руками:

— Наконец-то к дедушке пришли! Что вы думаете себе, а? Думаете, мы тут будем за вашими родственниками ухаживать? Что за народ пошел! Сдали старика в больницу — и дело с концом?

Голос у нее был громким, визгливым, и Моргот поморщился.

— Что рожу-то кривишь? Помыть надо дедушку, покормить, лекарств принести! Три дня лежит, ни одна душа не заглянула! Он же неходячий! Щас я спсок лекарств принесу, доктор специально оставил. А ты пока в ванну дедушку веди, чего расселся-то?

— Он же неходячий, — Моргот скрипнул зубами: этого ему только не хватало.

— Ну, судно возьми в ванной, над судном подмой. Вата в процедурном есть.

Она не дождалась ответа Моргота и прошла мимо по коридору в сторону ординаторской. Моргот хлопал глазами, глядя ей вслед, и не знал, как поступить: послать ее подальше — обидеть старого ученого. Но и роль доброй сиделки никак его не устраивала: он был брезглив.

Старик улыбнулся мягко и виновато:

— Дайте ей денег, если можете. Они так деньги из родственников вымогают. У меня никого нет, кроме соседей по квартире... Я понимаю, на зарплату медсестры можно ноги протянуть, вот они и изворачиваются. Они не ленивые и не злые, в общем-то. Но жить всем хочется.

— Сколько? — спросил Моргот.

— Я не знаю, — старик пожал плечами. — У меня, знаете ли, нет опыта...

Когда медсестра, пробегая мимо, кинула Морготу в руки листок бумаги, вырванный из блокнота, он остановил ее, схватив за руку.

— Сколько тебе надо? — спросил он пренебрежительно и сам не заметил, как в точности воспроизводит интонации того человека, что дал ему денег «на дозу».

Сестра остановилась, кокетливо зарделась и пожалала плечами:

— А сколько не жалко?

Моргот достал из заднего кармана скомканную пятисотку и хлопнул ею по пухлой ладони медсестры.

— Но лекарств все равно принеси, — та, нисколько не стесняясь посторонних, спрятала деньги в карман, — у нас только анальгин и димедрол.

Моргот нехотя сунул список в задний карман, ни секунды не сомневаясь, что благотворительности на сегодня вполне достаточно.

— Не вздумайте ничего покупать, — оглянувшись, сказал ему старик, — мне это не поможет. Они не могут остановить кровотечение. Я стою в очереди на срочную операцию — она назначена на следующую пятницу.

Моргот посмотрел на ученого недоверчиво.

— Да, юноша. При поступлении в больницу меня предупредили: тридцать тысяч, и операцию сделают сразу же...

Ненависть — обременительное чувство... Моргот едва не потерял маску загадочного незнакомца, от которой и так мало что оставалось. Лицо его дернулось само собой, словно от судороги, но он быстро сделал его равнодушным. Однако от старика не ускользнуло его замешательство. И когда Моргот, уходя, оглянулся, то увидел желтый сжатый кулак на подушке возле уха, и ему показалось, что губы старика шепнули бесшумно:

— Непобедимы...

Я надеялся на приход младшего Кошева. Я закрывал глаза и представлял, как он вламывается ко мне в библиотеку в сопровождении шумной компании и разваливается в кресле перед камином. Я так хотел увидеть его молодым! Его и его друзей. Я хотел увидеть их молодыми, потому что по ночам ко мне приходили только мертвые...

Но младший Кошев не пришел ко мне, сколько я ни закрывал глаза и ни звал. Он был старше меня всего на пятнадцать лет — это лишь в детстве кажется неразделимой пропастью. Я не стал наводить о нем справки, я позволил себе надеяться, что его нет в живых.

Вместо Виталиса Кошева напротив меня сидит Макс. Большой и уверенный, в кожаной куртке и высоких ботинках. Красивый и плечистый, с чистым и добрым (даже слишком добрым) лицом — свою жизнь он прожил так, что ему нечего стыдиться.

— Я тоже хочу рассказать про Моргота, — говорит он (у него не поворачивается язык называть меня Килькой, а моего имени он не знает. Его это смущает и мучает, поэтому он старательно обходит обращения).

Макс начинает свой рассказ, словно дает Морготу характеристику с места работы, и характеристику положительную. Но я быстро прерываю его. В отличие от Моргота, я не умею переводить разговор в нужное мне русло непринужденно, поэтому мне приходится говорить прямо и откровенно.

— Я хочу знать, какой он был на самом деле. Я хочу, чтобы он был живым, — говорю я.

Макс меня не понимает, но постепенно втягивается в разговор. Верней, не совсем... Они ведь приходят не просто так. Они приходят, потому что хотят что-то

сказать, сказать честно, сказать, как думают. Иначе зачем им приходиться? У них остались нерешенные проблемы, незакрытые темы. И это тревожит их, не дает им покоя.

— Я дразнил его в детстве, — вздыхает Макс. — Я знал его слишком хорошо. Я не знаю, почему мы сошлись. И не потому, что противоположности сходятся. Мы вовсе не были противоположностями. Мы совсем не подходили друг другу. Мы не ссорились, а находились в непрерывной конфронтации. Мы все время что-то друг другу доказывали.

Он замолкает, не зная, о чем говорить дальше, и вопросительно смотрит на меня.

— А как вы подружились? — я хочу ему помочь.

— Первого сентября. В первом классе. Мы жили на одной улице, и я сразу его заметил: он шел впереди меня, и за руки его держали отец с матерью. Я больше обращал внимание на его отца — он был в военной форме. Я жил с мамой и засматривался на чужих отцов. И думал о том, как здорово иметь такого отца: высокого, подтянутого, в фуражке. Моргот шел и затравленно оглядывался по сторонам, как будто собирался сбежать. Он был таким прилизанным, таким чистеньким, с букетом гладиолусов с него ростом. Мне мама купила астры и несла их сама. Я тоже чувствовал себя не в своей тарелке и тоже был вылизан с ног до головы. И стоило маме выпустить мою руку из своей, я тут же побежал вперед. Ранец по спине стучал, это было непривычно, а я очень ранцем гордился. Я бегал быстро, обогнал Моргота и оглянулся, чтобы показать ему язык. И тогда его отец сказал (я это очень хорошо услышал и запомнил): «Вот смотри, настоящий парень, не то что ты!» Мне было очень приятно, а Моргот скорчил мне рожу. Отец подтолкнул его вперед и забрал у него гладиолусы. И дальше мы пошли вместе. И так и ходили потом до десятого класса, — Макс усмехается и опускает голову. У него очень высокий лоб, над ним топорщатся коротко стриженные кудряшки, и он напоминает бычка, какими их рисуют в мультфильмах.

Я киваю.

— Моя мама перед самой линейкой тоже сказала мне про Моргота: «Какой хороший мальчик! Вот с кого тебе надо брать пример!» Если бы она видела Моргота

через час, она бы такого не говорила! — Макс хихикает в кулак. — В нашем классе он оказался самым шустрым, самым заводным. На уроках он и минуты не мог сидеть спокойно, а на переменах носился со скоростью звука. Он ни во что не ставил учителей, с самого первого дня, но когда надо умел прикинуться невинным пайнкой. Поднимет глаза, честные-пречестные, сделает несчастное лицо — учителя таяли. И учился он хорошо, поэтому ему многое прощали. Все давно знали, что он вовсе не невинный пайнка, и все равно прощали. Моя мама очень любила его... Он умел быть вежливым и обходительным, как бы ни прикидывался хамом. Воспитание! Однажды мы классе в девятом попали в дорогой ресторан — родители нашей одноклассницы решили шикарно отпраздновать шестнадцатилетие дочери и позвали всех. Там было три вида вилок и ножей, ложки самого разного размера, еще какие-то непонятные приборы. Мы-то привыкли к школьной столовке да к кафе-мороженому! Помню, мы накиннулись на закуски, наливали шампанское и очень гордились, что это не портвейн в подворотне. А потом вдруг я заметил, что все смотрят на Моргота как-то странно. Я даже не понял сначала, в чем дело, так у него это выходило непринужденно... Он пользовался этими приборами, как английский аристократ из иностранного фильма о девятнадцатом веке! Моргот тоже не сразу заметил чужие взгляды, и только когда все перестали жевать и начали перешептываться и толкать друг дружку локтями, понял, что «проколотся», как он сам это потом назвал. Он покраснел (он очень легко краснел — или это из-за бледной кожи было так заметно?), а потом взял руками куриную ножку и откусил кусок, перепачкав весь рот, и вытер руки о пиджак — вульгарней жеста я не видывал.

— А чего он испугался? Он же любил находиться в центре внимания, любил, чтобы на него оглядывались. Или я не прав?

— Конечно любил. Но, во-первых, он был готов прикинуться кем угодно, лишь бы не показаться таким, какой он есть. А во-вторых... Он очень стеснялся положения своей семьи, своей четырехкомнатной квартиры, дачи, отцовской черной машины. Другой бы на его месте этим кичился, а Моргот старался это скрыть от

всех. Я знаю, это влияние его отца. Моргот говорил, что отца ненавидит, но я был к нему очень привязан. Как моя мама любила Моргота, так отец Моргота любил меня. Его отец всегда повторял ему: в моих заслугах твоей заслуги нет. И Моргот это впитал в себя, пусть и неосознанно; он очень многое взял у отца, что бы о нем ни говорил. Конечно, уживаться в одной квартире двум таким личностям было трудновато. Отец никогда его не бил, хотя, я видел, иногда очень хотел. И, я скажу, Моргот этого частенько заслуживал. Мать — да, случалось, хлопала его ремешком. Он очень обижался, очень! Он мог не разговаривать с ней неделями, и она чувствовала себя виноватой. Его мать была сильной женщиной, умной и с твердым характером. Но он умел заставить ее испытывать чувство вины. Когда родился его братишка, Морготу было двенадцать лет. Он ревновал. Он никогда не говорил об этом, но ревновал, и, мне кажется, так и не простил этого матери. Родители чувствовали его ревность и все время старались загладить вину перед ним. Он делал вид, что ему нет никакого дела до брата, но брата любил. Как умел, конечно. Он совсем не умел любить — не оттого, что был таким черствым, нет. Он боялся любить, что ли... Не показывать любовь — это у него как раз выходило отлично, — он боялся чувствовать любовь, боялся отдавать себе в ней отчет. Он вообще боялся чувствовать.

— Но чувствовал? — спрашиваю я.

— Еще как! Всегда прикидывался равнодушным, и очень хотел быть равнодушным, но, как назло, был сентиментален и слезлив. Когда мы смотрели какие-нибудь фильмы с плохим концом, он минут за пять до развязки убежал на кухню, под предлогом, что решил немедленно чего-нибудь слопать. Я знал: он убегает, потому что не умеет сдерживать слез, — и я смеялся над ним, нарочно старался его подловить, мне почему-то хотелось вывести его на чистую воду. Он очень злился из-за этих моих попыток. Я подкрадывался к кухне на цыпочках и смотрел в дверную щелку, как он запрокидывает лицо, чтобы слезы не текли по щекам. А потом, когда он точно не мог бы отговориться, распахивал дверь и кричал: «Ага! Попался!» Он неизменно отвечал, что ему что-то попало в глаз, и, если бы на моем месте был кто-то другой, он

бы Морготу поверил: тот умел ловко притворяться. Он врал и притворялся виртуозно! Но я не верил и продолжал его дразнить. Иногда это заканчивалось дракой, и он всегда начинал первым. Мы частенько с ним дрались, и он всегда начинал первым. Я же занимался боксом с шести лет, я был на голову выше и на восемь месяцев старше. Я в четырнадцать лет стал кандидатом в мастера... Мне драться с ним было все равно, что с девчонкой. Он это прекрасно знал, поэтому и не боялся. Он пользовался моим благородством! — Макс смеется.

Рука Моргота дрожала, когда он набирал телефон тетки — старшей сестры отца. Она когда-то работала в горздраве. Он не виделся с ней с похорон родителей и не любил ее всей душой — более вздорной женщины ему никогда не встречалось. Его отец в юбке и без погон...

— Тетя Липа? — сказал он в трубку, когда ее наконец сняли.

— Да. Кто это?

— Это Моргот.

— Моргот! Не может быть! Сподобился наконец! — ему показалось, она пустила слезу. — Тебе никогда не приходило в голову, что пожилым родственникам нужна помощь? Я думала, тебя нет в живых!

У тетки не было своих детей, она всю жизнь прожила старой девой. Моргот сжал зубы и молча выслушал еще десятка три подобных высказываний.

— Немедленно приезжай сюда! Немедленно! Где ты находишься?

— В телефонной будке, — проворчал Моргот.

— Ты, как всегда, считаешь себя остроумным! Где ты живешь, я спрашиваю? Ваш участок продан неизвестно кому, я искала тебя через милицию, у тебя что, нет прописки?

Она произнесла еще около сотни слов, прежде чем Моргот смог вставить:

— Тетя Липа, мне нужно помочь одному человеку. У вас остались связи, я знаю.

— Если бы тебе не понадобились связи тети Липы, ты бы вообще не позвонил, я правильно понимаю? Ты — неблагодарный и эгоистичный человек. Я всегда говорила твоему отцу, царство ему небесное, что он растит

тебя эгоистом и бездельником! Все только для себя! Живете на всем готовом, представления не имеете, как это все достается!

— Что достается, тетя Липа?

Больше всего Морготу хотелось положить трубку. Тетка вздохнула и прошипела:

— Пока не приедешь, ничего делать не стану, так и знай! И не надейся...

— Это срочно. Это надо сделать очень быстро, — перебил Моргот.

— У тебя всегда и все срочно!

Она вдруг замолчала, а потом дрожащим от негодования голосом заорала:

— Если тебе нужны какие-нибудь лекарства, даже не смей говорить мне об этом! Мне племянник-наркоман не нужен, ты понял?

Она перевела дух. Моргот подумал, что лучшего повода положить трубку ему не представится: пусть тетка посчитает его наркоманом и больше через милицию его не ищет.

— Мне нужно, чтобы одного старика положили на операцию сегодня, а не через неделю. Никаких лекарств, — он постарался вложить в эти слова теплоту и участие, чтобы тетка растрогалась. — Это ученый, очень уважаемый человек, у него нет родственников, чтобы дать взятку хирургу.

И она растрогалась, побежала за ручкой — записать фамилию, больницу и отделение. Как только она это сделала, Моргот, с облегчением вздохнув, трубку наконец положил. Не прощаясь. Тетка, конечно, должна была обидеться и долго негодовать, но Моргот знал: она все равно позвонит кому надо. Она разделяла «личное» и «общественное». Она понимала: старик не виноват, что Моргот — хам и мерзавец.

В авиагородке жил Богдан Сенко, товарищ Моргота по университету, к которому он время от времени навещался. Собственно, это и давало ему возможность рассматривать гаражи миротворцев, поэтому знакомством этим он дорожил. После разговора с теткой он на всякий случай набрал номер Сенко — исключительно для поддержания отношений.

— Громин! Это здорово, что ты позвонил! — обрадовался Сенко. — Мы едем на рыбалку с ночевкой! Не хочешь присоединиться? Удочки не брать, из автобуса не выходить!

Моргот собирался пошататься ночью по городу в поисках денег — от того, что швырнул ему ночной незнакомец, не осталось и четверти. И ночь на субботу благоприятствовала его намерениям. Но уверенным он себя не чувствовал: неудачи всегда выбивали его из колеи. Предложение Сенко прозвучало как нельзя кстати: Моргот не любил думать о завтрашнем дне, силой воли не отличался, и борьба с самим собой быстро закончилась в пользу самого себя. Конечно, вылазки на природу Моргот тоже не жаловал, но почему бы не выпить в хорошей компании? Поэтому он недолго думая на последние деньги взял бутылку водки поприличней и отправился в авиагородок. Ехать пришлось через весь город, и Моргот появился там, когда все были в сборе, — в развалюху на колесах набилось пять человек, и шестому предстояло прятать голову от бдительных взглядов дорожно-патрульной службы где-нибудь под сиденьем.

Однокурсники встретили его радостно, чего он никак не ожидал. С двумя из них он не виделся с тех пор, как ушел из университета, а с Владом и Антоном выпивал довольно часто в компании Сенко.

— Громина за руль! — тут же гикнул хозяин «ведра». — Покатимся с ветерком!

— Да уж, без ветерка Громин ехать не может, — захотал Сенко. — Только держись!

— У меня прав нет, — усмехнулся Моргот, передавая ему бутылку.

— Вот и прекрасно. Когда обратно поедем, отбирать будет нечего, — Сенко хлопнул его по плечу, подталкивая к машине.

— А вам не страшно? — Моргот прикурил, прежде чем сесть за руль.

— Это бодрит, Громин, — успокоил его хозяин машины, — острые ощущения иногда полезны.

— Я тебя за язык не тянул, — хмыкнул Моргот и захлопнул дверцу, устраиваясь на ободранном сиденье. — Эй, оно что, не двигается?

— Нет, конечно! — фыркнул хозяин «ведра». — Чего ты хотел? Водка в багажнике стоит дороже этой машины!

— Тогда пристегивайте ремни. Щас будет вам взлет-посадка! — Моргот повернул ключ зажигания и прислушался к нездоровому чавканью мотора.

Конечно, с красным кабриолетом эту развалину было не сравнить. Зато она ревела, как вертолет, тряслась, словно в припадке, дергалась из стороны в сторону и не слушалась руля на поворотах.

— Надеюсь, тормоза у нее в порядке? — спросил Моргот у хозяина машины, когда сумел набрать приличную скорость.

— Не знаю! — захохотал тот.

По авиагородку не стоило ехать так быстро, и Морготу пришлось проверить тормоза тут же, когда ему в лоб из-за поворота выскочил мальчишка на велосипеде. Визжащую машину развернуло на девяносто градусов, передние колеса ушли на низкую обочину, Моргот ударился грудью о руль, а пацан невозмутимо проехал мимо, да еще и покрутил пальцем у виска.

— Тормоза ничего, резина ни к черту, — выдохнул Моргот и почувствовал капли пота на лбу. — Ненавижу детей...

Замершие было от испуга однокурсники разразились зычным хохотом.

И, как всегда после стресса, по телу Моргота разлилась пьянящая истома...

Прокравшись мимо поста дорожно-патрульной службы на тридцати километрах в час, Моргот поддал газу, как только отъехал от него на сотню метров. Поток машин на шоссе был довольно плотным — народ ехал за город на выходные, — но это только прибавило Морготу азарта и уверенности в себе: он вилял из ряда в ряд, повизгивая тормозами, и чувствовал себя гонщиком на трассе, а остальных — своими соперниками. Конечно, милиция увязалась за ними немедленно, и он развлек однокурсников мастерским уходом от погони. Хозяин машины не переживал: собирался оставить машину на видном месте, а завтра вечером завить об угоне. Говорил, что три раза решал таким образом проблемы с дорожно-патрульной службой. И той ничего не оставалось, как вернуть машину владельцу, к всеобщему удовлетворению: у них — раскрытый угон, у хозяина — отсутствие нареканий.

До реки добрались быстро, Сенко знал рыбные места неподалеку от города. Впрочем, рыба мало кого интересовала, гораздо больше понравилась уединенность местечка — широкая поляна у тихой заводи на повороте реки, скрытая лесом от посторонних взглядов, и гладкая грунтовая дорога, не доходящая до берега всего метров двухсот.

Пока раскладывали вещи, на ходу выпивали по первой и собирали сучья на костер, Сенко отозвал Моргота в сторону и сказал потихоньку:

— Мне тут дня два назад звонил Кошев и спрашивал о тебе. Я знаю, вы всегда были на ножах, я не стал с ним о тебе говорить. Он хотел с тобой встретиться, и я пообещал, что если ты объявишься, я тебе это передам. Кошев был разочарован моим ответом...

— Соскучился, значит? — хмыкнул Моргот.

— Вы опять воюете?

— Он думает, это я угнал его машину, — Моргот усмехнулся.

— А ты на самом деле ее угнал? — Сенко посмотрел на Моргота недоверчиво.

— Если бы я ее угнал, ее бы не вернули ему через три часа, — шепнул Моргот и вслух добавил: — Разве я похож на человека, который может у кого-то угнать машину?

Последнюю фразу услышали все и от души посмеялись.

Для создания видимости рыбалки поставили сети — закуски ощутимо не хватало (каждый позаботился только о выпивке, и в результате перед отъездом из холодильника Сенко выгребли граммов двести колбасы, два длинных парниковых огурца и черствую половинку хлеба), так что уха из пары щучек оказалась бы кстати.

Перед тем как разжечь костер и пойти искупаться, выпили по второй и по третьей. Моргот не любил купаться, особенно в начале лета, когда вода еще не прогрелась, но водка вдохновила его на этот подвиг, и он поплавал вместе со всеми и даже нашел это приятным. В детстве отец загонял его в воду силком. Морготу хватало гордости не орать при этом, но он всегда старался избежать купания, если это возможно. И отвращение к процессу осталось. Впрочем, плавал он отлично.

Солнце еще не зашло, но уже не грело, комары только-только появились, и четвертая стопка водки у костра

окончательно привела Морготу в доброе настроение. Они еще не оделись и сидели перед огнем мокрые и в плавках, когда услышали из-за леса рокот мотора и шуршание шин по узкой просеке. И Моргот не удивился, увидев, как из-за деревьев на поляну выезжает красный кабриолет Кошева: если Кошев просил Сенко устроить встречу, он мог попросить об этом и любого из остальных. И, наверно, кто-то из них ему не отказал.

И, конечно, приехал Кошев не один! Моргот легко узнал в его товарищах троих молодчиков, с которыми сидел за одним столиком в «Оазисе», и девицу, которая курила сигареты через мундштук.

— Мы вас разыскали! — весело начал Кошев, выскакивая из машины. — Я говорил ребятам, что где-то здесь должны быть мои однокурсники, которые всегда рады меня видеть!

Пожалуй, он не соврал: не рад был его видеть только Моргот. Почему-то никто, кроме него, не относился к Кошеву с презрением — напротив, все считали его компанейским парнем, с которым неплохо выпить вместе. Их не возмутило даже появление трех молодчиков, которые не вписывались в круг, и девицы на очевидном мальчишнике. Ну, разве что Сенко в некотором роде разделял отношение Моргота, но только потому, что не хотел скандала и выяснения отношений.

Из багажника кабриолета выгрузили ящик выпивки разного калибра, мешок закуски, купленной в дорогом супермаркете, ведро шашлыка оттуда же и три пакета с углем — вещь в обиходе новую и непонятную простым смертным в силу высокой стоимости. Последней из машины вышла девица.

— Это наш скромный вклад в общее дело, — Кошев смущенно потупился, — раз уж мы без приглашения.

— Виталис, как всегда, в своем репертуаре! — сказал Драгов, поднимаясь и пожимая ему руку. — Ваш скромный вклад мы согласны обменять на место у огня. И даже позволить вам искупаться в нашей речке.

— Нет уж, за купание в речке пусть представит нам даму! — подхватил Влад. — Я так понял, перед нами дама?

— Эта томная красавица — известная поэтесса, — Кошев положил руку ей на плечо, — ее фамилия хорошо

знакомы всем в узких кругах, поэтому назову только имя: Стела. Красиво, правда?

— Несомненно, — согласился Влад, двигаясь в сторону от Моргота. — Пусть садится к огню. Надеюсь, известные поэтессы не брезгают общением с читателями?

— А вы — мой читатель? — поэтесса нагнула голову.

— Право, не знаю, ведь вашей фамилии нам не назвали, — ответил Влад, в жизни не читавший ни одного стихотворения за рамками школьной программы, — но я очень люблю стихи. «Буря мглою небо кроет...»

Наверное, это была единственная стихотворная строка, имевшаяся у него в голове. Влад был технарём чистой воды и, как казалось Морготу, с удовольствием читал только таблицы Брайса. На первый курс он явился закомплексованным очкариком, но ко второму вошел во вкус и прослыл любителем женского пола. Это не мешало ему быть отличником, что само по себе было редкостью в техническом университете. Девушки таяли от его зачетной книжки и от контрольных, которые он за них решал.

Стела присела на бревно между ним и Морготом и повернулась к Морготу:

— Как неожиданно. Я вижу вас в третий раз, опять совершенно случайно.

Она осмотрела его с ног до головы, задержав взгляд на плавках.

— Не уверен, — ответил Моргот.

— В чем?

— В том, что случайно, — Моргот хмыкнул, но она истолковала его слова по-своему и не оскорбилась.

— Громин! — Кошев хлопнул его по голому плечу. — Я снова рад тебя видеть! А ты со мной даже не здороваешься!

— Ты не заметил моего сердечного приветствия, — сказал Моргот, — я помахал тебе рукой, как только вы свернули на просеку.

— Ты узнаёшь меня по звуку мотора моей машины? — Кошев прищурился.

— Нет, звук мотора твоей машины я слышу впервые. Считай, я предчувствовал твое приближение издали и не ошибся.

— Между нами устанавливается телепатическая связь! Я так и сказал ребятам, что на пикнике обязательно

будет Громин. Ты им понравился в прошлый раз, они с удовольствием с тобой пообщаются!

Моргот скосил глаза на известную поэтессу, но она отвернулась, делая вид, что рассматривает Влада.

— Не иначе, они испытывают недостаток в лекциях по новейшей истории и внутренней политике нашей страны, раз я так им понравился. Посоветуй им смотреть телевизор, немало талантливых журналистов расскажут то же самое не хуже меня. Я недавно смотрел ток-шоу Владислава Райнера, я тебе скажу — было очень интересно. Я не гожусь ему в подметки!

Один из молодчиков насупился, почувствовав издевательство Морготта, но Кошев сделал ему еле заметный знак рукой.

— Да ты никак дуешься на нас? — он рассмеялся. — Ты никогда не понимал шуток!

— Я? Дуюсь? — Моргот поднял брови. — Да что ты! Напротив, я получаю массу удовольствия от общения! Единственное: мне показалось, что я не заслуживаю такого пристального внимания с вашей стороны, я ведь не талантливый журналист, а простой обыватель.

Он достал ветку из костра и прикурил, выбив очередную сигарету из пачки.

— Чувствую, они опять изощренно издеваются друг над другом, а как — понять не могу, — прокомментировал их диалог сидевший напротив Антон. — Вам не надоест? Давайте выпьем за встречу. Ну и за знакомство. Вот за что я люблю Виталиса, так это за отсутствие снобизма.

Они выпили за встречу раза три-четыре, успели еще раз искупаться, пока готовились шашлыки, и Морготу пришлось лезть в воду по второму разу, хотя теперь ему этого совсем не хотелось. А потом гоняли комаров и стучали зубами, потому что стемнело и костер превратился в угли, на которых жарилось мясо.

Известная поэтесса терлась о бок Морготта и заигрывала с Владом, покрасневшись от выпитого вина, курила сигареты без фильтра через мундштук и принимала деятельное участие в разговоре пьяной мужской компании.

К уху приступили, когда Моргот успел набраться до такой степени, что вместе с Сенко полез в воду доставать

сеть. А поскольку вода показалась ему очень теплой, про сеть он забыл и поплыл на другой берег, наслаждаясь пейзажем и головокружением.

Река разливалась довольно широко, по ней бежала лунная дорожка; на фоне неба, еще светлого и чистого, темнел лес. Моргот любил смотреть в ночное небо и перевернулся на спину, но от спокойного покачивания его тут же потянуло в сон, он перестал ощущать прохладу воды и легкий ветерок на мокром лице, и полупрозрачное небо быстро слилось с кружащимися золотыми разводами перед закрытыми веками; мысли, и без того перепутанные, начали переплетаться с видениями. И видения эти были приятны и прекрасны, но неуловимы.

Из дремы его вырвала вода, хлынувшая в нос. Он не спал и пришел в себя мгновенно, пытаясь всплыть на поверхность, но с ужасом ощутил, что под водой его за волосы держит чья-то рука. Он запаниковал — от неожиданности, от непонимания, что происходит, да и спросонья — и начал рваться, хватая удерживавшую его руку, толкаясь ногами и надеясь освободиться, нахлебался воды и начал кашлять, захлебываясь. Держали его крепко и глубоко, перед глазами была полная темнота, от страха свело живот, и желание вырваться любой ценой заставило его биться под водой из последних сил. Но ни одно его судорожное движение не имело ни смысла, ни результата. Он протрезвел за несколько секунд и успел подумать, что сейчас его утопят только потому, что он знает о розовом блокноте из машины Кошева. И никто не поймет, что его утопили, потому что утонуть по пьяной лавочке может любой, даже очень хороший пловец. А он не успел рассказать о блокноте Максус!

Он не сразу понял, что его голову держат над водой, — он кашлял, с хрипом вдыхал воздух, и воздуха не хватало.

— Громин, сознайся, это ты угнал машину Виталиса, — услышал он тихий шепот прямо в ухо, — или я макну тебя еще разок.

Моргот ударил кулаком в сторону голоса не из соображений самообороны и не в надежде победить, а исключительно от страха, стараясь освободиться от державшей его руки. Рука тут же надавила ему на затылок, и

лицо снова оказалось под водой. Он еще не успел отдышаться, и продолжал кашлять, втягивая в себя воду, и чувствовал, что задыхается и слабеет, но освободиться не может: тот, кто держит его под водой, гораздо сильнее. Чернота воды слилась с чернотой перед глазами, он успел подумать, что умирает, умирает окончательно, когда вместо грохота воды в ушах услышал длинный тонкий звон, похожий на прямую линию, которую рисует графопостроитель...

То ли секунда прошла, то ли целый год... Ощущение времени пропало. Видений хватило бы на год — они не были похожи ни на сны, ни на галлюцинации, не имели ни смысла, ни цвета, ни звука и вызывали одно ощущение — страх. Всепоглощающий и абсолютный. Моргот пришел в себя, снова почувствовал воду в дыхательном горле, и страх абсолютный опять превратился в панику — он не успел подумать о том, что еще жив, когда решил, что сейчас умрет. Попытка освободиться от давившего на грудь колена почему-то вызвала радостные крики вокруг:

— Живой!

— Зашевелился!

— Да говорил я, оклемается.

Прошло не меньше минуты, прежде чем Моргот сообщил, что он на берегу, и из легких его выливается вода, и рвет его тоже водой, но он может дышать, хотя и непрерывно кашляет. А еще минут через пять на смену рвоте и кашлю пришла такая слабость, что он не мог шевельнуть и пальцем и дрожал от озноба.

— Да, Громин... — сказал ему Сенко, похлопав по щеке и пристально заглядывая в глаза. — Скажи спасибо нашим новым знакомым... Еще минутка — и всплыл бы через три дня твой раздувшийся трупик где-нибудь в десяти километрах ниже по течению.

— Он еще и сопротивлялся, — услышал Моргот тот самый голос, который обещал ему макнуть в воду еще разок, — глаз мне подбил...

— Утопающие всегда сопротивляются, — кивнул Сенко, — это нормально. Их надо за волосы вытаскивать и со спины.

Морготу не хватило сил ничего сказать: нижняя челюсть не слушалась, ее сводило от дрожи.

— Да по пьяни с каждым может случиться, — Моргот увидел вопросительное и сочувствующее лицо Кошева, склонившееся над ним, — я сам однажды чуть не утонул.

— Чего вы его разглядываете? — встряла известная поэтесса. — Вытереть его надо, одеть и согреть.

— Согреть — это ты умеешь, — вставил один из молодчиков Кошева и хихикнул.

— Придурок! — немедленно парировала та. — Я не об этом.

— О! Согреть! — Влад поднял палец. — Девушка совершенно права!

Он подскочил к Морготу, приподнял его голову и сунул в зубы бутылочное горлышко. Водка хлынула в рот, Моргот опять закашлялся, горло обожгло, и что-то попало в желудок, который ответил рвотным спазмом. Моргот двинул ладонью по бутылке, рванулся, сел и выругался фразой примерно из двадцати слов.

— Помогло! — расплылся Влад.

— Козел, — добавил Моргот, переводя дыхание. Внутри все дрожало и булькало.

— Действительно помогло, — почесал в затылке Сенко, и все вокруг захохотали с облегчением, восхищаясь целительной силой водки.

Моргот осмотрелся в поисках одежды и решил не начинать разборки: никто бы не поверил, что его едва не утопили. Надо порадоваться, что не утопили. Очень хотелось плюнуть в сочувствующее лицо Кошева и подбить второй глаз своему «спасителю». Он оделся сам, путаясь в рукавах и штанинах, и долго пытался завязать шнурки трясущимися пальцами, но в конце концов отказался от этой мысли и остался босиком. Рядом с тлеющими углями развели костер — для тепла, света и от комаров, Моргот подсел поближе к огню, кто-то сунул ему в руки шампур с остывающим шашлыком, а кто-то накрыл спальником, припасенным для ночевки на природе. Над костром висел котелок с неочищенными щучками.

— Ты как? — через некоторое время спросил пьяный Сенко.

Моргот скрипнул зубами: происшедшее доходило до него постепенно, и он не знал, что мучает его сильнее — страх или злость. Он очень не любил, когда на него

давили, это уязвляло его гордость, его независимость, возведенную в культ. Его всегда мучил стыд, если кому-то силой удавалось добиться от него чего-нибудь. Для него была невыносима мысль, что он слабей кого-то; даже в детстве, имея веские оправдания и объективные причины, он не мог переживать это спокойно. Когда же он стал взрослым и лишился этих оправданий, ему и вовсе пришлось туго: он стал заложником собственной гордости, не подкрепленной ни физической силой, ни силой воли.

Его макали в воду, как щенка в дерьмо, а он испугался до потери соображения и толком даже не попытался защищаться! Один удачный удар не в счет — это тоже от испуга. И это учитывая, что он отлично плавал, имел прекрасные легкие, несмотря на непрерывное курение, и мог задержать дыхание больше чем на минуту! А теперь он сидит у костра и трясется — то ли от страха, то ли от холода, — а Кошев в это время радуется, что сумел его напугать! Моргот вообще-то не был склонен к самобичеванию и легко находил оправдание своим поступкам, но в подобных ситуациях оправдания, даже самые веские, почему-то не приносили облегчения. Ведь этих оправданий не положишь в голову Кошева и его мордovorотов. Его мучил собственный страх, паника, отсутствие хладнокровия. И, пожалуй, более всего то, что это отсутствие было заметно: его видели без маски!

— Не видишь? — он глянул на Сенко. — Шашлычок доедаю. Что-то мне выпить хочется...

— Выпьем! — немедленно согласился Сенко и потянулся за стопками. — Под шашлычок, дай бог здоровья Кошеву.

Морготу захотелось швырнуть шампур в огонь, но он удержался. Да и мясо было вкусным.

Сенко, выпив стопку и куснув шашлыка с шампура Моргота, с трудом поднялся и попытался толстой палкой помешать щучек в котелке, но глотнул дыма и отказался от этой мысли, а на его место рядом с Морготом тут же уселась известная поэтесса.

— Как вы себя чувствуете? — спросила она, загадочно улыбаясь, и томно провела рукой по плечу Моргота.

Моргот посмотрел на нее откровенно оценивающе и выдал:

— А хочешь, я тебя трахну?

На ее лице на миг застыло замешательство — и даже негодование, но быстро исчезло.

— Хочу, — ответила она с вызовом.

— Пошли, — кивнул он и поднялся.

Она, конечно, была пьяной, и Моргот неважно себя чувствовал, но зато быстро согрелся, уложив девицу спиной на холодную, колючую траву. Сначала он ощущал дрожь от слабости, но женское тело, дышащее желанием, легко кружило ему голову, и слабость растворилась в дрожи вожделения. Он умел быть страстным, он знал, что им нравится нежность, он не забывал шептать слова любви и благодарности, он продолжал играть и следить за лицом даже в наивысшей точке наслаждения: женщины должны были восторгаться им. И эта не стала исключением — по ее щекам текли слезы.

— О боже, Моргот... Это было восхитительно...

«Еще бы!» — скромно подумал тот. Ему не приходило в голову, что женщины тоже могут играть и притворяться, он почему-то верил их похвалам безоговорочно.

— Действительно неплохо, Громин, — раздался голос Кошева сзади. — погоди, я позову Алекса, и ты повторишь на бис!

— Вам как: с самого начала или только финал? — повернулся к нему Моргот.

— Громин! Если ты повторишь только финал, я буду брать у тебя уроки!

Кошев исчез за деревьями, и известная поэтесса вздохнула:

— Ваши разборки ставят меня в дурацкое положение...

Она отодвинула его и попыталась встать.

— Я не навязывался, — усмехнулся Моргот, перекачиваясь на бок.

Алексом оказался тот молодчик, который пытался его утопить. Он появился вместе с Кошевым через минуту, и даже в темноте было заметно, что известная поэтесса, надавающая трусики, ему не безразлична.

— Сука, — бросил ей Алекс коротко.

— Я тебе ничего не обещала, — фыркнула она, невозмутимо любясь своей белой ножкой.

Моргот к его появлению успел надеть только брюки и, глядя в лицо Алекса, почувствовал нехороший страх.

Впрочем, злорадство перевесило — угадал! Из-за деревьев появилась темная фигура второго молодчика, а ведь где-то ходил и третий...

— Громин, а ты — сволочь, — констатировал Кошев. — Алекс тебе жизнь спас, а ты?

Алекс подошел к Морготу и взял двумя пальцами за лицо, прижимая щеки к зубам. В руках Моргот держал свитер, но сопротивляться бы не посмел, даже если бы руки у него оставались свободными.

— А как трепыхался, как трепыхался, — молодчик презрительно поморщился. — Слабоват... Виталис, ты думаешь, он воды нахлебался? Не, он с перепугу сознание потерял. Как барышня.

Моргот попытался отодвинуться, но Алекс держал его крепко и больно.

— Не рыпайся.

— Алекс, прекрати. Я сама с ним пошла, — равнодушно сказала известная поэтесса.

— Заткнись, — повернулся к ней Алекс.

Моргот никогда не был сильным, но гордился ловкостью и быстротой. Ему хватило той секунды, на которую Алекс отвлекся: он отпрыгнул в сторону, как заяц, и метнулся в лес.

Может быть, маленький Килька нашел бы его поступок не вполне достойным отважного героя, но Моргот не любил, когда ему бьют морду, и убежать ему приходилось не раз и не два. Да, гордость его сильно от этого страдала, и он всегда проклинал себя за трусость, но, выбирая из двух зол, неизменно приходил к выводу, что мордобой нанес бы его гордости ничуть не меньший урон, а гораздо больший. В данном же случае Моргот всерьез подозревал, что его могут и прирезать, пока остальные шатаются по берегу в невменяемом состоянии.

А бегал он отлично — волка ноги кормят — даже через лес, даже босиком. Кошев тоже бегал неплохо, но быстро отстал и в темноте потерял Моргота из виду.

Старший Кошев нервно потирает дорогую ткань брюк на коленях и снова берется за подлокотники.

— Я не хотел продажи цеха. Я хорошо понимал, чем это грозит экономике страны. Не надо считать меня мародером. Я продал часть заводского имущества и

вложил деньги в сеть супермаркетов, чтобы сохранить завод. Он стал убыточным, когда сузился валютный коридор. Сколько мы ни снижали цены на сырье, это только играло на руку нашим конкурентам на мировом рынке: от нас вывозили руду, но никто не покупал прокат. Мы не могли соперничать с ними по цене — низкий курс валюты делал нашу продукцию слишком дорогой. Тогда я и открыл супермаркеты. Они работали на импортных товарах. Я понимаю, это не приносило выгоды экономике страны, но это помогло сохранить завод в действии. Доходы супермаркетов покрывали издержки завода и позволяли сбывать прокат по цене ниже себестоимости. Я сохранил завод! — он едва не выкрикивает это, как будто я в чем-то его обвиняю. — Это тысячи рабочих мест. Это производство средств производства! Это то, на чем держится экономика страны!

— Я не сомневаюсь в этом, — сдержанно говорю я. Меня не интересует завод, я верю, что Лео Кошев действительно делал благое дело, спасая свое детище в условиях экономического кризиса. Меня больше интересует другое его детище — Виталис. Я отдаю себе отчет в том, что несправедлив к старшему Кошеву. Я понимаю, это и его боль тоже. Но не могу не считать его виноватым.

— Как случилось, что стратегическая технология стала собственностью завода? — я опускаю голову и оставляю вопрос о Виталисе при себе.

— Цех по производству графита не был частью завода. Эта технология могла принадлежать только государству, — соглашается Кошев. — Но в процессе разгосударствления никто его не заметил, и де-юре цех стал имуществом завода. Я не хотел, чтобы о нем стало известно широкому кругу лиц. Собственно, у меня не было выбора. Или предать его существование огласке и передать правительству Плещука, или сделать вид, что я о нем ничего не знаю. Я, знаете ли, хорошо понимал, кто такой Матвий Плещук и как скоро технология уйдет из страны.

Он переводит дыхание и возвращается к заводу, снова начиная оправдываться:

— Да, я не бегал по улицам с красным флагом и не кричал «Непобедимы!». Я не стрелял из автомата и не

взрывал поездов! Но я делал свое дело, и дело это для страны имело гораздо большее значение, нежели все Соппротивление вместе взятое. Причем независимо от политического строя. Завод — это базис. Он нужен стране вне зависимости от того, кто стоит у власти — красные, синие или зеленые!

— Я не заметил, чтобы завод был нужен стране в период президентства Пleshука.

— Это отдельный разговор. Сырьевому придадку развитых стран заводы действительно не нужны. Но я говорю о стране, а не о правительстве. Я вырос в те времена, когда слово «Родина» не было пустым звуком!

Меня так и подмывает спросить: что же он не передал этого своему сыну?

Лес почему-то не кончался. Убегая от преследования, Моргот пересек грунтовую дорогу и потом никак не мог выйти ни на нее, ни на шоссе. Больше всего он сожалел о кедах — бродить по темному лесу босиком ему не очень нравилось, он быстро сбил ноги. Еще он побаивался змей, злых в начале лета, и содрогался от мысли, что может наступить на лягушку. Он не очень боялся заблудиться в тридцати километрах от города, где леса вытоптаны толпами грибников, где дачные поселки разбросаны не больше чем в пяти километрах друг от друга, где совхозные поля и дачные огороды теснят лес со всех сторон. Где-то здесь, не очень далеко, когда-то находилась и их дача тоже, но Моргот потерял ориентацию и не знал не только в какой она стороне, но и в какой стороне город.

Нахоженная тропинка легла под ноги неожиданно, сама собой. Моргот не представлял, куда она может вывести, но обрадовался: идти стало гораздо легче.

Хмелья в голове совсем не осталось, похмелье выветрилось от свежего воздуха и бодрой ходьбы, и как только Моргот перестал думать о том, куда поставить ногу, чтобы не проколоть ее сучком, на него навалились невеселые мысли о собственном бегстве. Можно не сомневаться, Кошев представит происшедшее в самом невыгодном для Моргота свете, если выгодный свет вообще существует. Моргот плевать хотел на всех женщин вместе взятых, но почему-то именно их мнение

волновало его больше всего. А уж слова о том, что он, как барышня, потерял сознание от испуга, и вовсе исцарапали ему все внутри — он старался их забыть и не мог. Очень хотелось убедить себя в том, что это неправда, но в глубине души Моргот понимал: он не мог задохнуться так быстро.

Лес вокруг тропинки редел и становился суше, а потом впереди наметился просвет — что бы там ни было, это обнадеживало. Ощущение чего-то знакомого и забытого вдруг посетило Моргота. Как будто с ним это происходило однажды, как будто он уже шел по сухой тропинке к просвету в лесной чаще. Но было это давно — наверное, в прошлой жизни... Настолько давно, что и вспомнить невозможно.

Тропинка вывела его на совхозное поле, засеянное кормовой травой, — только-только занимался рассвет. Небо, начинаясь над головой, простиралось до самого горизонта, и лишь на краю лес отделял сумеречную землю от сумеречного неба черным зигзагом. Морготу показалось, что у него от неожиданности остановилось дыхание и сердце стукнуло сильнее и глуше, упав на дно живота: пространство развернулось перед ним слишком внезапно.

Что-то космическое было в этом пейзаже — и мистически прекрасное. Моргот увидел себя со стороны (а он любил представлять себя со стороны): махонький человечек на краю огромного поля, совершенно один. Неохватность земли и неба вызывали и трепет, и восхищение.

Это с ним происходило однажды... И сердце падало и обрывалось, и дыхание замирало, и неохватное пространство разворачивалось перед глазами.

Воспоминание ускользало. Моргот постоял, а потом сел, давая отдых сбитым ногам, — небо поднялось еще выше, и кромка леса исчезла за горизонтом, соединив небо с землей. Он никак не мог понять, почему ему вдруг стало так хорошо... Настолько хорошо, что он растерялся и подумал: роль, которую он пытается сыграть, почему-то кажется ему уютной. И эта роль ему несвойственна, неинтересна. Что-то внутри отталкивает ее, а что-то притягивает к себе, приближает, хочет сделать собственным лицом.

Моргот оглянулся: высокие деревья уходили вверх, в перспективу. И они тоже что-то значили. В ускользающем воспоминании не хватало чего-то важного.

И Моргот вспомнил. Это произошло неожиданно, он не успел оттолкнуть воспоминание до того, как оно им завладело.

Он бы предпочел думать об иных мирах и прошлых жизнях, он бы с большим удовольствием представил за спиной крылья демона, пролетающего в предрассветном небе над широким полем, он бы согласился на невероятную телепатическую связь с мертвецами, населяющими это пространство. Но вместо этого...

Ему было лет пять или шесть. Отец взял его на рыбалку со своими друзьями, и это была настоящая рыбалка. Они вышли из дома затемно, с удочками, и Моргот очень хотел спать. Но тогда ему еще не приходило в голову ненавидеть отца и соперничать с ним, тогда он был счастлив, что отец взял его с собой. Отец держал его за руку.

Они вышли из леса в поле, за которым лежала река, незадолго до рассвета. Это был другой лес и другое поле...

Отец остановился и глубоко вдохнул, и Моргот сделал то же самое.

Чувство защищенности... Вот в чем была разница. Тогда он чувствовал себя защищенным. Ему не хватало руки, которая сжимает его ладонь, руки, которая его ведет и останавливает там, где надо остановиться.

— Мать сыра земля... — сказал отец, оглядываясь вокруг. — Слышал такое выражение?

Моргот слышал: он читал сказки.

— Вот она какая, — отец нагнулся, словно поклонился в пояс, и поднял щепоть влажной земли. — И такая еще.

Отец обычно был многословен, но тут не стал говорить больше ничего. Моргот запомнил пространство со всех сторон, росу под ногами, прикосновение мокрого комочка земли, который отец положил ему на ладонь, и руку отца — узкую, как у него самого сейчас, но тогда казавшуюся огромной и сильной.

Острая боль свернула Моргота узлом — он не хотел этого вспоминать. Это воспоминание перечеркивало тщательно выстроенное представление о себе и о

жизни, это воспоминание срывало с него все маски, кроме одной — маски маленького мальчика, наивного и высокопарного, который доверчиво впитывает все, что мир может ему поведать, и не боится любить и смотреть на кого-то снизу вверх. Мальчика, маски которого были детской игрой, а не попыткой спрятаться.

А еще это воспоминание кричало о том, что у него никого больше нет, никого нет! И думать об этом Моргот не умел. Он давно научился не думать об этом — ему казалось, что научился. Он не хотел отдавать себе отчета даже в ненависти, которая отчасти притупила боль. Но маленький мальчик, маску которого он так хотел с себя снять, этого не знал. Этот мальчик с отчаяньем думал: он никогда больше не ощутит защищенности, он никогда и никому не доверит вести себя за руку, потому что доверять некому. И нет ни одной иллюзии, в которой это можно осуществить. Потому что смерть исключает иллюзии.

Моргот машинально стиснул в кулаке горсть земли, размял ее между пальцев и почувствовал, что плачет. Не как взрослый, а как потерявшийся маленький мальчик, которого никто не держит за руку на краю огромного поля. Слезы неожиданно принесли ему облегчение — наверное потому, что никто их не видел, — и через некоторое время к нему вернулось ощущение нереальности, мистики происходящего: он снова посмотрел на себя со стороны, и снова пространство, развернувшееся перед ним, восхитило его и привело в трепет. Это было слиянием... Он ощутил себя частью этого огромного пространства.

«Я стоял напротив неба, и оно серебрилось сумеречным светом. Я раскидывал руки в стороны, но не для того, чтобы взлететь: я хотел быть таким, как оно. Я хотел втянуть его в себя и пропитаться им насквозь. Вокруг меня трепыхался эфир, я различал его вибрации сквозь звон в ушах, как сквозь телефонные гудки. Он шептал мне что-то на незнакомом, но понятном языке, он попискивал и мигал светодиодами светляков, как аппаратура в реанимации, тонко пел голосом пастушьей дудочки и рокотал еле слышным инфразвуком. Он растворялся во мне, и небо летело мне навстречу. Я лицом ощущал его приближение, я чувствовал поток элементарных частиц, пронизывавший мое тело, и прохладную влажность ветра на губах».

Из записной книжки Моргота. По всей видимости, принадлежит самому Морготу

Моргот вернулся в подвал днем, когда мы, проголодавшись, забежали пожарить хлеба — утром в субботу Салех, глядя в пустой холодильник, долго чесал в затылке, а потом ушел и принес две буханки. Я думаю, ему дали в булочной неподалеку — он время от времени пил с их грузчиками и знал продавцов. Моргот отогнал нас от сковороды, слопал четыре куска и запил водой из носика чайника.

— Первуня, тапки мне притащи, — велел он и сел за стол, включив чайник в розетку. Только тут мы заметили, что он вернулся босиком, со сбитыми до крови ногами.

Первуня с радостью от оказанного доверия кинулся в его каморку. Бублик, сгрузив на тарелку остатки хлеба со сковороды, снова поставил ее на раскалившуюся докрасна конфорку.

— Моргот, у нас совсем деньги кончились... — начал он осторожно. — И еды нет.

— А я-то что сделаю? — неожиданно громко рявкнул тот. — Я их что, печатаю, что ли?

— А ты укради чего-нибудь! — посоветовал Сия с энтузиазмом.

Моргот щелкнул его по лбу, но несильно, скорей в шутку:

— Умный больно.

— Моргот, тут тока один тапочек! — заныл Первуня из каморки.

— Поищи хорошенько, — посоветовал Моргот. — Ничего сами сделать не можете! Навязались на мою шею...

— Моргот, а сейчас кино будет. Будешь с нами смотреть? — спросил я. — Хороший фильм, про войну. Там про детей.

Перед нашим маленьким телевизором стояло большое вытертое кресло с выпиравшими пружинами — в нем сидели или Моргот, или Салех, а если их не было, то мы умудрялись залезать в него вчетвером.

— Мне детей и так хватает выше крыши, — проворчал Моргот и выдернул шнур закипевшего чайника из розетки, — Салех был мастером на все руки, вместо прогоревшей спирали он пристроил в чайник два лезвия, стянутых нитками, и вода закипала за считанные секунды.

Моргот очень редко смотрел с нами телевизор, зато часто кричал на нас из каморки, чтобы мы наконец выключили эту ерунду, — для нас это означало сделать потише и подвинуть кресло ближе к телевизору. Он почему-то терпеть не мог мультиков, называл их полным идиотизмом, но, как ни странно, очень часто цитировал мультики из своего детства — видимо, их он идиотизмом не считал.

— А что, и сахара совсем нет, что ли? — спросил Моргот, приподняв крышку сахарницы, когда налил старой заварки в чашку.

Бублик, переворачивавший на сковородке куски хлеба, посмотрел на него с сочувствием и подмигнул мне:

— Килька?

Я тоже подмигнул ему: накануне вечером мы толкались в окзальном буфете и набрали кусков сахара, которые оставляли на блюдах посетители. Нам даже досталось несколько штук в упаковке с нарисованным скорым поездом. Конечно, некоторые кусочки были немного подмочены чаем или кофе, но кто же будет обращать внимание на такие мелочи, когда в доме вообще нет сахара?

Я с гордостью поставил перед Морготом кружку, в которой мы держали свои трофеи. Моргот долго разглядывал ее содержимое, скривив лицо, а потом спросил:

— Это что?

— Сахар, что же еще! — ответил Силя с небрежной гордостью.

— У меня такое ощущение, что его кто-то уже ел, — Моргот шумно слотнул. — И где вы это взяли?

— Так в бифете, — пожал плечами Силя, — там много оставляют.

Моргот посмотрел на нас, на всех по очереди.

— Ну-ну... А на помойке жратву не пробовали искать?

— На помойке грязное все, — сказал Силя не подумав.

— Ваще сбрендили, да? — рявкнул Моргот. — Еще по помойкам лазать начните!

— Так денег же нету, Моргот... — невозмутимо ответил Бублик. Ему-то как раз доводилось искать пропитание на помойках.

В эту минуту Первуня наконец нашел вторую тапку Моргота и вышел из каморки, выставив обе перед собой.

— Вот! — он сунул их Морготу в руки, и тот долго смотрел, не понимая, почему они оказались у него на коленях, а не на полу.

— Если денег нет, можно совсем освинеть, что ли? — Моргот со злостью швырнул тапки на пол.

— Моргот, погоди, — Бублик снял сковородку с плиты. — Ты ноги помой и носки одень.

— Надень, — машинально поправил Моргот и прошипел, спохватившись: — Еще один умник!

— Ты все тапочки испачкаешь, — подтвердил Первуня.

— Ублюдки мелкие, — сказал Моргот себе под нос, подхватил тапки и прихрамывая пошел наверх.

Бублик сунул Первуне в руки полотенце и носки Моргота, которые сушились на бельевой веревке, и послал его следом. Бублик был уверен, что в семье все должны заботиться друг о друге...

С фильмом тоже вышел скандал. Смотреть его с нами Моргот не стал, завалился на кровать с книжкой, но, конечно, сквозь перегородку все слышал. Фильм подходил к концу, когда Моргот вышел из каморки, хлопнув дверью, и уставился на экран. Я только однажды видел у него такое лицо — когда мы сожгли машину миротворца.

Но тогда он был спокойней. А в этот раз у него подрагивал подбородок и желваки катались по скулам.

— Вы где раскопали это дерьмо? — спросил он тихо.

— Так по первой программе же, Моргот! — немедленно ответил Первуня.

— Я когда-нибудь разобью этот ящик... — он громко скрипнул зубами. — Вы сами поняли, что вам показывают, вы, придурки?

— Да хороший фильм, Моргот, — сказал Бублик, — смешной.

Я не очень хорошо помню тот фильм. Помню, что про войну, про компанию подростков, которая попадала в какие-то смешные ситуации, перебегая от толстых партизан, осевших в деревне и трескавших огурцы под самогонку, к худым фашистам с вытянутыми мордами. И те, и другие пытались заставить их воевать, отправляли на задания, но подростки умудрялись выкручиваться. Это была комедия, и мы хохотали. Мне и сейчас кажется, что Моргот напрасно увидел в ней злой умысел: фильм был попыткой снять что-то похожее на французские комедии, ставшие классикой кино, и попыткой неплохой.

Моргот иногда становится серьезным, приподнимается в кресле, опираясь локтями на подлокотники, и говорит сузив глаза; это другая роль, роль человека, раскрывающего душу.

— Килька, я никогда не был красным, в том смысле, который в это вкладывал Макс. Я был красеньким, — он произносит последнее слово по слогам, с издевкой. — По сути, у меня вообще не было убеждений. Верней, я хотел, чтобы у меня не было убеждений. Под свои убеждения я подкладывал нечто вроде логического базиса и старался увидеть объективную картинку, исключив собственные эмоции. И верил, что у меня это получается. С тем фильмом... Посмотри я его лет в восемнадцать, я бы и сам хохотал вместе с вами. Этот фильм смеялся над набившим оскомину пафосом, который мне навязывали в детстве и в юности. Он откровенно издевался над теми формулировками, которых вы не слышали, а я помню наизусть. Но видишь ли, Килька... Я к тому времени начал подозревать, что набивший оскомину пафос был

частью игры, он как будто специально приобретал гротескные формы, чтобы вызывать отвращение. Эта идея мне совсем не нравилась, потому что при таком раскладе получалось, будто я клюнул на чью-то удочку, будто кто-то просчитал меня и заставил думать и действовать вопреки моей собственной воле. Поэтому эту идею я не развивал. Но тот фильм, который смеялся над тем, над чем смеяться нельзя, — он как будто показал меня со стороны, он показал следующий ход: пафос — отвращение к пафосу — смех как защита от отвращения — прямое издевательство. И издевательство уже не столько над пафосом, сколько над подвигом, над смертью. Я и сейчас, произнося эти слова — смерть, подвиг, — оглядываюсь и прислушиваюсь: никто не смеется надо мной? Я боюсь говорить их вслух, потому что они табуированы, они высмеяны тысячу раз, в том числе мною самим.

— Знаешь, мне показалось, это просто комедия, — я пожимаю плечами.

— Потому что вы не проходили этой цепочки. Вам в голову положили готовое отношение к войне: разжившие партизаны, ушедшие в леса, чтобы не работать на фашистов, и больные на голову энтузиасты, призывающие к борьбе, которых никто не слушает. Вам и в голову не может прийти, что есть другое отношение. Вам все ясно. У вас внутри не свербит задняя мысль: а может, смеяться над этим нехорошо? У вас не возникает ощущения бесстыдства, как при первом появлении на нудистском пляже: еще вчера тебе твердили, что обнажаться при посторонних стыдно, а тут выясняется, что стыдно этого стыдиться. Понимаешь, о чем я говорю? У вас нет ощущения запретности. Поэтому для нас это комедия с подтекстом, а для вас — всего лишь развлечение.

— Ты хочешь сказать, что твой стыд и твое ощущение запретности перевесили твой страх показаться смешным? — я поднимаю брови и чуть улыбаюсь.

— Нет. Я просто взбесился. Какого черта вы смеетесь над тем, о чем ни хрена не знаете? И какого черта вам на уши вешают эту лапшу, как истину в последней инстанции? Потому что мы смеялись над собственным пафосом, а вы — над подвигом и смертью, — он откидывается назад и берется за сигарету: сеанс откровенных

размышлений окончен. — Отстань от меня. Я запутался. Считай, я сыграл роль Макса.

О роли Макса я могу сказать сам — это несерьезно. Макс бы произнес речь или прочел лекцию, но не стал бы ораторствовать целых десять минут о том, чтобы мы не смели смотреть подобную ерунду. Конца фильма мы так и не увидели.

К угону машин Моргот подходил серьезно и старался не делать этого наудачу. Если мелкое воровство или грабеж были для него скорей способом развлечься, пощекотать нервы с выгодой для себя — и именно поэтому он частенько попадал в неприятные ситуации, — то в угоне он считал себя профессионалом, по нескольку дней или даже недель присматривал за машиной, изучал сигнализацию, время возвращения хозяина домой, а потом действовал быстро и чисто.

В последние дни он позволил себе расслабиться, и те машины, что имелись у него на примете — а он всегда имел несколько машин на примете, — на некоторое время остались без внимания.

После долгих шатаний по пересеченной местности босиком он был не готов отбирать сумочки или таскать из машин барсетки — у него болели ноги, вместо удобных и бесшумных кед ему пришлось надеть топающие ботинки, и он сомневался, что в случае чего сможет уйти от погони. Раза два его умудрялись изловить, и воспоминания об этом Моргот имел самые неприятные.

Но деньги требовались срочно, и Моргот шатался по ночному центру города — по ярко освещенным улицам, по темным дворам, вокруг автостоянок, рядом с ресторанами и казино. Но стоянки охранялись, оставленные во дворах машины надо было прежде проверить на предмет противоугонных устройств, а соваться в машину, ничего о ней не зная, Моргот не собирался. Возле ресторанов было суетно, но не настолько, чтобы человек, открывший капот машины, не бросился в глаза. В конце концов, Моргот отказался от мысли найти что-то подходящее в центре и направился к трассе, ведущей в аэропорт.

По дороге он проклял все на свете: идти предстояло не меньше полутора часов, а тут еще и ботинки натирала

ноги, и без того избитые прошлой ночью. Когда он наконец занял позицию за деревом возле киоска, продававшего пиво и сигареты на трассе, ему показалось, что он не сделает больше ни шагу.

Редкие машины время от времени останавливались возле киоска, и трижды одинокие водители оставляли ключи в замке зажигания, но они знали, что делали: такие машины мог угнать разве что обкуренный подросток, чтобы покататься и бросить, — они не годились даже на запчасти. Моргот начал мерзнуть: в воздухе появилась предрассветная сырость, и поток машин совсем поредел. Возвращаться в город пешком и ни с чем показалось ему слишком тяжким испытанием, и он решил подождать, когда закончится «мертвый час» и из города потянутся «ранние пташки».

Он едва не задремал, когда перед киоском остановился роскошный внедорожник, а из него, даже не захлопнув толком дверь, выпорхнуло небесное создание: миниатюрная платиновая блондинка с кукольными глазами. Пассажиров в салоне не было, ключа в руках у куколки — тоже.

Моргот умел двигаться бесшумно, незаметно и быстро, чем невероятно гордился. Ботинки немного мешали, но от крови, хлынувшей в голову, он даже не почувствовал боли в стертых ногах. Он сел в машину, когда ее хозяйка что-то щебетала в окно киоска. Она не заметила его! Ключ торчал в зажигании, и брелок на нем блестел и покачивался. Эта машина не могла не завестись в одно мгновение! Продавец в киоске показывал на него пальцем через стекло, а блондинка еще не сообразила повернуть голову в его сторону, когда Моргот сорвался с места.

Он напоминал себе хищника, сидевшего в засаде, чтобы в подходящий миг нанести молниеносный удар.

Куколка бежала за машиной и кричала. И куколку больше не напоминала. Она кричала так, будто Моргот забрал у нее не машину, а любимое дитя. Он видел, как она, скинув туфли на шпильке, бежала за ним босиком, быстро и отчаянно. Перекошенное от крика лицо, разводы обильной туши под глазами, безумные глаза навывкате отпечатались у него в памяти, и он долго не мог отделаться от этого воспоминания. Моргот, конечно,

успокаивал себя мыслью, будто девушка страдает истерией, но почему-то нехороший осадок мешал ему насладиться победой.

Он ушел с трассы, ведущей в аэропорт, на узкий проселок, который должен был вывести его к шоссе за пределами города: внедорожник подскакивал на ухабах, но мчался вперед уверенно, как и положено танку. Кровь еще кипела и стучала в виски, начинала блаженно кружиться голова, когда, после очередного прыжка через выбоину в щебеночном покрытии, Моргот услышал за спиной какой-то звук. Рев мотора мешал ему прислушаться, но сердце тут же нырнуло поглубже и затрепетало, как заяц под лопухом. Он не сбавил скорости, покрепче вцепившись в руль, и повернул зеркальце так, чтобы увидеть заднее сиденье. В темноте ничего разглядеть не удалось, Моргот ждал удара из-за спины, но не останавливался и не отвлекался — убиться на этой дороге ничего не стоило.

Звук повторился — похожий на вздох или на всхлип, непонятный, но живой звук, и Морготу почудилось, что он спиной ощущает чужое дыхание и тепло чужого тела. Надо было остановиться, но он почему-то упорно гнал машину вперед, как будто надеялся обогнать того, кто прячется сзади. Внедорожник тряхнуло, в лобовое стекло плеснуло грязью из глубокой лужи, брызги широким веером полетели в стороны, а сзади донесся нудный писк, какой-то нечеловеческий, долгий и слишком тонкий. Моргот почувствовал, как между лопаток катится капля пота и щекочет сведенную от напряжения спину. И когда он хотел вытереть покрывшийся испариной лоб, тонкий писк вдруг оборвался шумным глубоким вдохом, и, перекрывая грохот мотора, с заднего сиденья раздался визгливый детский рев.

Моргот ударил по тормозам.

Он ругал самого себя, невезение, тупоголовую блондинку, оставившую ключи в зажигании, бросив на заднем сиденье спящего ребенка. Понятно, отчего она ударилась в такую истерику!

Дети в это время должны спать дома, в кровати, а не разъезжать с мамашами по кабакам и дачам!

И нечего покупать пиво в киосках, когда везешь собственное дитя!

Надо как следует закрывать двери дорогих иномарок, тогда никто на них не уедет прямо у тебя из-под носа!

И вообще, кроме красивых глаз и светлых волос надо иметь хоть немного мозгов и время от времени ими пользоваться!

Моргот заглушил мотор и неловко повернулся назад, перегибаясь через сиденье с подголовником. Это была девочка лет трех, в розовом комбинезоне и с розовыми бантиками в тощеньких косичках.

Через пять минут его будет искать вся военная полиция города, и квалифицируют его преступление как киднеппинг.

— И чего рвем? — спросил он спокойно, нажав ребенку на нос, как на кнопку, — нос был мокрым и горячим.

От его отеческой ласки плакать дитя не перестало. Не бросать же девочку прямо здесь, на проселке? Можно сказать, в лесу... Кто знает, куда она заползет, пока полиция догадается, где Моргот свернул с трассы?

Конечно, самым разумным было бы бросить машину здесь и пешком пойти в город. В машине с девочкой ничего не случится, а найдут ее через час или полтора. Но на это ни благоразумия, ни благородства Морготу не хватило. Он усадил ребенка на переднее сиденье, рядом с собой, время от времени показывая козу — он на дух не переносил детского плача, это могло довести его до трясушки за две минуты, — и поехал дальше, уже не так быстро, чтобы машину не подбрасывало на неровной дороге.

Удовольствие от легкой победы было безнадежно испорчено. Моргот нервничал и оглядывался по сторонам. На шоссе, куда его вывел проселок, в этот час не было ни одной машины. Опять же, оставить ребенка на дороге он не мог — ну кто знает этих детей, которые везде лезут и ни секунды не сидят на месте? Выберется на дорогу, и любая фура с заспанным водителем размажет ее по асфальту! Моргот проехал мимо освещенной заправки, но свернуть не решился: его сразу заметят.

Дитя устало оглушительно реветь и теперь потихоньку ныло, без слез, на одной ноте, изредка вдыхая, чтобы снова затянуть монотонное «у-у-у». Моргот очередной раз убедился в том, насколько младенцы отвратительные существа.

Следующая заправка, подешевле, была не так хорошо освещена, и Моргот решил, что дальше тянуть не имеет смысла. В стеклянной будке дремала всклокоченная девица лет двадцати, а охранник при ней храпел на всю округу, расположившись на узкой банкетке при входе. Моргот подъехал тихо, никого не разбудив.

— А теперь заткнись, — шикнул он на ребенка. То ли от испуга, то ли от неожиданности девочка замолчала и раскрыла рот.

Моргот вылез наружу, стараясь не шуметь, обошел машину, открыл правую дверь и взял дитя на руки. Она собиралась заплакать снова, но Моргот свел брови к переносице, цыкнул зубом, и девочка промолчала. Он усадил ее на ступеньки стеклянной будки и сказал:

— Я сейчас уеду, ты тут останешься одна, вот тогда реви погромче, поняла?

Вряд ли трехлетняя девочка кивнула ему потому, что согласилась, но Моргот успел привыкнуть к тому, что его распоряжения выполняются нами беспрекословно, и, довольный собой, сел обратно за руль. И как только внедорожник выбрался с заправки, вслед ему понесся громкий, захлебывающийся рев.

Макс смотрит вверх, вспоминая, о чем еще можно рассказать, улыбается сам себе и продолжает:

— Классе в третьем я хотел быть космонавтом. Мы все тогда хотели быть космонавтами и готовились к этому. Вместо центрифуги мы использовали карусель с детской площадки, ее надо было раскручивать руками. Тяжелая такая железяка, неповоротливая, с двумя сиденьями. Если ее крутили несколько человек, можно было добиться довольно большой скорости. Для третьеклассников испытание на самом деле было тяжелым, мы же все делали по-настоящему и крутили ее сначала по пять минут на каждого, а потом по десять. Я мог кружиться на ней хоть целый час, Моргот же пять минут еще выдерживал, да и то исключительно из гордости, но когда мы попробовали крутиться по десять минут, его укачало и рвало очень долго. Конечно, мы ему сказали, что космонавтом ему не быть: по здоровью не пройдет. Разве что каждый день будет тренироваться. Он продержался три дня, а потом придумал, что космонавтом быть вовсе не хотел, а хотел

быть конструктором ракет. Мы смеялись, конечно, и говорили, что конструктором быть проще простого, а ты попробуй на центрифуге покрутиться! Я не думал, что он запомнит этот случай. Только когда он в университет поступил, то напомнил мне об этом... А я не мог понять, почему он до последнего скрывал от всех свою специальность! Он думал, все помнят об этом. Он слишком серьезно относился к своим неудачам, он считал, что люди все его неудачи записывают в блокноты и ждут случая их припомнить. А специальность его называлась «Стартовые комплексы ракет и космических аппаратов»...

— А почему ты называл его принц-принцесса? — спрашиваю я.

Макс усмехается.

— Как он злился! А меня его злость забавляла. Однажды он болел ангиной, я пришел к нему после школы. Вообще-то, мне не разрешали к нему приходиться, потому что я мог заразиться, но я же был настоящим другом... Моргот, когда болел, всегда выглядел совершенно несчастным; он лежал в гостиной на диване, перед телевизором, в теплой фланелевой пижаме кремового цвета, с замотанным горлом. Он нарочно открыл дверь заранее, чтобы я застал его лежащим без сил. На самом деле, он действительно страдал, но его натура требовала, чтобы страдания бросались в глаза. Иногда он отвлекался от роли тяжелобольного, но именно тогда и было заметно, что ему очень больно глотать: он болел только второй день, у него еще держалась температура, и есть он не мог. А по телевизору как раз начинался фильм — мы смотрели его впервые, он, собственно, и позвал меня ради этого фильма, тогда новые фильмы были редкостью, а у Моргота стоял большой цветной телевизор.

— Неужели когда-то не у всех были цветные телевизоры? — улыбаюсь я.

— Да. У меня дома цветной телевизор появился лет через пять. И в фильме, по иронии судьбы, главный герой как раз болел ангиной. Мы, как водится, заспорили, кто из нас главный герой. Конечно, он был гораздо больше похож на меня — тоже кудрявый, но ангиной-то я не болел! А потом на экране появился больной принц. С таким же выражением лица, как у Моргота! Тут я радостно закричал: «А это — ты! Это ты!» Принц был столь

жалок, что Моргот, конечно, быть им не согласился. А я находил между ними все больше общих черт, и меня это забавляло, потому что принц и кудрявый главный герой действительно напоминали нас с Морготом, и не видеть этого Моргот не мог. В конце фильма выяснилось, что это не принц, а принцесса, но главный герой прозвал его так гораздо раньше — за нытье и слабость. Моргот бесился и кричал, что он на этого слизняка нисколько не похож, что он бегаёт гораздо лучше меня, и соображает тоже лучше. На этом его доводы кончались, и когда вошла его мама, отпросившаяся с работы, мы катались по ковру и молотили друг друга по ребрам. Она вернула Моргота в постель, хорошенько поддав, а мне сказала, что я поступаю некрасиво, но не выгнала, а посадила в кресло досматривать фильм. Она сказала, что это фильм о дружбе, а мы превратили его в повод для драки. И на экране как раз пели песню «Я хочу, чтобы мой настоящий друг оставался со мною в любой беде...» И пел ее принц, который потом стал принцессой. Меня это так тронуло... Мать никогда Моргота не защищала и вообще не лезла в наши дела, но тут, глянув на экран, ахнула: «Макс, ну это же девочка! Разве Моргот похож на девочку?» И потрепала его по волосам. А мы хором закричали: это не девочка, это принц! Она только посмеялась над нами.

Макс замолкает — эти воспоминания ему приятны, он растворяется в них, на губах его блуждает счастливая улыбка, как будто он снова там, перед телевизором в квартире Моргота.

— Но прозвище осталось, — наконец вспоминает он обо мне, — и когда Моргот начинал ныть, я тут же вспоминал об этом и дразнил его принцем-принцессой. А он действительно был нытиком, он всегда преувеличивал свои страдания.

Я думаю, Макс не прав. Моргот, конечно, склонен был к преувеличению, но всякое страдание становилось для него по-настоящему невыносимым, он не умел удерживать его в себе, не умел с ним справляться.

Моргот притащил с собой палку копченой колбасы, двух цыплят, пару бутылок пива и букварь. Выглядел он усталым, хромал гораздо сильнее вчерашнего и, швырнув все, кроме пива, на стол, ушел в каморку. Мы слышали, как он стонал и ругался, снимая ботинки, а потом позвал:

— Бублик!

Бублик никогда не заставлял себя ждать.

— Короче, сходите, купите там чего-нибудь пожрать. Картошки там, чаю, сахара. Этого... масла...

Он напрасно старался припомнить, что требуется в хозяйстве для приготовления пищи, — мы с Бубликом знали это лучше него.

— Одного цыпленка зажарьте, а из второго супчик сварили бы какой... — Моргот громко зевнул и сунул Бублику две пятисотенных купюры. — И еще... носки мне чистые притащи, пожалуйста...

Он заснул, не выпив и половину бутылки пива: когда мы вернулись из магазина, обвешанные авоськами, чистые носки так и лежали на столе, книга, которую Моргот читал, упала на пол, а сам он мирно сопел, широко раскинувшись на кровати.

Вообще-то по воскресеньям нам полагалось мыться в ванне, но, поскольку Моргот спал, мы продолжали отодвигать это сложное мероприятие на потом. Ванна была исключительным чудом инженерной мысли Салеха — она стояла на возвышении, как на пьедестале, а под ней прятался резервуар, в который стекала грязная вода. Грязную воду откачивали насосом раз в неделю, после стирки, и затыкали сток в ванне, чтобы из него не воняло. Салех все собирался сделать водонагреватель, но так ни разу и не собрался, поэтому наливали воду из шланга, подключенного к водопроводу, а потом грели ее тремя кипятильниками. «Чтобы дети не простужались», вокруг ванны, словно софиты, на тонких ножках торчали четыре рефлектора — электричества у нас на самом деле хватало и еще оставалось!

Моргот проснулся часов в восемь — мы слышали, как шелкнула зажигалка. Он всегда сначала курил в постели и только потом поднимался. Мы расселись за столом хлебать щи со сметаной, явившиеся результатом наших совместных усилий, когда Моргот выбрался из каморки. Он еле-еле переставлял ноги, морщился и припадал то на одну, то на другую: вид у него был столь несчастный, что нам стало его жалко, а еще совестно за то, что мы его не подождали. Настроение он при этом имел отличное, хотя и ворчал спросонья.

— Бублик, ты никогда не слышал, что в щи капусту обычно нарезают ножиком? — спросил он, навалив

себе тарелку с горкой и пытаюсь пропихнуть ложку в рот.

— А я чем нарезал, по-твоему? — не понял Бублик.

— Ты, по всей видимости, рвал ее руками на куски...

— Да нет, Моргот, мы ее резали. Ножиками, — заверил Первуня.

— Что-то непохоже. Что ж тогда ни один кусок в ложке не помещается?

— Так бы и сказал, что надо мельче резать, — пожал плечами Бублик.

— Мельче — это не то слово, Бублик. Ее надо резать гораздо мельче! — философски заметил Моргот. — Я бы сказал — на порядок мельче.

— А как это — «на порядок мельче», Моргот? — спросил Первуня. — Это совсем-совсем мелко?

— Это — мельче в десять раз.

Первуня задумался: считать он умел только на пальцах и долго загибал их по очереди, пока Моргот не показал ему обе раскрытые ладони.

— Вот, это десять пальцев. В десять раз меньше будет только один палец, — он поднял мизинец, — понятно?

Первуня на всякий случай кивнул.

В понедельник, как всегда проспав до полудня, Моргот отправился в НИИ скорой помощи, предварительно купив новые кеды. Когда у него водились деньги, он их не считал, поэтому разыскал в заднем кармане брюк список с лекарствами, который в прошлый раз ему сунула медсестра, и заглянул по дороге в аптеку. А чтобы быть до конца последовательным, в киоске напротив больницы набрал фруктов и йогуртов, понятия не имея о том, что можно есть больному с желудочным кровотечением.

Настроение у него было как у сытого домашнего кота, который переварил обед и отправился на поиски приключений, не имеющих ничего общего с добычей насыщающего хлеба.

На этот раз он хорошо знал, куда идти, махнул рукой охране при входе; не дождавшись лифта, поднялся на четвертый этаж по лестнице, прыгая через ступеньку, и не глядя прошел мимо сестринского поста в конец коридора.

Он заранее чуял, что его ждет... И его прекрасное, игривое настроение, и увесистый полиэтиленовый пакет, и чувство выполненного долга, и уже не желание, а необходимость рассказать обо всем Максу, и как можно скорей, — все это располагало только к одному исходу. Моргот давно, еще в детстве, выявил закономерность: если все идет хорошо, значит, жди облома. Если тебе что-то очень сильно нужно — этого обязательно не произойдет. Если ты чего-то ждешь, считая минуты, оно непременно отодвинется на неопределенный срок.

Он пытался играть с судьбой в кошки-мышки, пытался не надеяться, не ждать, не хотеть, но это несильно помогало — не так-то просто было обмануть судьбу, которая все равно заглядывала под черепную коробку гораздо глубже, чем ее обладатель, и выискивала, когда и как ей стоит выскочить из-за угла, потирая руки.

Впрочем, на этот раз она из-за угла не выскакивала, она потирала руки там, где Моргот видел ее издали.

Громоздкая железная койка была небрежно заправлена, поверх байкового одеяла валялась подушка без наволочки, а в изножье из-под одеяла торчал съехавший вниз полосатый матрас. Моргот огляделся: он пришел перед обедом, больные вокруг разыскивали по тумбочкам ложки и миски, в буфете стучали кастрюли и звонко переругивался персонал — на него никто не обратил внимания. Конечно, Игора Пospelова могли перевести в палату или в другое отделение, но Моргот не очень в это верил. Надо быть наивным ребенком, чтобы надеяться: если в списке из двадцати человек никого не осталось в живых, кто же позволит одному из них спокойно записывать то, что пытаются уничтожить?

— Вы дедушку ищете? — спросила молоденькая сестричка, пробегая мимо с капельницей в руках.

— Да, — кивнул Моргот.

— Дедушка умер вчера. Так жалко... Ему операцию сделали, и, говорили, успешно. А он взял и умер.

— Где его вещи? — спросил Моргот, не особо надеясь на удачу.

— Родственники забрали, — охотно ответила сестричка, — сегодня утром.

— У него нет родственников! — вспыхнул вдруг Моргот. — Кому вы отдали его вещи?

— Это к сестре-хозяйке. Там, у самого входа, напротив ординаторской.

Она побежала дальше, раз-другой оглянувшись на Моргота, пока он раздумывал, стоит скандалить с сестрой-хозяйкой или нет.

Той как назло не было на месте — Моргот долго дергал ручку и стучал в запертую дверь, пока со стороны буфета ему не крикнули:

— Ну чё стучишь? Чё ломишься? Сейчас поем и приду!

Ела сестра-хозяйка долго. Не меньше получаса. И с каждой минутой Моргот заводился все сильнее. Ждать ее не имело никакого смысла! Выяснить, кто забрал вещи, — тоже. Кто бы это ни был, Моргот никогда не сможет его найти. Потому что поиграть в шпионов — это весело и интересно, но к профессионализму не имеет никакого отношения.

Когда наконец толстушка на отекиших ногах подошла к двери с надписью «сестра-хозяйка», Моргот благополучно вошел в роль возмущенного родственника. Она попыталась проскочить в дверь у него перед носом, но он ухватился за дверное полотно, локтем перегораживая ей дорогу, — толстушка оказалась у него под мышкой.

— Ну что за хамство такое! — жалко пискнула она. Моргот давно научился обращаться с людьми подобного сорта: они будут издеваться над тобой до тех пор, пока ты не покажешь зубы. Если и зубы не помогают — надо применять силу.

— Кто забрал вещи Игоря Пospelова? А? — спросил Моргот, нагибаясь к ее лицу.

— Поняття не имею! — взвизгнула она. — Я не могу всех на отделении помнить!

— Я тебя спрашиваю: кто забрал вещи? У тебя что, по сто человек на дню концы отдает?

— Я не обязана перед каждым встречным отчитываться! — она не сдавалась. — Если что-то ценное пропало — не надо на отделение тащить! Тут не камера хранения!

— Ты что, сбрендила? Ты кому чужие вещи отдала, а? При чем здесь ценности? Мне дедушка, может, перед смертью письмо написал с напутствием на всю оставшуюся жизнь!

— Если ты родственник — заявление пиши в милицию!

Моргот понятия не имел, как положено отчитываться за вещи умершего. Не могло же быть такого, что любой может прийти и их забрать? Но сестра-хозяйка нервничала, а значит, какую-то инструкцию наверняка нарушила. И, главное, она на помощь не звала — значит, не очень хотела привлекать внимание коллег.

— Я напишу, ты не беспокойся. И в милицию напишу, и главврачу тоже.

Она испугалась. Она не верила, что Моргот родственник и пойдет в милицию. А пожаловаться главврачу ему ничего не мешало.

— Мы всегда вещи отдаем! Кто приходит — тому и отдаем! Они нам без надобности! Носки, трусы и вафли — кому это пригодится?

— Я тебя не спрашиваю, что вы делаете всегда. Я спрашиваю: кому ты отдала вещи?

— Бабка приходила, сказала, что сестра! Она и хоронить его собирается! И нечего тут стоять!

Она попыталась толкнуть Моргота руками в живот, чтобы освободить дорогу, но он лишь усмехнулся:

— Бабка, значит?

— Да!

— Может, она у тебя в квитанции расписалась?

— В какой квитанции? Не делаем мы описей! И квитанций никаких не даем! Иди отсюда!

Сестра-хозяйка его обманывала, Моргот чувствовал. Но вдруг на миг представил, что сейчас записи старого ученого читает некто, понимающий их ценность, и уже отдает распоряжение ждать в больнице того, кто станет интересоваться вещами больного. Эта мысль не сразу напугала Моргота, скорей, немного охладила. Он убрал руку, давая сестре-хозяйке пройти, и отошел от двери, дернув сжатым кулаком от досады. Делать в больнице ему было нечего, идти в морг, чтобы выяснять, кто собирается дедушку хоронить, — просто опасно. Он постоял несколько секунд перед выходом на лестницу, машинально сунул руку в карман — за сигаретами, — и только щелкнув зажигалкой, подумал, что в отделении курить нельзя. От этого его досада лишь усилилась, он сбежал по лестнице на один пролет и закурил под надписью «Курить запрещено», где на заплыванном радиаторе стояла консервная банка, полная окурков. Вскоре

к нему присоединились двое больных в широких пижамах, обсуждавших футбольный матч, а потом рядом оказался еще один больной — в спортивном костюме и с мятой папиросой в руках, лет сорока пяти-пятидесяти, и лицо его было таким же мятым, как папироса.

— Вещи забрал мужчина в костюме, — сказал он в пространство как-то между прочим, не повышая и не понижая голоса, словно продолжал начатый разговор, — в восемь утра, как только сестра-хозяйка пришла на работу.

Моргот не сразу понял, что это говорят ему. Будто случайный обрывок чужого разговора вдруг лег на его мысли мистическим образом, как послание свыше.

— Он дал ей денег. Немного, пару сотен. Нагло, прямо у поста. Здесь все дают нагло и нагло берут. Спрашивал, не было ли у дедушки других вещей. Просил позвонить, если кто-то еще спросит про вещи. Велел врать, что приходила бабка и назвалась сестрой. Я слушал под дверью.

— Зачем? — спросил Моргот, вскидывая лицо на неожиданного собеседника.

— Чтобы сказать вам, — тот пожал плечами и еле заметно улыбнулся.

— Мне?

— Да. Юноше в черном. Возьмите, дедушка просил вам передать. Письмо с напутствием на всю оставшуюся жизнь, — лицо незнакомца стало серьезным, и он сунул Морготу в руки обычную школьную тетрадь — мятую, как его лицо. — Он отдал ее вчера, когда почувствовал, что ему плохо. И курите спокойно, так быстро они не приедут...

— Откуда вы знаете?

Незнакомец не ответил. Они стояли молча и курили: Моргот — нервно затягиваясь и оглядываясь, незнакомец — неторопливо, опираясь спиной на грязную стену. Двое больных, обсуждавших футбол, кинули окурки мимо консервной банки и пошли вниз, продолжая разговор. Моргот тоже поторопился затушить сигарету и только тогда заметил, что держать тетрадь в руке ему мешает увесистый пакет с фруктами и лекарствами.

— Возьмите, — сказал он незнакомцу, но тот покачал головой.

— У меня все есть, спасибо. Оставьте себе.

Моргот кивнул и подумал, что никогда не покупает мальчишкам ни фруктов, ни йогуртов, потому что сам терпеть их не может.

— И не торопитесь, когда будете выходить... — снисходительно добавил незнакомец, когда Моргот начал спускаться вниз. Моргот обернулся и увидел приподнятый сжатый кулак. Это напугало его еще сильнее, и он пренебрег советом незнакомца, едва не убегая из больницы со всех ног.

— Виадук над действующей железнодорожной сортировкой обрушился в результате взрыва трех опор, повредив в общей сложности около двадцати восьми составов, преимущественно груженных строевым лесом. Официальная версия причины взрыва — самовозгорание цистерн с мазутом. Наш корреспондент, побывавший на месте происшествия, высказывает иную точку зрения.

Камера скользит по дымящимся обломкам виадука и поездов, корреспондент размахивает руками, поясняя свои слова.

— Официальная версия не лезет ни в какие ворота. Состав с мазутом стоял под виадуком поперек, а не вдоль, и взрыв повредить три опоры одновременно не мог. Перестрелка, предшествовавшая взрыву, явно указывает на действия бандформирований, наводнивших город. Сколько еще времени понадобится властям, чтобы добиться порядка и спокойствия? Ни для кого не секрет, что свою беспомощность власти прячут за благими намерениями не поднимать паники среди населения.

Мы сидели за столом, втроем вбивая в голову Первуне содержание букваря: дело для нас было новым, неосвоенным. Моргот кинул на стул полиэтиленовый пакет, прошел мимо телевизора и проворчал:

— Бараны. Мазут вообще не взрывается, ни вдоль, ни поперек.

— А почему, Моргот? — тут же спросил Первуня.

— Скорость горения низкая, — ответил Моргот и захлопнул дверь в каморку.

Первуня остался сидеть с открытым ртом: он был уверен, что все поймет, если хорошо подумает. Он очень серьезно относился к ответам Моргота. Нет, Моргот над

ним не издевался, он просто не утруждал себя размышлениями о том, что может понять семилетний ребенок, а что еще нет.

Мы, конечно, тут же полезли в пакет и обнаружили в нем бананы, груши, виноград и йогурты. Моргот через некоторое время выглянул из каморки и спросил, нет ли у нас чистой тетради. А когда ее не нашлось, послал Силю в магазин.

Он просидел за столом целый день, до позднего вечера: что-то писал. Это было для нас новым — обычно Моргот читал, а писал очень редко. Ближе к ночи к нам пришел Макс, но Моргот не вышел из каморки, даже когда мы хором заорали: «Непобедимы!»

Первуня заглянул к нему и сказал:

— Моргот, к тебе пришел Макс.

— Я слышу, — только и ответил он, не поднимая головы.

Макс расположился за столом и словно не заметил отсутствия Моргота: поставил чайник, достал из сумки пирожки — его мама пекла пирожки, и он частенько нас угощал, — а потом выложил на стол целую стопку книг, старых, потрепанных.

Он успел выпить чаю и поболтать с нами о нашей жизни, когда Моргот наконец соизволил выйти к столу.

— Здорово, Морготище, — Макс улыбнулся ему радостно и хитро, гораздо приветливей, чем в прошлый раз.

— Пошел к черту, — почему-то ответил Моргот.

— Да ладно. Пирожка хочешь?

— Не надо думать, что меня интересует жратва в качестве поощрения. Гипогликемия прошла у меня в двадцать лет, — Моргот хмыкнул, сел за стол и откусил сразу половину пирожка с капустой.

— Рассказывай! — Макс налил ему в чашку заварки.

— Чайку поьем и пойдем прогуляемся.

— Да ну? — Макс окинул нас взглядом.

Моргот кивнул:

— Рука отваливается и башка трещит.

— Труженик, — Макс ему подмигнул.

— Пошел к черту.

Моргот хлебнул из чашки и тут же заинтересовался книгами, сложенными на краю стола, — перебрал, кивая, все по очереди, а потом позвал меня:

— Килька! Все эти книжки прочитать вслух, понятно? Даю по три дня на каждую. После этого — мне пересказать. Ты все понял?

— Конечно!

Моргот покупал нам книжки, но из всех только я один любил читать, ну, еще пытался приобщить к этому Бублика. Идея прочесть книжки вслух мне очень понравилась: мне было обидно, если я не мог поделиться прочитанным с остальными. Книжки мы тут же потащили в наш угол, на кровати, — Моргот все равно погнал бы нас в постель.

Они с Максом попили чаю, разговаривая ни о чем, а мы, взяв себе по штуке, лежали в кроватях и «читали»: все, кроме меня, рассматривали картинки. Это были детские книжки про войну, совсем старые, в одной на первой странице значился шестьдесят первый год.

Книжка неожиданно меня захватила, и когда все давно уснули, а Моргот с Максом ушли гулять, я все читал и не мог остановиться. Время летело незаметно, прошло не меньше часа, прежде чем я услышал на улице голос Моргота; я испугался и выключил бра — мои родители ругали меня, если я читал по ночам.

— И как, ты разобрался? — спросил Макс, в темноте натыкаясь на мусорное ведро у входа.

— Нет, Макс, — Моргот захлопнул дверь, — надо было лучше учиться. Нет, формулы знакомые, что-то, конечно, понятно... Но только какие-то детали. В общем, это не для моих мозгов. Это должен смотреть спец, физхимик. Давай еще чайку — что-то я весь день просидел, как дурак, даже пожрать забыл.

— Все переписал?

— Да. Надо бы сделать еще копии...

— Сделают, не беспокойся, — Макс сел за стол и включил лампу: Моргот любил уют, и над столом висела лампа в зеленом абажуре. Только зажигали ее редко, ночью.

— Как думаешь, стоит этим заниматься? — Моргот развалился на стуле, как всегда закинув ноги на табуретку.

— Крути эту девочку, секретаршу. Мне кажется, она очень многое может достать и узнать.

— Не уверен.

— Все равно крути. Если Кошев сделал снимки с чертежей — значит, у него есть чертежи, и эти чертежи,

скорей всего, на заводе. Может быть, она найдет место, где находится цех.

— Я и так знаю: на юго-западной площадке.

— Считаю, что не знаешь. Знаешь — это когда на плане площадки у тебя красным карандашом обведено место его нахождения. Конечно, забрать чертежи проще, чем вывезти цех, так что попробуй ее на это натолкнуть. А в «Оазис» не ходи больше: на самом деле прирежут в сортире ненароком. Они же не знают, что информация от тебя ушла.

— Если бы, кроме Кошева, о блокноте узнал кто повыше, я бы здесь не сидел. Мне кажется, он отдельно, а они — отдельно. Его первого прирежут в сортире, если узнают, что он все это записывал и хранил записи в бардачке. Заметь: из кабриолета их мог забрать любой прохожий.

— Вполне возможно, он только продавец, он всего лишь хочет сорвать куш. Это с его точки зрения куш, понимаешь? А для них стоимость акций завода — это крохи. Акции же вообще не котируются, они и десятой доли своей цены не стоят. То есть Кошеву — завод, а им — цех. Выгодно обеим сторонам. Таким образом, кстати, они получили здание Гражданпроекта: скупили акции по дешевке у работников, а самих работников потом уволили.

— Бараны, — проворчал Моргот, — эти твои работники.

— Ты слишком много от них хочешь.

— Знаешь, это не чесальщицы и не прядильщицы. Небось, восемьдесят процентов инженеров и двадцать — кандидатов в доктора.

— Моргот, ты вспомни, как нас убеждали в том, что открытое акционерное общество — более прогрессивная форма, чем закрытое. Ссылались на мировой опыт.

— Для того и убеждали. Кстати, об убеждениях. Скоро вы снова начнете воевать с миротворцами. И не с военной полицией, а с войсками.

— С чего ты взял? — удивился Макс.

— Я тебя никогда не обманывал. Они начали в СМИ говорить о бандформированиях, о том, что правительство не справляется. А раньше молчали, как будто нет никаких бандформирований. Они готовят почву для подключения войск.

— Эх, тебя бы в политические аналитики! — улыбнулся Макс.

— Только разбежусь, — фыркнул Моргот.

— Да ладно, Морготище... Я знал, что если ты за это возьмешься — будет толк! — Макс широко улыбнулся.

— За что, за политический анализ?

— Нет, за «Оазис». И видишь — получилось же!

Моргот не сомневался, что случайное везение в этом деле — его личная заслуга.

— Давай, давай, расхваливай, благодари... Поощряй, так сказать... — проворчал он.

— Ты считаешь, я не могу искренне порадоваться твоему успеху? Тем более в нашем общем деле? — Макс нагнул голову и посмотрел на Моргота с укоризной.

— Это не общее дело, Макс, а твое и твоих товарищей по Сопротивлению. Ты меня попросил — я взялся, хотя ничего не обещал.

— Ты можешь говорить все что угодно. Я тебе не верю. Ну признайся, ведь тебя зацепило... Ты же сам про деда этого говорил...

— Его зовут Игор Поспелов, — вдруг оборвал Моргот. — Там в тетрадке написано, в середине, между формул. Греческими буквами. Не пропустите при переписке.

Он сказал это неожиданно серьезно, я помню эти его слова. Тогда я не мог знать их смысла, но теперь понимаю: след человека на земле... Все, что осталось от старого ученого, — тетрадка с формулами. И так же как Моргот живет теперь в моей книге, так и Игор Поспелов остался жить в той тетрадке. Его имя там, написанное греческими буквами, — это его последний крик: «Непобедимы!».

Сейчас я думаю, что этого имени там писать не стоило: попади тетрадь в руки «покупателей», почерк Моргота сопоставили бы с именем ученого, из непонятных записей тетрадь превратилась бы в улику против него. Может быть, Моргот об этом не подумал. Но мне почему-то кажется — он знал, что делает.

Кто эта пожилая женщина, я понимаю не сразу. Она сидит в кресле, чуть прогибаясь в пояснице и приподняв голову, но не напрягается: эта аристократическая осанка — ее сущность, а не поза. У нее умные глаза и речь образованного человека. Но когда она переходит к

сути разговора, мне кажется, что она безумна. Не глупа, а именно одержима. Мне с трудом удается скрыть растерянность и неловкость.

— Виталис в детстве был очаровательным ребенком, настоящим ангелочком. Его белые локоны, обрамлявшие лицо, — их совершенно невозможно было постричь! Все принимали его за девочку, такой он был хорошенький, и иногда я нарочно надевала на него платице. Когда он был совсем маленький, конечно. Если его спрашивали, как его зовут, он всегда отвечал: «Виталис» — и обязательно добавлял: «Я мальчик». Меня это так умиляло!

Мне хочется спросить: не завязывала ли она ему бантиков на очаровательные белые локоны?

— Какой скандал мы пережили, когда он пошел в школу! Эта солдафонская привычка стричь всех под одну гребенку, в прямом смысле этого слова! Этим заостренным ханжам было не понять, что Виталис отличается от сверстников, он тоньше, умней, красивей, в конце концов! И состричь его локоны — это варварство, настоящее варварство! Это изменило его образ! Вы, наверное, понимаете, насколько внешность влияет на образ мыслей. Кстати, волосы у него после этого не вились, и я никогда не прощу Лео, что он тогда встал на сторону учителей. Он почему-то считал, что над Виталисом будут смеяться сверстники! Мне многие говорили, что я неправа. Моя подруга — психотерапевт — убеждала меня в том, что при таком воспитании мальчик вырастет аутичным, не научится входить в контакт с людьми. Это она про Виталиса! — женщина улыбается победной улыбкой.

Я вежливо отвечаю ей тем же: мне страшно не только ей возражать, но и не соглашаться. Она в любую секунду прервет контакт со мной, если почувствует, как я отношусь к ее словам.

— Виталис был очень мирным и добрым по отношению к сверстникам. Он никогда не дрался, никогда! И ни у кого не возникало желания его обидеть, его все любили. Мы всегда поощряли в нем эту доброту, эту щедрость. Он мог быть уверен: если он отдаст кому-нибудь свою игрушку, мы немедленно купим ему новую. Лео хорошо зарабатывал, мы могли себе это позволить. В те времена, если вы знаете, деньги было легче получать, чем тратить, — лицо ее выражает некоторое

презрение к «тем временам». — Я вспоминаю, с каким трудом мне удавалось доставать вечерние платья, по какому благу Лео покупал шубы, — а я могла носить только норку, на другой мех у меня аллергия. Я не говорю о повседневной одежде, которую брали лишь с рук или привозили из-за границы. Все это отнимало слишком много времени! Мне до сих пор жаль, что школьную форму отменили, лишь когда Виталис заканчивал университет: меня выводила из себя эта одинаковость, эта попытка заставить людей не выделяться, лишить их индивидуальности! Слава богу, я научила своего сына не поддаваться конформизму, не уподобляться серой массе. И это нисколько не мешало ему в жизни, только помогало. Я думаю, его достижения — это моя заслуга. Его способности и мое воспитание.

Я делаю непроницаемое лицо, мне хочется крикнуть: но он же предал своего отца! «Обошел на повороте», как говаривал Моргот. Неужели это можно считать достижением?

— Виталиса никто не считал целеустремленным, — продолжает она, не заметив моего волнения, — никто не верил в нашу близость, в доверительные отношения между нами. А между тем, мы были очень близки.

Она сочиняет. Вот теперь она выдает желаемое за действительное. Я не знаю Виталиса Кошева, но я вижу на ее лице: это ложь.

— Он советовался со мной, он очень ценил мое мнение, и как юриста, и как человека с большим жизненным опытом. В истории с продажей цеха, когда Лео поступил так глупо, Виталис прежде обсудил со мной все нюансы, связанные с правильным оформлением биржевых сделок, с законом об открытых акционерных обществах, с уставом завода. Лео плохо понимал, что такое капитал, что такое деловая хватка. Он так и не вырос из времен социализма, он был ретроградом, закостенелым в своих принципах, которые никого не интересуют, в своих убеждениях, которые расходятся с реальностью. Тратить девяносто процентов собственных доходов на убудков, работающих на заводе, только чтобы они не остались без работы! Я не против благотворительности, но все должно укладываться в пределы разумного! Он твердил мне, что завод ему не принадлежит! Вы видели такое когда-нибудь? Я тыкала его носом в бумаги, где черным по белому написано, что

на заводе ему принадлежит, а что — нет! Лео совершенно не понимал, что деньги и мораль не совместимы между собой. Я не говорю, что человек дела должен быть аморальным. Но деньги морали не знают, для этого и придуман Закон. Все, что не нарушает закона и касается денег, не может быть аморальным. Иначе ты — не деловой человек.

Я не стану спорить с этим ее утверждением. Жизнь убедила меня в ее правоте. В том, что деловой человек должен быть аморален, и чем он аморальней, тем больших успехов он добьется в жизни. Впрочем, это мое личное мнение — мнение неудачника и слюнтяя, типичного рефлекслирующего интеллигента.

Мне кажется, Моргот разделял эту мою точку зрения. А может быть, не осознавал, что его «неудачи» на деловом поприще — следствие рамок, наложенных на него в детстве. Ему казалось, он избавился от этих рамок, и род его занятий предполагал именно это. Но я думаю о ребенке, которого он довел до заправки, а не выбросил на обочину в лесу, как поступил бы почти каждый угонщик. Да, над моим мнением можно посмеяться: ах, Моргот — благородный герой! Нет, он не был благородным героем, разве что в моем детском восприятии. Он не хотел быть благородным героем, напротив, он хотел обладать той самой деловой хваткой и, как следствие, презирать мораль. И не мог. Он перешагнул через запрет на воровство, но не смог перешагнуть через остальные запреты. Грабь награбленное — не самый высокоморальный лозунг, но я знаю, что честным трудом заработать на машину стоимостью в скромный домишко на Средиземноморье в те времена было невозможно. Да, я ищу Морготу оправдания, хотя он считает, что в них не нуждается. Даже напротив: он всегда искал оправдания своим хорошим поступкам. Но когда он рассказывал мне о девочке в угнанной машине, ему и в голову не пришло, что нужно оправдываться: он не представлял, что можно было поступить по-другому, он этот поступок хорошим не посчитал.

Моргот позвонил Стасе на следующий день, ближе к концу рабочего дня. Она была слишком хорошо воспитана, чтобы предъявить какие-то претензии из-за его недельного отсутствия, и слишком искренна, чтобы

скрыть радость. Он сказал, что уезжал, и она поверила — верней, посчитала, что его отсутствие связано со взрывом виадука. Моргот ее не разубеждал, но и не соглашался.

— Сегодня моя мама дома, — виновато сказала Стася — Моргот нисколько не стеснялся того, что ему некуда привести девушку: его подружки сами искали место для встреч, если таковое требовалось.

— Да ладно, можем куда-нибудь сходить, — когда у Моргота имелись деньги, ему нравилось ими швыряться, — я даже нашел подходящее место.

— Пожалуйста, чтобы не так дорого, как в «Оазисе»...

— Какая разница? — усмехнулся Моргот. — Куда хочу, туда и приглашаю девушек.

Ей это понравилось. Она могла говорить что угодно, но ей это понравилось. Моргот выбрал тихий маленький ресторанчик на набережной, довольно дорогой, но уютный. Всего пять столиков разделялись перегородками, создавая впечатление отдельных кабинетов перед открытыми окнами: туда заглядывали ветви цветущего жасмина. Ресторанчик на самом деле имел хорошие традиции — и даже меню, в котором не указывались цены: Моргот успел добраться туда раньше Стаси и потребовал, чтобы его гостья не узнала о том, сколько стоит этот вечер. Впрочем, она не вчера родилась.

— Моргот, я не могу себе позволить подобных заведений, — сказала Стася, присаживаясь на край стула, обитого велюром.

— Расслабься, — ответил Моргот, — мне здесь нравится гораздо больше, чем в «Оазисе».

— Мне тоже здесь нравится, — вздохнула она, — но я буду чувствовать себя неловко.

— Только не надо... — поморщился Моргот. — Пока есть деньги, надо их тратить.

— На эти деньги можно купить что-нибудь полезное...

— Например? — Моргот поднял брови.

— Сапоги...

— У тебя нет сапог? Хочешь, пойдем и купим завтра же.

— Спасибо, не надо. Я... я чувствую себя продажной женщиной...

— С ума сошла? Перестань. Я ел твои бутерброды.

— Это неправда. Ты их не ел, ты только откусил один раз, — она улыбнулась, и в ее улыбке блеснула нежность, и любовь, и забота. Моргот поставил плюсик самому себе за умение вызывать подобные чувства.

Он совсем не любил ее, он даже не ощущал особенной симпатии. Отношения с ней требовали постоянного внимания, напряжения: ее принципиальность, представления о правильности утомляли Моргота, он скучал с ней. В постели он любил почти любую женщину, возможно потому, что умел сыграть любовь и желание, и верил в свою игру. Он и сейчас играл любовь и симпатию, но немного натянуто, не вполне вживаясь в роль. Потому что это была роль вложенная, роль, которую играл борец Соппротивления в попытке раздобыть нужные сведения. И Стася чувствовала это, но готова была этим довольствоваться. Наверное, ее личная жизнь до появления Моргота складывалась не очень удачно, и его это вовсе не удивляло.

— Все, — он обнял ее и притянул к себе, — прекрати. Что хоч, то и делаю. Заказывай не меньше трех блюд и десерт, понятно? Вино к ним я тебе выберу сам.

— Моргот, я не верю тебе... Ты... ты вовсе не любишь меня... ты пользуешься мной...

— Пользуйся и ты мной, — он пожал плечами, через ее хрупкую, костлявую спинку потянулся к меню, перелистнул страницу и прочитал: — Салат «Нежность». Очень тебе подходит, правда? Это с рыбкой. Далее: жаркое «Принц и нищий» — это про меня. Говядина, жаренная на углях, — тебе с кровью или без?

— Без... — пролепетала она.

— Очень хорошо, я тоже с кровью не люблю. Не хватает горячей закуски. О, «Лесные братья»! Это актуально. Грибной жульен. И это никакие не шампиньоны, а настоящие красные грибы, посему и вино берем красное сухое.

— Я люблю сладкое... Или полусладкое...

— Это приличное место, здесь полусладкого не подают. Полусладкое — это не вино, а компот. А сладкое будем пить на десерт.

Она таяла от его объятий, плавилась, как воск, и ее спинка уже не казалась костлявой, а стала податливой и гуттаперчевой; Стася словно растворялась в нем, не

прижималась, а прорастала, пускала корни. Моргот в очередной раз убедился, что и самые принципиальные из них хотят красивых ухаживаний, ресторанов, цветов, а вовсе не обшарпанных концертных залов и вернисажей. А впрочем, Стасе мог бы подойти и вернисаж — она же художница... Цветов он никогда не покупал из утилитарных соображений, считая это выброшенными деньгами, но женщины любили его и так.

— Ну давай, спрашивай, — вздохнула Стася, когда выпила два бокала вина: она хмелела удивительно быстро.

— Что ты думаешь, и спрошу, — шепнул он в ее острое звериное ушко. — Когда твоей мамы не будет дома?

Она рассмеялась:

— Только через две недели. Она неделями работает. Одна из трех — в ночную.

— Я не доживу. Поехали за город, а? Куда-нибудь на речной бережок. Комарики и костер, а?

— Мне же завтра на работу, — она смутилась и натурально покраснела. — Я знаю, что всем мужчинам нужно от нас именно это, но мне казалось, ты не такой.

— Я такой, — ответил Моргот. — И еще какой!

Похоже, представления о мужчинах она получила со слов бдительной матери.

— Ты врешь! — она засмеялась. — Разве тебе не нужно узнать, что происходит с акциями завода?

— Совершенно не интересуюсь заводом, — притворно фыркнул Моргот, чтобы она поняла, что это притворство.

— Ты оказался прав. Все покупатели акций — подставные.

Моргот в этом не сомневался и кивнул.

— Но я все равно не верю, что это делает Виталис, — сказала она строго, как будто хотела Моргота за что-то осудить.

— Не верь, — он пожал плечами. — Тогда почему ты не говоришь об этом «дяде Лео»?

— Ну кто я такая... — она вспыхнула. — И потом, мне придется сказать ему, что я смотрела реестр акционеров и ходила по этим адресам... Как будто я за ним шпионила.

— Ты не за ним шпионила, а для него, — Моргот легонько хлопнул ее по плечу. — Но мне все равно, скажешь ты

ему об этом или нет. Это проблемы «дяди Лео», а не мои. Вот увидишь, когда число выкупленных акций превысит долю «дяди Лео» или дойдет до пятидесяти одного процента, тогда твой Виталис явится к папаше в кабинет и начнет разговаривать с ним совсем по-другому.

— Да нет же! У Виталиса нет своих денег! На что он может покупать акции?

— Понятия не имею! — фыркнул Моргот и добавил, сделав загадочное лицо: — Я всего лишь предсказываю будущее.

Она опустила плечи и задумалась.

— Перестань, — Моргот подтолкнул ее в бок.

— Я не знаю, сколько процентов продано подставным лицам. Акции же всегда в движении. Я не могу проверить всех.

— И не надо, — успокоил ее Моргот.

— Может быть, действительно надо сказать дяде Лео? Ну, что это подставные люди?

— Мне все равно, если честно.

— А ты бы сказал? — она подняла на него глаза.

— Я бы даже проверять адреса не пошел! — рассмеялся Моргот. Ей это не понравилось: ни его ответ, ни его смех.

Как странно, патологически странно была устроена мораль того времени! Когда человек делал нечто выходящее за рамки его прямых обязанностей, делал это искренне, переживая за свою работу, ничего не стоило его высмеять: Моргот выглядел здравомыслящим прагматиком, а Стася — дурочкой с идеалами. Он не сразу спохватился, что это — из другой роли: слишком привычной она для него была.

Красивая женщина лет сорока смотрит на меня открытым взглядом светлых глаз, и я узнаю эти глаза. Я почему-то не могу смотреть на нее, как на всех остальных, появляющихся передо мной в этом кресле, и не могу не отдавать себе отчета в том, кто (или что?) передо мной. Удивительная женщина. Открытость — главная ее особенность, которая сквозит в каждом ее движении, в непринужденной позе, в осанке. Ее уверенность в себе не так заметна, потому что не выпячивается, но она непоколебима. Эта женщина... лучится. Мне странно

видеть на ее лице жизнелюбие и оптимизм. Морготу исполнился двадцать один год, когда она умерла, и я не могу не признаться самому себе: я рад, что вижу ее такой, в расцвете зрелости, в расцвете удивительной поздней, осенней красоты, которая не завяла, не исчезла и предстала передо мной сегодня. И не могу не сожалеть о том, что ее больше нет, о том, что она ушла в расцвете своей поздней осенней красоты...

Я моложе ее на тридцать пять лет и старше лет на десять. Сейчас. У нее скуластое лицо, темные прямые густые волосы, у нее высокая грудь под зеленым обтягивающим свитером. Я влюблен? Да, я влюблен, но страсть моя носит платонический характер: так влюбляются в кинозвезд, в женщин с обложек журналов, в образы на картинах художников... Как странно, как запутанно устроена жизнь... Мне жаль, что ее больше нет, но это не убивает меня — это возносит ее на недосягаемую высоту, делает недоступной.

— Мой муж, отец Моргота, был старше меня на восемнадцать лет, он посвятил молодость карьере военного и женился, когда бесконечные переезды и переводы остались позади. Но если вы думаете, что он выбрал меня, чтобы и дома командовать кем-то, — это не так. Наоборот, дома я была главной. Он был тяжелым человеком, но мне удавалось с ним ладить, ведь я — легкий человек, — она улыбается. У нее хорошая улыбка, открытая и действительно легкая. Она часто улыбается. — И воспитание сына я тоже сразу взяла на себя и лишь позволяла отцу вмешиваться под моим неусыпным контролем. К тому же муж много времени тратил на работу, уходил рано, приходил поздно и не каждые выходные мог провести с нами. Если бы он взялся за Моргота всерьез, я не знаю, что бы могло получиться в конечном итоге! Я думаю, отец бы легко сломал мальчика. А впрочем...

— Почему? — спрашиваю я.

— Моргот был очень уязвим. С младенчества. Несомненно, он был истериком, но его истеричность я бы не назвала распушенностью. Мы с отцом не поощряли его истерик, напротив, не обращали на них внимания, нарочно игнорировали, уходили в другую комнату... И уж тем более истерикой он не мог добиться от нас желаемого. Но сейчас я не знаю — правы мы были или нет.

Еще когда Моргот ходил в детский сад, я обращалась к психологу, и та сказала, что мы поступаем правильно. Но... Он действительно не мог контролировать эмоций, он их не замечал до определенного момента, они валились на него, как снег на голову, а он не успевал ни осмыслить их, ни подготовиться. Да, несомненно, и истерики его тоже были демонстративны, верней... Это было что-то вроде привычки к демонстративности, которую он не мог побороть. И он действительно не мог успокоиться сам, он не притворялся. Это стало заметно, когда он подросток, когда начал стесняться подобных проявлений. Тогда я плюнула на психологов и их советы — иногда его приходилось по нескольку часов отпаивать валерьянкой. Мне кажется, мы поступали с ним жестоко. Однажды, когда ему было лет пять, я нечаянно разбила фарфоровую статуэтку, собаку, которую он очень любил. Он плакал всю ночь. Я слышала, как он плачет, но не смела подойти. И отец каждый раз, когда я хотела встать с постели, удерживал меня. Я жалею, что не подошла к нему. Мне кажется, мы потеряли что-то — его доверие, возможно. Моргот никогда не приходил ко мне со своими проблемами, и уж тем более никогда не сообщал о них отцу. Он мог хвастаться победами и успехами, но никогда не жаловался нам. И панически боялся, что мы услышим что-то о его поражениях, неудачах. Не подумайте, что он боялся наказаний, нет. Для него худшим наказанием была насмешка, пренебрежение. Он боялся, что мы посмеемся над его неудачами или равнодушно пожмем плечами и скажем: «Сам виноват».

— Вам было трудно с ним?

— Моргот был невозможным ребенком, — улыбается она, — я все время балансировала на грани. Он умел добиваться своего всеми правдами и неправдами, он играл на моем чувстве вины, на моей жалости, на моем понимании его натуры. Иногда это переходило границы. К тому же он был очень подвижным, сносил все на своем пути, минуты не мог посидеть спокойно, а это позволено не везде. Всякая попытка ограничить его свободу — запереть или поставить в угол — заканчивалась моим полным поражением. Он либо сбегал, либо молотил в дверь ногами, и мне приходилось его выпускать. Время от времени чаша моего терпения переполнялась,

и я бралась за ремень. Но он же совершенно не мог терпеть боль, он ревел белугой, и я бы поверила, что это чистое притворство, я хорошо знала, насколько мой сын талантливый актер. Но, знаете, он не притворялся. Это уязвляло его гордость. Что бы он ни придумывал, он никогда не жертвовал гордостью, это было неприкосновенно. И то, что он не может вытерпеть боль гордо, оскорбляло его гораздо сильнее всего остального. Поэтому я, конечно, старалась избежать таких методов воспитания до последнего, но иногда, честное слово, он этого заслуживал! Особенно если он делал гадости нарочно, назло.

— Скажите, а он мог бы стать вором?

— Моргот? А знаете, мог бы. Не в том смысле, в котором это принято, а скорей кем-то вроде благородного разбойника, — она улыбается, — ради самой воровской романтики, а не ради наживы. Он любил риск, это было нездоровое пристрастие, и проявилось оно очень рано. Нет, он никогда не брал чужого. И вообще, есть люди, которые совершают что-то рискованное или запретное, чтобы быть пойманными. Нет, у Моргота были другие цели. Мне кажется, ему нравилось испытывать страх. Но если что-то рискованное заканчивалось плохо или страх зашкаливал за какую-то одному ему известную отметку, то никакой радости он не испытывал, наоборот. Например, однажды он прыгнул в воду с десятиметровой вышки, ему было лет восемь. Все закончилось отлично, и он дня три после этого ходил счастливый, как начищенный пятак. А потом, в то же лето, забрался на крышу и едва с нее не упал. То есть почти упал. Скатился с конька в сторону веранды, где крыша была плоской, сильно ушибся и чудом не полетел дальше, буквально повис на краю. Когда отец его оттуда снял, он даже не плакал, только трясся. И, наверное, неделю не мог прийти в себя. Не потому что переживал, нет. У него наступило что-то вроде апатии, ему было неприятно — понимаете, о чем я говорю?

Вопрос маленького Кильки не дает мне покоя, и я его задаю:

— Его можно было назвать трусом?

— Нет, что вы! — она мотает головой, и ее густые прямые волосы бьют ее по щекам. — Наоборот! Он как будто

не представлял последствий своих поступков. А может быть, и действительно не представлял. Есть люди, которые живут одним днем, а Моргот жил одной минутой и не заботился, что случится в следующую. Он ввязывался в драку, не тревожась о том, чем это кончится, и очень удивлялся, когда все кончалось плохо. Он разгонялся на велосипеде, пытаясь перепрыгнуть через поребрик, и удивлялся, оказываясь на асфальте с ободранными локтями. Конечно, с годами опыта у него прибавилось, но суть осталась той же: он сначала делал, а потом думал. Он возводил это в принцип: думать о проблеме только после того, как она появилась, и не предпринимать ничего для того, чтобы ее вообще не возникло. Нет, он не был трусом. Нытиком — да, кисейной барышней даже. Если бы вы знали, чего мне стоили эти его ободранные локти и коленки! Какой йод, какая зеленка! Моргот рыдал навзрыд, он кричал так, как будто ему отпиливают ногу без наркоза! Не помогали ни насмешки, ни жалость. Когда он стал постарше и уже понимал, что это смешно, он все равно не мог справляться с собой и очень из-за этого переживал. Я думаю, у него действительно была гипертрофированная чувствительность, он не мог переносить ни холода, ни жары, он обжигался, взяв в руки чашку с горячим чаем, его укачивало за пять минут езды на автобусе, он легко терял сознание. А потом, когда он начал быстро расти, у него еще и обнаружилась гипогликемия. Ему все это мешало, особенно в общении со сверстниками. Он ведь занимался спортом, он хотел во всем быть первым.

Я люблю эту женщину. Я не могу жить без нее. Я ревную ее и к ее сыну, и к ее мужу. Черт возьми, я хочу, чтобы она осталась в живых, и понимаю: когда ей было сорок, мне было пять...

Страна болот и дождей —
страна озер и туманов.
Что мне в ней?

*Из записной книжки Моргота. По всей
видимости, принадлежит самому Морготу*

Моргот отважился позвонить Сенко только в среду, когда успел убедить себя в том, что не таким уж и позорным было его бегство. Сенко, как ни странно, обрадовался.

— Громин! Немедленно приезжай. Во-первых, у меня твои кеды. Во-вторых, я тебе расскажу, чем закончилась наша рыбалка.

— Я купил новые кеды. И чем, собственно, могла закончиться рыбалка? Неужели тяжелым похмельем?

— Приезжай, говорю. Я раздобыл бутылку настоящего шотландского виски, и мне не с кем ее выпить.

— Виски — это плохо очищенный самогон. Но я приеду.

Моргот не мог отказаться от поездок в авиагородок. Эта составляющая его жизни много для него значила: он убеждал себя (и меня) в том, что сжигал машины миротворцев из любви к риску, что в нем сидел инстинкт разрушения, что ему нравилось смотреть, как они горят. Но я слишком хорошо помню, что чувствовал злорадство, — наверное, Моргот испытывал то же самое. И по силе оно могло сравниться с ненавистью. Не думаю, что он считал это мстью: он, в отличие от меня, мог сопоставить между собой человеческую смерть и уничтоженную вещь. Моргот получал от этого удовольствие и не записывал это себе в заслуги. Но как-то раз он сказал что-то о горящей земле у них под ногами...

Набрав в магазине закуски поинтересней, он поймал машину и махнул в авиагородок. Но к его приезду у Сенко уже сидел Антон, который, похоже, успел набраться где-то в другом месте.

— Громин! — рывкнул он из кухни, стоило Морготу перешагнуть порог.

— Чего тебе? — поинтересовался Моргот, передавая Сенко пакет с закуской.

— Скажи мне честно, почему мы тут сидим и давимся их сивухой, когда они спокойно разгуливают у нас прямо под окнами?

Моргот зашел на кухню и демонстративно выглянул на улицу.

— Не вижу там ни одного шотландца...

— Зато я вижу! — Антон шарахнул кулаком по столу.

— Это белка, Антон. Это не шотландцы, это чертики... — Сенко похлопал его по плечу.

— Сами вы... чертики... — проворчал Антон. — Давай, Громин, пей скорей. Хочу, чтоб ты дошел до моего состояния. Тогда я вытряхну из тебя всю душу...

— Боюсь, к тому времени ты будешь лежать под столом, — Моргот, как всегда, развалился на стуле, опираясь спиной на холодильник. В последнее время ему нравилось сидеть около окон. Раньше он не замечал, что жизнь в подвале на него давит — низким потолком и отсутствием панорамы: окна у нас были маленькие, под самым потолком, и даже со стула ничего, кроме зарослей крапивы, в них не просматривалось. А Сенко жила на девятом этаже, под окном его кухни как раз лежала малоэтажная застройка миротворцев, вдали виднелся аэропорт и самолеты, заходившие на посадку или поднимающиеся в воздух. А за ним, на далеком горизонте, — кромка леса.

Сенко подмигнул Морготу и наполнил ему рюмку.

— Ну, за встречу! — Моргот с подозрением понюхал виски и поморщился.

— Нормально! — махнул рукой Сенко. — Знаешь, сколько стоит эта бутылка?

— Флакон с французской туалетной водой стоит еще дороже. Но это не повод из него пить, — Моргот поморщился еще раз и влил в себя содержимое рюмки — на вкус оказалось не так уж и противно.

— Огурчика, — Антон качнулся в сторону стола, пальцами выудил огурец из стеклянной банки и сунул Морготу под нос.

Моргот отодвинулся, вырвал огурец у него из рук и откусил половину. Сенко последовал его примеру.

— Шотландский виски под соленые огурцы — это патриотично, — изрек Антон и тоже выпил.

— Щас быстренько — по второй, и я расскажу про рыбалку, — Сенко снова начал разливать виски.

— Погоди со своей рыбалкой! — Антон еще раз грохнул по столу кулаком. — Я вас хочу спросить, почему мы

трое, здоровые молодые мужики, сидим тут и глушим это пойло?

— А что бы ты предложил глушить? — спросил Моргот, закуривая.

— Посмотри по сторонам, Громин! — протянул Антон и широко повел рукой над столом, пока не уперся пальцем в оконное стекло. — Посмотри! Они ходят там, внизу, и ничего не боятся! А мы сидим здесь и глядим на них! И ничего не делаем!

— Мы уничтожаем их запасы спиртного, — сказал Сенко, поднимая рюмку.

— Нет, Сенко. Мы покупаем у них их гребаное спиртное. Мы отдаем им наши деньги. Мы отдаем им железную руду, мы отдаем им нефть, которой у нас и так кот наплакал. Они вывезли от нас столько леса, что нам бы хватило на сто лет!

— Не иначе, ты сегодня проснулся! — хохотнул Моргот. — Они вывозят лес уже пять лет.

— Громин! Ты не понимаешь! — Антон привстал, но не удержался на ногах и плюхнулся обратно на стул. — Нас разорили, нас обобрали до нитки! Я на стройке корячусь, как последнее чмо... Сенко, мля, на рынке телефонами торгует! Как будто так и надо! Сенко, у тебя сколько четверок в дипломе? А? Сенко? Ты слышишь меня?

— Одна, — кивнул Сенко. — За это и выпьем.

— Правильно, — согласился Моргот, заранее доставая огурец.

— Вам только б сивуху жрать... — Антон первым опрокинул в рот рюмку. — А я, может, о Родине думаю!

— Вот уже целый день? — усмехнулся Моргот.

— Сволочь ты, Громин. И всегда был сволочью, — Антон отвернулся к окну, запихивая в рот огурец. — Тебе без разницы! Ты не понимаешь!

— Я не понимаю, почему ты корячишься на стройке, — Моргот выпил и закусил. — Вперед и с песней в ряды бойцов Сопротивления!

— Ага? — Антон снова попробовал встать. — Назад, к коммунизму? Нет уж! Такого счастья мне не надо!

— А чё так? — Моргот широко улыбнулся. — Чем это тебе Лунич хуже Плещука?

— Ненавижу. Строем ходить — ненавижу!

— Ходи не строем, — Сенко с полуулыбкой по-дружески накрыл руку Антона своей, — корячься на стройке. Громин, объясни ему, почему мы так плохо живем.

— Делать мне нечего, — фыркнул Моргот.

— Ну, тогда я объясню. Нас обманули, Тоша. Нас сделали, как пятилетних ребятишек! Нам навешали на уши лапши о свободе. Хавай эту свободу, только смотри, чтоб она у тебя из ушей не полезла. Строем он ходить ненавидит! Много ты ходил строем? Чего ты хочешь, определись сначала. О Родине он думает! Да пошел ты к черту! Много нас таких, которые думают... На кухнях водку жрем и о Родине думаем.

Сенко плеснул себе в рюмку виски и быстро выпил.

— Громин, по крайней мере, не выделяется, — проворчал он, дожевывая огурец.

— Громин — сволочь! — повторил Антон с очередным ударом по столу кулаком. — У него всю семью на тот свет отравили, а он сидит здесь и лыбится!

— А что ты ему предлагаешь делать? — Сенко невозмутимо ковырнул пальцем в зубе.

Моргот, усмехаясь, курил.

— Да я бы... я бы на его месте...

— Ты на своем месте сначала сделай что-нибудь. Не нравятся миротворцы — иди в Сопротивление. А если не идешь, сиди и помалкивай. Пьяный базар только...

— А ты? А ты чего же не в Сопротивлении, если ты такой правильный? — Антон попытался поставить подбородок на руку, но промахнулся и неожиданно для себя уронил голову на грудь.

— А это — не твое дело, — огрызнулся вдруг Сенко и сжал в кулаке рюмку — Морготу показалось, что он ее раздавит.

Падение головы на грудь что-то переключило в мозгах пьяного Антона: он гордо отвернулся к окну и уставился в стекло неподвижными глазами.

— Ты не слушай его, — как-то слишком по-дружески сказал Сенко Морготу, — он сегодня слегка чокнутый.

Моргот смерил Сенко взглядом и усмехнулся: он давно научился играть человека, который потерял семью, но не нуждается в жалости. В жалости он на самом деле не нуждался, но не по тем причинам, которые надеялся изобразить. За исключением редких и почти ничего не

значащих случаев, он забывал о том, что чувствовал, не хотел вспоминать, как ему больно осознавать их смерть, и напоминания об этом не трогали его, не бередили раны.

— Лучше про рыбалку, — улыбнулся Моргот, несколько не сомневаясь в том, что Сенко оценил его мужество и умение держать при себе свои чувства.

— Да, про рыбалку, — с радостью переключился тот на другую тему. — Мы искали тебя до полудня, между прочим. Ночью я, конечно, ничего не соображал. Утром просыпаемся — а тебя нет, Кошева с компанией — тоже. А когда Влад в кустах нашел твои кеды, мы всерьез забеспокоились. У нас, конечно, была версия, что ты по пьяни забрел куда-нибудь, но почему босиком? Пьяная логика причудлива, знаешь, но это было как-то... В общем, кеды стоят, а человека в них нет. Я не очень трепался, что Кошев сильно хотел этой встречи с тобой, но мне все это показалось особенно странным. И то, что ты чуть не утонул, мне тоже показалось странным. Я даже подумал, что тебя нарочно хотели утопить.

Моргот покачал головой:

— Я не помню. Я пьяный был. Что потом на берегу было — помню, а до этого — нет. Я даже не помню, зачем в воду полез.

— Мы сеть доставали, только ты от меня уплыл, я и не заметил. В общем, первое, что я подумал, что они тебя все же утопили. А что на самом деле случилось-то?

Врал Моргот виртуозно, но с осторожностью, и прекрасно знал, какие его слова можно проверить, а какие нет.

— Да я их девку трахнул, они скандал устроили. А я пьяный был, психанул, развернулся и ушел. Кеды забыл. Опомился где-то в лесу, босиком... Долго искал хоть какую-нибудь дорогу. В общем, смысла уже не было возвращаться, да еще и пешком, — поехал домой.

— Мог бы позвонить, — укоризненно сказал Сенко.

— Мне и в голову не пришло, что вы меня будете искать. Я думал, Кошев вам расскажет утром.

— Слушай, а ты не врешь? — Сенко прищурился и наполнил стопки.

Моргот не боялся таких провокаций: его честный взгляд заставлял собеседника испытывать неловкость

за столь глупый вопрос. Но тут он слегка просчитался — Сенко имел в виду совсем другое.

— Я не верю в совпадения. А тут их целых три: и звонок Кошева, и то, что ты чуть не утонул, и то, что ты исчез. Сдается мне, ты чего-то не договариваешь...

— Кошев меня не любит, а я не люблю его. Мы посидели в одной забегаловке, повздорили, как обычно, и после этого он решил, что я угнал его машину. Я не угонял его машины, и, думаю, мне удалось его в этом убедить, — Моргот вдруг подумал, что соврал напрасно. Если бы он прямо сказал, что сбежал, не желая связываться с четырьмя противниками, то угнанный кабриолет не бросился бы Сенко в глаза, и его бегство не стало бы третьим совпадением. А это — гораздо важнее, с этим не шутят. Моргот не столько понимал, сколько чувствовал: одно лишнее слово — и его убьют за этот розовый блокнот. И, возможно, это будут люди посерьезней Кошева. А после полученной от Игоря Поспелова тетради трудно не сложить два и два, если сестра-хозяйка оставила кому надо его описание. И хорошо, если просто убьют. А если сначала спросят, куда он дел эту тетрадь? Военная полиция — не гестапо, но когда речь идет о Соппротивлении, они перестают деликатничать.

Подобные мысли нагоняли на Моргота тоску и страх: он начинал нервничать и терял здравый ум. Как тогда, убегая из больницы, он не смог сдержаться и идти спокойным шагом.

Они выпили, и Моргот сказал:

— На самом деле, я от них сбежал. Очень не хотелось, чтоб они вчетвером из-за своей девки пинали меня ногами, а к этому все шло. Кошев-то таких разборок не любит, но эти три мордovorота нажрались и хотели почесать кулаки.

— Знаешь, лучше бы ты нас позвал, — Сенко поморщился — то ли от виски, то ли от внутренних переживаний. — У меня, если честно, тоже кулаки чесались весь вечер. Я не знаю, почему ребята этого не увидели, а мне это показательное выступление Кошева с шашлыками и ящиком закуски напомнило гуманитарную помощь малоимущим...

Антон, уже задремавший, неожиданно поднял голову, огляделся и произнес вполне осмысленно:

— Я чувствовал себя абсолютным дерьмом. Я пыжил-ся и изображал непринужденность. И зажигалку Кошев у меня упер.

Он снова закрыл глаза, и голова его упала на руки.

— Он хорошо сказал, — Сенко снова поморщился. — Абсолютным дерьмом, которое пыжится. Громин, иногда мне хочется выброситься из окна. Какого черта это чмо с купленным дипломом считает себя лучше меня? Какого черта каждый норовит спросить меня: если ты такой умный, то почему ты такой бедный? И на любое мое оправдание, а тем более — на мою злость есть готовый ответ: неудачников всегда бесит чужой успех! А я не неудачник!

Сенко вдруг хлопнул кулаком по столу, как это недавно делал Антон. Только в руке у него была стопка: Моргот вздрогнул и прикрыл глаза, представив, как осколки толстого стекла впиваются Сенко в руку и на клеенчатую скатерть льется кровь. Чужая боль Моргота не волновала — он боялся крови. Стопка осталась целой, только ребром пробилла клеенку. Антон не пошевелился.

— Ты-то чего стучишь? — Моргот посмотрел на Сенко исподлобья. — Расслабься. Все мы неудачники, что за пьяные истерики-то? Сидим тут и пьем шотландский виски. Я еще и закуски принес, между прочим. И скажи еще, что мы сегодня плохо живем.

— Громин, ты же понимаешь, о чем я говорю. Не прикидывайся. Мы — дерьмо, которое пыжится. Мы находим себе оправдания, мы презираем кошевых, мы делаем вид, что мы выше этого, но мы — дерьмо. А Кошев — умник, каких мало. Добрый и демократичный. Он не брезгует друзьями, у которых нет денег. Особенно если ему позарез надо встретиться с кем-то из них.

Моргот потянулся к пакету с закуской, который Сенко бросил возле холодильника, и вытащил на свет стеклянную банку.

— Расслабься, скушай лучше креветку.

— Да пошел ты... со своей креветкой... — Сенко скрипнул зубами. — Ты-то знаешь, о чем я говорю. Ты просто не хочешь об этом думать. Потому что ты не хочешь чувствовать себя дерьмом. Тебе ведь страшно чувствовать себя дерьмом!

— Я слишком мало выпил для таких рассуждений. Сенко, ты трезвомыслящий человек. Что ты

устраиваешь? Или это Антон тебя вдохновил? Ищете образ врага? Одному миротворцы дорогу перешли, другому Кошев жить мешает. Я живу и радуюсь жизни, чего и вам желаю.

— Хорошо тебе, — Сенко снова налил себе одному, и, не успев Моргот что-то сказать, выпил в одиночестве, — а я в последнее время стал слишком много и слишком трезво думать. Ты считаешь, Антон не прав? Ты думаешь, у меня внутри не болит ничего, когда я на миротворцев люблюсь сверху вниз, когда на улице их встречаю?

— Ага. Не может сын глядеть спокойно на горе матери родной...

— Не может, Громин! — шепотом выговорил Сенко. — Веришь? Не может, как выяснилось! Нас обобрали. Нас до нитки обобрали и продолжают обирать. Все продали, все, что можно, продали! Во, смотри: едет покупатель! Его тачка стоит столько же, сколько три моих квартиры. Чего я только не слышал: и технологий у нас нет, и работать мы не умеем, и безработица-то нам полезна, и тупые мы, как валенки, и разруха у нас, и переход на мирные рельсы, и цивилизованное государство в один день не построишь... А на деле — вот они, ползают там внизу, как муравьи. Все в свой муравейник тащат. А наши рады стараться!

— Так за чем дело стало, Сенко? Бери автомат — и вперед! Назад к коммунизму.

— Ты можешь смеяться. Ты всегда смеешься, и я тебя понимаю. Лучше смеяться, чем плакать. Но знаешь... Я в последнее время на полном серьезе думаю: а не взять ли мне автомат?.. Я устал быть неудачником и дерьмом. Я устал пыжиться. Неудачник отличается от победителя тем, что свои неудачи валит на обстоятельства. А наши «победители» приходят и берут. То, что плохо лежит. И это мародерство называется успех. Почему бы мне им не уподобиться? Взять то, что я по праву считаю своим? С автоматом мне будет гораздо проще доказать им, что часть проданного на самом деле принадлежала мне.

— А ты глобально мыслишь, — усмехнулся Моргот. — Экспроприация экспроприаторов? Где-то я это уже слышал. Всё это давно заклеили, как ту же самую психологию жадных неудачников.

— А мне плевать! Лучше я буду жалким неудачником с автоматом, чем жалким неудачником без него. Посмотри! Они обнаглели! Раньше вот этот кент, — Сенко показал пальцем вниз, — прежде, чем сесть в машину, обходил ее со всех сторон, под колеса заглядывал, а теперь просто садится и едет. Они два года назад боялись после заката на улицу выйти, а теперь пикники устраивают по пятницам! Я бы взорвал к чертям собачьим весь аэрогородок, лишь бы вместе с ними!

— А знаешь, Сенко, этих ребят из Сопротивления — их иногда убивают. Ты не боишься, что и тебя убьют? — Моргот издевательски улыбнулся.

— Нет, Громин. Уже не боюсь. Что мне светит в этой жизни? Ничего мне не светит. Твоих родителей они убили, а моих превратили в нищих. Их родители на старости лет начнут путешествовать, а мои — собирать жратву по помойкам! И меня ждет то же самое. Я, молодой и здоровый, еле-еле свожу концы с концами. Что же будет дальше?

Моргот открыл банку с креветками, достал нарезку колбасы и потянулся.

— Как вы мне надоели. Съешь креветку.

На этот раз Сенко налил им обоим и от креветки не отказался.

— Слушай, Громин, — он занюхал виски рукавом, — а на самом деле: у тебя нет никого, кто может свести меня с этими людьми?

— Какими?

— С теми, кто с автоматами...

— С миротворцами, что ли? — Моргот рассмеялся.

— Кончай издеваться. Как люди выходят на Сопротивление?

— Понятия не имею. Ни разу не думал об этом. Вербовочных пунктов в городе тоже не встречал. Может быть, их надо искать в лесах? О! Дай объявление в газету: хочу вступить в Сопротивление!

— Громин, я уже сказал, ты можешь смеяться.

— Что-то Кошев со своим ящиком закуски произвел на вас с Антоном слишком сильное впечатление. Я вот тоже привез закуски — и никакой реакции. Надеюсь, это тебе не напонило гуманитарную помощь малоимущим?

— А то я не знаю, чем ты занимаешься... — хмыкнул Сенко. — Могу поставить десять против одного, ты угонаешь машины.

— Я? — Моргот приложил руки к груди и изобразил притворное возмущение. — Никогда в жизни.

— Слушай, угони машину у того гада, который прямо под моими окнами живет, а?

— Шас, разбегусь только, — кивнул Моргот. — Я профессионал, я такой ерундой не занимаюсь. Зачем угонять машину из авиагородка, где полно вооруженных солдат и офицеров, если можно угнать ее у того же Кошева, которого никто не охраняет? Впрочем, я бы и у Кошева машину угонять не стал — его папаша высоко летает. Проворовавшиеся чиновники лучше. Или банковские работники помельче.

— Экспроприация экспроприаторов?

— Нет, Сенко. Добыча средств к существованию, никакой идеологической подоплеки.

Зачем скрывать то, что практически очевидно?

Сенко заснул рано, только начинало темнеть. Моргот сначала как следует рассмотрел маленький двор миротворца сверху, потом спустился вниз и прошелся вдоль редкой железной решетки, разглядывая, как закрывается гараж, где идет провод, подводящий к нему электричество, на какой замок запирают ворота и нет ли на них сигнализации: у Моргота был «полицейский ключ», с сигнализациями он расправлялся без особого труда — «высокие технологии», которые везли с собой миротворцы, создавали вору гораздо меньше проблем, чем кондовые висячие замки.

Возвращаться к Сенко Моргот не стал, поехал домой.

Все утро мы играли на задворках вокзала — это было одно из наших любимых мест. Я успел прочитать остальным книгу про подвиги партизан, и в тот раз нам кружило голову желание пускать поезда под откос. Притаившись на куче угля, мы изображали диверсантов, заложивших мину на рельсах, а при приближении кого-нибудь из взрослых зарывались в этот уголь, оставляя на поверхности носы. Потом мы — снова неудачно — пробовали делать ножички из гвоздей, но ни один гвоздь, положенный на рельсы, наших ожиданий не оправдал: колесо поезда почему-то отталкивало гвоздь, а не расплющивало.

Домой мы явились к обеду. С вечера мы наварили гречки дня на три — это вышло случайно, мы не рассчитали, что крупа настолько увеличится в объеме, и получили в результате две полных кастрюли вместо одной.

Моргот сидел за столом и ел нашу гречку с сосисками, но стоило нам войти, он замер и так и не донес ложку до рта, лицо его изменилось, я бы сказал — оно вытянулось. Он поперхнулся и несколько секунд молча смотрел на нас, а потом швырнул ложку в тарелку. Честно скажу, мы не сразу поняли, в чем дело и чем его так взволновало наше появление.

— Вы чего, обалдели? — спросил он чересчур тихо и обиженно.

— А почему мы обалдели, Моргот? — Первуня, не ощущая за собой никакой вины, посмотрел на Моргота открыто и с любопытством.

— Вы вообще думаете, когда что-то делаете? — рявкнул Моргот, приподнимаясь. — На месте стойте!

— Да чего такое-то? — недовольно поинтересовался Бублик.

— Чего такое? — заорал Моргот. — Ты сам не видишь? Сбрэндили совсем, ублюдки малолетние! На себя посмотрите! Где вы шлЯлись?

Обычно Моргот не интересовался, где мы играем: ему было на это наплевать. Да, конечно, нам приходило в голову, что мы немного перепачкались на куче угля, но мы не видели в этом ничего особенного.

— Быстро! — продолжал орать Моргот. — Все вот это дерьмо, которое на вас надето, — быстро в ванну! Будете стирать, пока все не отстираете, мля!

— Да подумаешь, Моргот... — вздохнул Силя. — Ну испачкались немножко.

— Подумаешь? Я тебе щас подумаю! Быстро разделись, я сказал! И не здесь, не посреди дороги! К ванне идите! Ну?

Мы, конечно, не боялись Моргота, хотя он мог нам и поддать, и находили его гнев не вполне оправданным, но что-то похожее на чувство вины у меня внутри зашевелилось. Одежда наша действительно была слишком черной, и угольная пыль полетела в стороны, когда мы начали стаскивать ее с себя и бросать в ванну.

— Трусы что, тоже снимать? — мрачно и обиженно пробормотал Бублик.

— Я не понял, ты еще и не доволен чем-то? — Моргот смерил его взглядом. — Ублюдки, мля... Только попробуйте это не отстирать, вы у меня без трусов до осени ходить будете! Ну куда, придурок? Куда ты чистые трусы в эту грязь пихаешь, а?

— Ты же сам сказал... — проворчал Бублик.

— Чего я сказал? Наверх давай! На колонку, мыться!

Только при попытке отмыть угольную пыль холодной водой мне в голову впервые закралась мысль, что одежду нашу теперь будет не отстирать. Если уж с рук грязь не сходит, даже если очень сильно тереть, то как же она сойдет с футболок и джинсов? Моргот поднялся наверх минут через пять, когда мы отчаялись и стучали зубами от ледяной воды.

— Навязались на мою шею, — проворчал он вполне миролюбиво, выдавая нам мыло и мочалку, — черти полосатые...

— Моргот, а оно не отмывается, — заныл Первуня.

— Да мне плевать! Отдирайте, как хотите! Хватило же ума перевозиться!

Стирка полностью подтвердила мои опасения: уголь не отстирывался. Вода в ванне почернела, и мы поменяли ее три раза, но черные пятна только расплозились по джинсам и футболкам густым темно-серым налетом.

— Как же теперь в таком грязном ходить? — сокрушенно покачал головой Первуня, выживая из горящей пенящейся воды некогда белую футболку с нарисованным на ней жирным котом.

— Никак, — зло ответил ему Бублик. — Нас в таком виде точно за беспризорников примут, так что стирай.

Моргот одевал нас аккуратно и заставлял следить за собой, мы действительно не выглядели беспризорниками, напротив, могли дать фору многим ребятам, живущим с родителями.

Конечно, у нас была смена одежды: майки, рубашки, свитеры и спортивные штаны. Но в спортивных штанах мы ходили дома, а рубашка заменить футболку не могла. Мне было очень жаль моей футболки — голубой, со смешным мультяшным волком на груди. Но совсем плохо мне стало, когда я подумал, что Морготу придется купить нам новые футболки и джинсы: я не разделял той легкости, с которой он относился к деньгам. Не то

чтобы я стеснялся жить за его счет — мне как-то не приходило это в голову, и обузой я себя, как ни странно, не считал. Мы как будто заключили негласный договор о том, что Моргот дает нам деньги на еду и покупает нам одежду по мере того, как мы вырастаем из старой. Но тут мне стало стыдно: ведь из футболки я еще не вырос! Это прибавило мне желания непременно вещи отстирать, и я принялся за дело с удвоенной силой.

Первым захныкал и захлюпал носом Первуня, в чем не было ничего удивительного. Однако к тому времени и у меня пощипывало в носу: никакие усилия не помогли! Я стер костяшки пальцев, их разъедал порошок, а футболка так и оставалась темно-серой. Моргот давно ушел в свою каморку, вода постепенно остывала, и хныканье Первуни превратилось в горькие и искренние слезы, когда я заметил, что и Силя украдкой протирает глаза. Мрачный Бублик, закусив губу, с остервенением тер джинсы и как-то странно время от времени запрокидывал лицо вверх. Признаюсь честно, я не выдержал, и слезы сами закапали из глаз, как я ни старался их удержать: мне было жалко мультяшного волка, Моргота, который, я знал, купит нам новую одежду, но больше всего — самого себя, потому что бросить стирку я не мог, а сил на нее не осталось.

В общем, когда к нам пришел Макс, мы все вчетвером ревели самым позорным образом, роняя слезы в грязную, остывшую воду, вонявшую стиральным порошком. Нам даже не хватило сил хором крикнуть «Непобедимь», мы лишь вяло вскинули кулаки в ответ на его приветствие.

— У... — протянул Макс. — Целую ванну наплакали? А я пирожков принес, с черникой, но вам, похоже, не до пирожков.

Видимо, все остальные, как и я, тоже вспомнили о том, что так и не пообедали, потому что вой наш тут же стал гораздо громче.

Макс заглянул в ванну, двумя пальцами приподнял над водой футболку Бублика, покачал головой и позвал:

— Моргот!

— Ну чего? — Моргот появился на пороге каморки, зевая и потягиваясь.

— Ты издеваешься над детьми, я правильно понял? — усмехнулся Макс и плюхнул футболку обратно в воду.

— Это дети издеваются надо мной, — прошипел Моргот, включая чайник.

— Моргот, у меня пальцы все ободрались... — громко взвыл Первуня, ощущая рядом надежное плечо доброго Макса. — Вот, смотри!

— Да плевать мне на ваши пальцы, — фыркнул Моргот, усаживаясь за стол.

— Моргот, это несерьезно, — Макс посмотрел в ванну еще раз, — надо было хотя бы прокипятить, что ли.

— Кипятите, кто вам мешает? — Моргот пожал плечами.

Мы с радостью уцепились за новую идею, Макс помог нам поменять воду, включил кипятильники, вытер наши слезы, заклеил пальцы пластырем и усадил за стол — есть пирожки с черникой. Мне еще не исполнилось одиннадцать лет, но я отчетливо помню свою мысль: если вещи не отстираются, то отнюдь не Макс, каким бы он ни был добрым, будет покупать нам новые. Это была довольно злая мысль, мне стало обидно, что пожалел нас вовсе не Моргот. Впрочем, он никогда нас не жалел; наверное, поэтому мы и были так привязаны к нему: каждому из нас довелось столкнуться с жалостью к бедным сироткам, так же как и с безжалостностью мира к нам, поэтому мы острее чувствовали и лучше других ценили не жалость, а нечто совсем другое, настоящее, осязаемое, то, для чего мне трудно подобрать правильное слово. Моргот мог называть нас ублюдками, которые навязались на его шею, но мы-то отлично понимали: за этими словами ничего не стоит. Он относился к нам, как к данности, перед ним словно не стояло выбора — жить с нами или жить без нас, он не предполагал благодарности за свою заботу, напротив, делал все, чтобы мы этой благодарности не ощущали. И наше отношение к нему не отягощалось чувством долга, мы просто любили его.

— Ну? Как дела у «лесных братьев»? Фронт уже развернули? — издевательски начал Моргот, когда они с Максом вышли из подвала и расположились на лавочке, сколоченной Салехом у южной стены. Салех называл ее завалинкой.

— Надеешься, что я буду оправдываться? — улыбнулся Макс. — Не буду. Я передал твои материалы куда надо, и сегодня утром мне прислали записку. Знаешь, от кого?

— Не иначе от вечно живого Лунич, — хмыкнул Моргот. — С чего бы ты так светился!

— Ну, не от самого Лунич, конечно, но Лунич заинтересован в этом деле, сильно заинтересован. Нам поручают три конкретные задачи: найти представителя покупателя, с которым Кошев ведет переговоры, забрать с завода все чертежи, пока их не успели передать покупателю, и найти место, где находится оборудование цеха.

— Нам — это, простите, кому? — осклабился Моргот.

— Нам — это тебе и мне, — кивнул Макс.

— Макс, ты же знаешь, я не люблю поручений. И с каких это пор Лунич отдает мне распоряжения?

Моргот искренне полагал, что на передаче информации о продаже цеха его миссия закончится, что младшим Кошевым заинтересуются люди посерьезней Макса, и этого будет вполне достаточно, чтобы прищемить Виталису хвост.

— Не передергивай.

— Нет, Макс, я чего-то не понял... Я что, уже состою на службе? И давно?

— погоди. Не ерепенься. Я передал твое предупреждение о привлечении войск к борьбе с Соппротивлением, и тобой на самом деле заинтересовались в качестве аналитика.

— Ты чё, с ума сошел? — Моргот даже привстал. — Да катись ты подальше со своим Соппротивлением! Заинтересовались, мля! В список включили, досье составили?

— Морготище, прекрати истерику, — Макс сжал губы, — списков не существует. Никто тебя не принуждает. Если придет в голову что-нибудь подобное, просто скажи мне, и больше ничего не нужно.

— А я не хочу, чтобы мной кто-то интересовался! Мне дорого стоило жить так, чтобы меня никто не трогал, чтобы никто не знал, где я живу и чем занимаюсь. И тут, понимаешь, мной заинтересовались!

— Да прекрати ты орать! Я даже фамилии твоей не называл! Подумай лучше, как мы будем доставать чертежи и искать цех!

— «Мы»? — Моргот скривился еще сильнее. — А кроме нас с тобой, в Соппротивлении есть кто-нибудь еще? Или ты у товарища Лунич один остался? Кстати, у меня есть два чудика, которые спрашивали, нет ли у меня

знакомых вербовщиков, которые выдадут им автоматы и покажут, в кого стрелять.

— Серьезно?

— Совершенно. Два моих однокурсника, — Моргот отвел глаза.

— Потом скажешь мне фамилии и адреса, мы их проверим по своим каналам, — Макс кивнул так серьезно, что Морготу захотелось рассмеяться.

— Объявление в газету подайте: производится дополнительный набор в коммунистическое подполье на конкурсной основе. Набор производится по адресу... Засланных казачков просят не беспокоиться.

— Тебе смешно, а люди к нам идут, — вспыхнул Макс.

— Что-то не заметно. Расскажи мне, как я буду узнавать, с кем Кошев ведет переговоры? Я должен раздобыть приборчик, читающий мысли Кошева, или притащить его сюда, поставить утюг ему на брюхо и спросить, кому он собрался продавать цех?

— Моргот, ты же вор, — Макс сказал это так смущенно, как будто боялся Моргота оскорбить, — придумай что-нибудь.

— Я не медвежатник, а угонщик. Умею быстро бегать, лучше всех в этом городе вожу машину и знаю много проходных дворов и проездов. И как мне это поможет раздобыть чертежи?

— Ты спишь с секретаршей Кошева, этого мало? — Макс вздохнул.

— Ну я же сплю с секретаршей, а не с Кошевым, правда? Она ничего толком не знает, она про этот цех вообще не слышала! И потом, она мне надоела хуже горькой редьки! Она такая правильная, что меня тошнит! Ее даже ущипнуть не за что, она даже целоваться толком не умеет!

— Укради у нее ключи. Она же наверняка имеет ключи от приемной и от кабинета шефа.

— Ну? — Моргот посмотрел на Макса, как на дурачка. — И что дальше? Украсть у нее пропуск, загримироваться под ее фото и пройти через вертушку? Как-нибудь ночью, когда на заводе никого не будет? Не говори чушь. Так дела не делаются, это тебе не дешевый боевичок, а я не суперагент.

— Суперагенты занимаются вещами поинтересней, а это для нас — рядовая операция. У нас таких операций

несколько десятков в разработке, так что не надо... Не боги горшки обжигают.

— Да ну? Несколько десятков! — Моргот сдвинул брови, покачал головой и прищелкнул языком. — И сколько человек искало опоры виадука, прежде чем его взорвать?

— Виадук был взорван, когда на сортировке стоял состав с пусковыми установками для ракет. И диспетчер, который устроил для нас задержку этого состава, арестован. Возможно, его уже нет в живых. И это не повод для шуток, честное слово! Он знал, что его вычислят сразу же, он знал — и все равно на это пошел!

— Да ну? Ты думаешь, меня вдохновит его пример? — усмехнулся Моргот. — Не вдохновит! Я не понимаю этой жертвенности, я не вижу в ней смысла. Через неделю сюда придет новый состав с точно такими же пусковыми установками, миротворцы от этого не обеднеют, уверяю тебя!

— Ты... Ты не понимаешь главного, Моргот, — Макс посмотрел на него с жалостью. — У нас есть только один способ победить. Нам нечего им противопоставить, кроме наших жизней. И это единственное, чего они не понимают и с чем не умеют бороться: с жертвенностью, с нашей готовностью умереть, если надо. Они сами умирать не готовы, поэтому мы их сильнее.

— А я умирать не собираюсь, Макс. И противопоставлять им свою готовность умереть не стану. Так что считай, что я их слабей, и таких, как я, — миллионы. А таких чокнутых, как вы, — единицы. Поэтому они и ставят свои ракеты где хотят, и вывозят отсюда все, что им заблагорассудится.

Макс опустил голову и сцепил руки в замок.

— Да, Морготище, ты прав... Именно поэтому. И я ничего не могу с этим сделать. Я не могу уговорить человека умереть, собственно, я и права такого не имею. Каждый решает сам.

— Да ладно, Макс! — Моргот подтолкнул его в бок. — Кончай. Вот скоро вы развернете фронт...

— Перестань издеваться! Я не вижу в этом ничего смешного!

— А я разве говорю, что это смешно? Я говорю, что это бесполезно, — Моргот пожал плечами.

— Вот именно. И все же... Даже если это бесполезно, даже если это ничего не меняет, я все равно готов умереть, понимаешь? Я ненавижу их так сильно, что готов умереть только для того, чтобы они поняли, насколько сильно я их ненавижу! И я не понимаю, почему ты не испытываешь такой же ненависти.

— Я опираюсь на здравый смысл. Я не пытаюсь изменить того, чего не могу изменить. И тебе того же желаю.

— О каком здравом смысле ты говоришь? — Макс вскинул голову. — Ты что, вообще ничего не желаешь почувствовать? Я ведь... Я ведь твою маму вспоминаю всегда, твоего отца... Они бы...

Моргот чуть повернул голову в сторону Макса и тихо сказал:

— Заткнись.

Он бы не ответил так никому, он бы сыграл что-нибудь, но Макс много раз видел его без маски: Моргот ничего не терял, появляясь перед другом детства таким, каким был на самом деле.

— Скажите, вы хоть немного гордитесь своим сыном? — спрашиваю я этого угрюмого человека в военной форме. Он прямой, как и положено военному, у него узкое лицо и тонкая кость, и это не вяжется с его выправкой. Взгляд его тяжел, он долго не смаргивает, и кажется, что он пытается увидеть тебя насквозь.

— Я не могу ответить на этот вопрос. Я любил своего старшего сына, несмотря ни на что.

— На что? — я ревную к этому человеку его жену, и я не могу быть к нему объективен. Мне хочется быть вызывающим и наглым.

— Какая разница? — усмехается полковник в отставке. — Я не мог простить ему того, что он не такой, как я. Но со временем я понял, верней, моя жена сумела меня убедить: дети могут быть не похожими на нас, но от этого они не перестают быть нашим продолжением. Да, я хотел видеть его офицером, но ему еще не исполнилось и пяти лет, когда я понял, что офицера из него не получится. Офицера в том смысле, в котором его понимаю я, а не такого, которыми кишела наша армия накануне моей отставки. Моя жена хотела девочку, она и второго ребенка родила в надежде, что родится девочка...

Перед рождением Моргота у нее и имя для девочки было заготовлено: Маргарита. Так и появилось это несуразное имя. Она чуть было не записала его Марготом, но у ее остановил. Ей было тогда чуть больше двадцати...

— Расскажите, каким он был?

— Я не стану отвечать на этот вопрос. Я, собственно, ничего о нем не знал. Я видел внешнюю сторону, которая ровным счетом ничего не значит, как выяснилось. Я передал ему эстафету, и это главное. Я сумел сделать это, хотя мне казалось, что это невозможно.

Он знает, что произошло. Он знает, чем закончилась эта история, и я очень хочу спросить, откуда мертвые узнают, что происходит после их ухода, но я не могу спросить об этом. Хотя... Единственный человек, который не побоится ответить мне на этот вопрос, единственный человек, который может посмотреть в лицо своей смерти без страха, отметая иллюзии, — это сидящий передо мной полковник в отставке. Его тяжелый взгляд безжалостен не только ко мне: полковник не знает жалости и к себе самому. И я постепенно понимаю, что он достоин своей жены и моя ревность смешна. Впрочем, она смешна сама по себе, вне личности счастливого «соперника».

А еще, глядя в его лицо, я думаю о том, что Моргот не мог быть его сыном; я, витая в выдуманных мною мирах, понимаю: Моргот скорее демон, запертый на земле, случайно оказавшийся воплощенным в телесной оболочке сына этого человека, но совсем другой сущности, совсем другого происхождения. Слишком велика разница.

Полковник ни слова не сказал о своем сыне. Ни одного конкретного слова. Ни о мальчике, который рядом с ним рос, ни о юноше, с которым полковник соперничал. Странно: единственное слово, которое маленький Килька никогда не примерял к Морготу, — уважение. Полковник вызывал именно уважение.

Направляясь на юго-западную площадку металлообрабатывающего завода, Моргот надел клетчатую рубашку и светлые потертые джинсы, памятуя о том, как его узнал незнакомец в больнице.

Прорехи в высокой бетонной ограде, как ни странно, были тщательно заделаны толстой арматурной

сеткой — Моргот не ожидал такой хозяйственности. Он обошел площадку со всех сторон, но дыры́ в заборе так и не обнаружил, и только подойдя к воротам, увидел в трех местах таблички, написанные большими красными буквами: «Территория охраняется собаками! Выход на территорию с 23-00 до 07-00 категорически запрещен!» Под одной табличкой углом была добавлена корявая приписка: «Не верите — ну и царствие вам небесное». Моргот и не поверил, и времени до двадцати трех пока хватало. Он сунулся на завод через проходную, но злобная вахтерша заблокировала вертушку, требуя ни много ни мало — паспорт! Паспорта у Моргота не было, была справка из милиции, что паспорт утрачен при чрезвычайных обстоятельствах и подлежит восстановлению. Срок действия справки истек чуть меньше пяти лет назад, но Моргот аккуратно подправлял год ее выдачи. Светить же на заводе свою фамилию не входило в его планы, и справку вахтерше он показывать не стал.

Однако потоптавшись у открытых ворот со шлагбаумом, Моргот быстро смекнул, что пропуск для машин требуется только при выезде, а въехать на территорию может кто угодно, без всяких паспортов и справок. Он поговорил минут пять с охраной на въезде — двумя бывшими милиционерами средних лет, — спросил про работу на заводе, пожаловался на то, что не может получить паспорт уже два месяца из-за очередей и нехватки каких-то бумажек, рассказал, что уволился из автомастерской, а трудовую ему до сих пор не вернули и, похоже, никогда уже не вернут, потому что бухгалтер смылся от хозяина в неизвестном направлении. На каждое слово Моргота у охраны нашлось по десятку аналогичных историй, все втроем пришли к выводу, что в стране бардак и при Луниче ничего бы подобного не случилось, что жить стало невозможно и на зарплату долго не протянешь, а в заключение охранники показали Морготу цех, арендованный частной фирмой по производству стульев, которая берет на работу поденщиков.

Фирма делала стулья для кафе — из тяжелых металлических трубок, — и на самом деле набирала поденщиков, преимущественно студентов, на их покраску, но только в ночную смену: с девяти вечера до девяти утра. Никаких документов фирма не требовала, расплачивалась сразу,

в конце смены, по числу покрашенных стульев. Моргот решил, что упускать такой шанс нельзя. Работал он в последний раз будучи студентом, воспоминания о работе имел самые неприятные, но подумал, что три-четыре дня (верней, ночи) переживет.

Когда он к девяти вечера явился на проходную, никакой вахтерши там уже не было, около вертушки, не обращая внимания на приходивших, вышагивал дедок в камуфляже. Моргот давно знал, что невозмутимый проход через вахту менее всего привлекает внимание охраны, и не ошибся: дедок даже не взглянул в его сторону. Да и людей вместе с ним пришло немало — видимо, ночная смена, — но никто из пришедших не потрудился достать пропуск.

Оформление на работу не заняло и пяти минут, у Моргота спросили только фамилию и инициалы, которые записали в журнал сомнительного вида. Минимальный фейсконтроль при устройстве на работу все же присутствовал: на глазах Моргота на проходную выпроводили двух синих пьяниц. Цех не останавливался, пересменок не затянулся, оборудование скрежетало и ухало, рабочих вокруг хватало, и Моргот решил, что он никому не бросится в глаза. Вместе с ним на одну смену нанялись человек десять, и только двое из них были старше тридцати, остальные походили на студентов.

Моргот чувствовал себя не в своей тарелке, хотя весь день работал над ролью положительного молодого инженера, волею судьбы оставшегося без работы. Роль не очень ему шла: по его представлениям, молодой инженер мог бы найти занятие поинтересней, чем красить недоделанные стулья нитроэмалью за смешные деньги — студенту на вход в ночной клуб этого могло бы и хватить, но только на вход, и даже без девушки. Мужики за тридцать производили впечатление столь убогих, что их бы и в грузчики никто не взял, и зарабатывали они, похоже, на бутылку и ночлежку.

Минут через десять от начала смены Моргот понял, почему на покраску берут поденщиков: ни один здравомыслящий человек не стал бы работать здесь больше недели подряд. Краска воняла невыносимо, вентиляция работала еле-еле, а дверь в большой цех плотно закрывалась, чтобы дышали этой дрянью только поденщики.

Студенты трудились с энтузиазмом, надеясь за ночь успеть как можно больше, Морготу же, как и двоим убогим, спешить было некуда, и через двадцать минут он начал искать место для курения: его уже тошнило и кружилась голова.

Курили на лавочке перед входом в цех, курящих собралось много. Моргот прислонился к стенке и несколько минут вдыхал в себя свежий воздух, надеясь разогнать муть в голове. Бросить работу сразу он не рискнул, решил сначала пообтереться, привыкнуть, изучить здешние привычки и нравы; осмотр площадки он отложил на следующий день.

Рабочие за сигаретками перемывали кости хозяевам, обсуждали цены в магазинах, радовались ночной смене, когда никто не ходит по цеху и не учит их, как надо работать, жалели студентов-поденщиков и снова ругали хозяев, которые не то что не желают вложиться в линию по покраске, а не могут даже вентилятор отремонтировать. Вспоминали бесплатное молоко, которое Лунич давал работникам вредных производств, и доплаты за вредность, и доплаты за ночную работу, и сверхурочные, и много других полезностей, которые внезапно исчезли из их жизни. При этом, когда разговор плавно свернул на политику, возвращения Луничу никто не пожелал.

Моргот вернулся в цех, за пятнадцать минут покрасил половину стула и снова вышел на перекур — состав перед входом почти не изменился. То ли рабочие курили с той же частотой, что и он, то ли вообще не возвращались к работе.

Часа через полтора Моргот понял, что перекуры спасут ему жизнь и здоровье: он выходил не столько покурить, сколько глотнуть свежего воздуха. От табака тошнило еще сильнее, и он выбрасывал окурки, не дотянув сигарету и до половины. И, разумеется, никто из курильщиков не обсуждал, где находится законсервированный цех по производству чистого графита. Моргот уже собирался плюнуть на стулья и их покраску, на притирку и изучение здешних привычек и отправиться искать цех немедленно, лишь бы не возвращаться к вонючей нитроэмали: его тошнило так, как будто он наелся этой краски, а не надышался ею. Он с трудом

добил последний стул и пошатываясь направился к выходу, надеясь отдышаться.

Однако компанию курильщиков он застал у выхода, в широком тамбуре, где можно было вешать топор. Моргот не сразу понял, что они тут делают и почему не выходят на лавочку: ему было так плохо, что он даже курить не собирался, и сигаретный дым изрядно усугубил его мучения. Он толкнулся в дверь на глазах у удивленной публики, но дверь оказалась запертой на засов. Моргот недолго думая начал засов отодвигать, когда работяги заорали на него хором:

— Эй, куда! С ума сошел? Жить надоело?

Моргот не принял их крики всерьез, продолжая открывать двери, и кто-то остановил его, положив руку на плечо и задвинув засов обратно.

— Ну ты чего, читать не умеешь? — седой усатый дядька ткнул пальцем в табличку на двери: «Выход на территорию с 23-00 до 07-00 категорически запрещен! Территория охраняется собаками!».

Моргот почувствовал, что у него подгибаются ноги и слезы наворачиваются на глаза: ему нужен был глоток свежего воздуха и больше ничего! Всего один глоток! Он ощутил себя запертым, загнанным в угол! Он уже решил, что больше не станет красить эти стулья, он рассчитывал, что уйдет немедленно! И не верил он особо в то, что территория всерьез охраняется.

Он хотел сказать, что ему плевать на собак, но помешал рвотный спазм: Моргот зажал рот рукой и отвернулся к стене.

— Ребята, ему нехорошо. Краской, небось, надыхался... — сказал своим седой усатый дядька, подхватывая Моргота под локоть. — Пошли-ка, парень, отсюда, накурено тут.

Моргот попытался сопротивляться, но его и с другой стороны подхватили под локоть и поволокли из тамбура в цех, где грохотали станки, завели в бытовку и усадили перед открытой форточкой, забранной толстой ржавой решеткой. Тошнота отступила не сразу, на голову накапывали волны жара, желание освободиться паникой билось внутри, и Моргот плохо соображал, где он и что происходит вокруг.

На столе перед ним валялись надкусанные бутерброды, колбасные шкурки и кости сушеной рыбы, между

разбросанными клоками промасленной ветоши, отвертками, плоскогубцами и кусачками стояли железные кружки. Почетное место посреди стола, возле электрочайника, занимала банка с тавотом. На спинке стула, где сидел Моргот, громоздилась чья-то одежда, под ногами дощатый пол был заляпан масляными пятнами, усыпан хлебными крошками и металлической стружкой.

— Воды выпьешь? — спросил усатый дядька.

Моргот покачал головой. Блестящий план проникновения на территорию юго-западной площадки с треском провалился, и винить в этом можно было только самого себя. Во-первых, не стоило забывать про собак, во-вторых, следовало предвидеть, что дышать нитроэмалью дольше получаса у него еще ни разу в жизни без последствий не получалось.

— Чё, так сильно деньги нужны? — спросил дядька, включая чайник в розетку.

Моргот пожал плечами.

— На эту покраску, по-моему, только ненормальные идут, — продолжил дядька. — У нас линия была автоматическая, но вышла из строя. Хозяева не хотели ничего покупать: надеялись, что мы ее сами починим. Оборудование-то со свалки, мы его собрали, наладили — так они думали, мы всемогущие! В общем, когда сказали им, сколько будет стоить ремонт, они поденщиков брать начали — им это дешевле выходит.

Моргот понимающе кивнул, изображая добропорядочного безработного инженера.

— А ты сам кто по специальности? — спросил словоохотливый дядька. — Может, нам пригодиться, в слесарях?

— Я специалист в области стартовых комплексов ракет и космических аппаратов, — мрачно усмехнулся Моргот. Он очень любил эту шутку, она доставляла ему странное удовольствие.

— А что? Если ты в космических аппаратах разбираешься, может, и погрузчик наш починить можешь? У нас ни одного автомеханика сейчас нет.

Моргот едва не рассмеялся. Несомненно, человек, разбирающийся в высоких космических технологиях, просто обязан уметь ремонтировать автопогрузчики! Конверсионная программа в действии! Кому-то делать

сковородки с титановым покрытием, кому-то торговать на рынке телефонами, а ему вот — ремонтировать автопогрузчики!

— Я посмотрю. Попозже, — вздохнул он. Дядька как в воду глядел: хотя Моргот не любил ремонтировать машины, но разбирался-то в моторах неплохо. А закрепиться на площадке хотя бы дня на два стоило, тем более что с поденной работой вышел такой облом.

Тошнота вскоре сменилась стойкой головной болью. Моргот отказался от чая: не смог преодолеть брезгливости, глядя на захватанные кружки с темно-коричневым налетом внутри. Он меньше всего хотел ковыряться в моторе, но решил, что эта жертва — гораздо меньшее зло, нежели нитроэмаль.

Около полуночи слесари собрались в бытовке для совместного распития бутылки водки: видимо, рабочий день у них заканчивался быстро, ведь никто из хозяев не мог нагрязнуть неожиданно. На Моргота снова накатил тошнота — от одного звука разливающейся по кружкам водки, — и он поспешил предложить усатому дядьке свои услуги в качестве автомеханика.

Дядька оказался бригадиром слесарей и говорил без умолку. Но тут Морготу повезло: бригадир работал на заводе еще до Лунича, больше тридцати лет, и когда рабочих начали сокращать, прибил к арендаторам, сколотил команду и уже три года занимается наладкой оборудования для производства металлических стульев.

— Конечно, платят арендаторы побольше, чем завод, но и условий никаких, и пожаловаться некому, — вздыхал он, глядя, как Моргот разбирается с погрузчиком. — Заплатили кому надо, и можно без вентиляции работать. Зимой в цехе градусов десять, а им — все равно. И стабильности никакой.

— А что, завод еще сокращает рабочих? — спросил Моргот, не оглядываясь.

— Да нет, пока нет. Сначала графитный цех закрыли вместе с лабораторией, но это еще при Луниче, лет восемь назад. Потом второй прокатный и этот, он раньше назывался арматурным. В аренду начали сдавать.

— Что, и лаборатория в аренде? — Моргот вытер руки тряпкой и хотел сесть в кабину — завести мотор, — но передумал прерывать слесаря на самом интересном месте.

— Нет, какой там. Кому она нужна?

— А я слышал, сейчас лаборатории начали деньги приносить, испытания проводят для сертификации.

— Не, нашу никто арендовать не захотел, она маленькая. И здание графитного цеха старое, неудобное. Оборудование продать собирались, но так и не нашли покупателя, до сих пор в контейнеры упакованное стоит, — слесарь мотнул головой в сторону, противоположную проходной.

Вот так просто? Каждый рабочий знает, где стоит законсервированный, упакованный в контейнеры цех, стоимость которого больше, чем стоимость всего завода? Он не зарыт в землю, он не окружен колючей проволокой? И собаки, похоже, охраняют вовсе не его, а ржавые трубки для производства стульев и полуразвалившиеся станки времен царя Гороха. Цех стоит у всех на виду, и никто им не интересуется? И любой может подойти к охране у ворот, поговорить с нею пять минут, пройти на территорию? Ничего не стоит сделать фальшивый пропуск на выезд, не бог весть какой клочок бумаги со штампом. Интересно, зачем они платили столько денег Кошеву? Им не хватило ума поговорить со слесарями на юго-западной площадке?

А впрочем... Сколько контейнеров с никому не нужным оборудованием стоит в опустевших промзонах, сколько законсервированных цехов? Откуда знать, которые из них годятся только на металлолом, а какие стоят миллионов? Прятать иголку лучше не в стоге сена, а среди таких же, как она, иголок.

Моргот закончил возиться с погрузчиком часа в четыре и с ветерком прокатился по цеху под восторженные аплодисменты слесарей и возмущенные вопли трех учетчиц в косынках. Начальник смены их возмущения не поддержал и с радостью пожал Морготу руку, когда тот, лихо затормозив, прыгнул на пол.

— Наконец-то! Две недели с одним погрузчиком маялись, фуры на разгрузке по три часа стояли. Я, чтобы бухгалтерию не разводить, запишу на тебя штук двадцать стульев, нормально?

— Вполне, — кивнул Моргот: ему было все равно.

— Сейчас уйти не получится, двери только в семь откроют, а кассирша придет в половине девятого, так

что все равно придется ждать. Хочешь — в бытовке посиди, хочешь — поспи где-нибудь.

Моргот привык к ночному образу жизни и спать совсем не хотел, напротив: не мог дождаться, когда наступит семь часов и откроют двери на территорию. Он без дела пошатался по цеху, расписал пулю с тремя рабочими, пока начальник смены не выгнал их работать, уже под утро выпил водки со слесарями и вышел вместе с ними на перекур, когда наконец открыли двери.

Солнце уже взошло и освещало неуютный индустриальный пейзаж, заставленный коробками складов и производственных помещений, между которыми местами убого торчали чахлые кустики и росла притоптанная, неподстриженная травка. Моргот, надо сказать, обрадовался и такому летнему утру: запертый цех показался ему тяжелой неволей.

— А что, ваши собаки на самом деле так страшны, или это сильное преувеличение? — спросил он у усатого бригадира.

— Хочешь, пойдем посмотрим, — немедленно предложил тот, — пока они еще в вольере. Кобеля в девять в сарай запирают, так надежней, а сучка послабей, на решетку не кидается. Но все равно, и мимо нее днем ходить как-то не по себе. Кто ее знает? Зверица.

Моргот хотел потихоньку избавиться от общества слесарей, но решил, что это будет неправильно, если ему придется идти сюда еще раз.

Собаки произвели на него впечатление: на них стоило взглянуть. Два здоровенных лохматых волкодава более напоминали медведей, нежели собак: огромные круглые бошки, поднятые холки, желтые зубищи, перемальвающие мозговые кости, словно камнедробилки, — песики кушали. Моргот не любил и боялся собак, в детстве его укусил кобелек соседа по даче — и было за что: Моргот дразнил его дней пять подряд, пока тот случайно не оказался на свободе. С тех пор с собаками Моргот не связывался, старался обходить даже самых мирных из них по другой стороне улицы. Но этих зверей и собаками назвать было трудно, они имели мало общего с теми животными, которых боялся Моргот.

— Двухметровый забор перепрыгнуть может, — сказал бригадир, показывая пальцем на кобеля, — нам их хозяйка как-то раз продемонстрировала.

— Я думал, их укротитель тигров дрессирует, — усмехнулся Моргот.

— Не, обычная такая тетка.

Хозяйку волкодавов Моргот увидел на следующий день и был немало удивлен: сухонькая невысокая женщина лет пятидесяти, простая, как валенок, пересыпавшая речь изрядной долей мата, курившая папиросы, но принципиально непьющая; больше всего ей подходила роль подруги старого воровского авторитета.

Показав Морготу главную достопримечательность юго-западной площадки и вдохновившись его интересом, бригадир решил провести экскурсию по всем остальным ее закоулкам: человек когда-то любил свой завод и гордился им, успел в нем разочароваться, еще не привык к новому статусу не гегемона, а наемника мелкой шарашкиной конторы, поэтому каждая его реплика начиналась со слов: «А раньше тут стоял...» или «А раньше тут делали...». Бывший гигант социалистической индустрии уже не производил впечатления незыблемости и не внушал уверенности в завтрашнем дне. На него не упало ни одной бомбы, но у Моргота появилось ощущение, что он идет по руинам некогда великой цивилизации, вроде египетских пирамид — монументальных и ныне бесполезных.

— Вот здесь раньше был графитовый цех и лаборатория, — бригадир показал на кирпичное здание с выбитыми стеклами. — Лаборатория на всю страну была известна! Какую сталь тут создавали! Сам Лунич приезжал на испытания. А теперь вот стулья гнем...

Моргот подошел поближе и заглянул в низкое широкое окно: пол выстилала кирпичная крошка, по углам валялись битые бутылки и мятые бумажные стаканчики, обрывки газет, консервные банки, на стенах с осыпавшейся штукатуркой красовались неприличные надписи, сопровождаемые рисунками.

— Здание строили сразу после войны, — голос усатого слесаря гулко раскатился по широкому пространству, — под ним бомбоубежище. Оно, правда, никогда не использовалось.

Моргот перепрыгнул через низкий подоконник и оказался внутри. Можно было не сомневаться: цех по производству чистого графита когда-то находился здесь.

Наверху или в бомбоубежище — неизвестно, но где-то здесь, в этих стенах. Когда-то. Он посмотрел на высокий закопченный потолок, на изрисованные стены — ничего особенного. Только так и могло существовать подобное производство. Рабочий, тридцать лет проработавший на заводе, уверен, что в этих стенах разрабатывались новые стали, и, наверное, они здесь на самом деле разрабатывались. Но одновременно с ними... Моргот даже отдаленно не мог себе представить технологию производства чистого графита, знал только, что она связана с электропечами и высокой температурой, но и в этом мог ошибаться. Он не мог даже предположить, сколько контейнеров понадобится, чтобы запаковать оборудование цеха. Размер помещения давал приблизительное представление об этом.

Неужели они надеются уничтожить технологию бесследно? Тогда почему не сровняли эту площадку с землей? Потому что есть чертежи? Или потому что никто, кроме Кошева, не знает, на какой площадке находится оборудование? Или «но делу дать хотя законный вид и толк...»?

Но, пожалуй, самое неожиданное затруднение подстерегало Моргота на дальнем конце площадки: контейнеры с упакованным оборудованием. Их было там больше пяти сотен, и стояли они не стройными рядами, а как попало, под немыслимыми углами друг к другу, громоздились в два и в три яруса, образуя запутанный лабиринт, в котором ничего не стоило заблудиться. Да, каждый рабочий мог знать, где стоит оборудование графитного цеха, но, наверное, никто на заводе, кроме избранных, не предполагал, в каких конкретно контейнерах его искать. Иголка в стоге сена...

— Вот, здесь, считай, треть завода, — сказал бригадир слесарей, широко поведя рукой.

Моргота от окончательного уныния спасли только шестизначные номера, нарисованные на контейнерах, — единственные надписи, хоть как-то обозначающие, что находилось внутри.

— Громин? — Антон смотрит на меня широко открытыми глазами и улыбается. — Да о чем тут говорить? Ничемное, но много о себе думающее существо. Слабак и пижон. Весь этот его внешний лоск ничего не значил, поверьте. А под ним пряталось нечто мелкое

и гаденькое, трусливое и себялюбивое. Да стоило на него чуть-чуть надавить, и его гнилая сущность тут же всплывала на поверхность!

Иуда... Я не испытываю даже ненависти — только презрение и желание наказать. Я чувствую обиду, как будто слова этого иуды оскорбляют отношение к Морготу маленького Кильки.

— У вас что, были причины так сильно Громина не любить? — интересуюсь я.

— Я не люблю тех, кто думает о себе слишком много. Я не люблю тех, кто что-то из себя изображает, не имея на это никаких оснований.

Я не спрашиваю, какие основания нужны для того, чтобы что-то из себя изображать.

— Еще на первом курсе мне все было про него ясно, — продолжает Антон, — у него папаша был какой-то шиш-пил в армии, без этого Громин бы никогда не поступил на эту специальность. И если бы он не гонялся на «формулах» в сборной университета, он бы не сдал ни одной сессии. Да он на экзамены шел, уверенный, что ему поставят оценку за красивые глаза!

— И как? Ставили?

— Если кто-то из профессоров случайно не ставил ему тройки с первого раза, то профессору в деканате разъясняли его ошибку: у нас любили спортсменов.

— Вы присутствовали при этом? Ну, при разъяснениях в деканате? — я посмеиваюсь про себя — мне все равно, за что Моргот получал оценки: за красивые ли глаза, за спортивные достижения или благодаря его отцу-полковнику.

— Зачем? Это и так все знали. Громин же никогда ничего не учил! И, между прочим, всегда получал стипендию — у него никогда не было больше одной тройки за сессию. Он и с Сенко дружил, потому что тот был отличником и писал конспекты.

— Зачем же Громину требовались конспекты, если он ничего не учил и оценки ему ставили за красивые глаза? — я не могу сдержать улыбки.

— Ну, иногда все же надо было знать хотя бы что-нибудь, — смешавшись, бормочет Антон.

— И все же: почему вы позвонили Виталису?

— Виталис позвонил мне и попросил свистнуть, когда Громин появится на горизонте. И я свистнул.

— Зачем? — спрашиваю я и не боюсь, что он уйдет и больше не вернется. Я вовсе не рад его приходу, напротив. Но он и не уходит. Они появляются не просто так, им это зачем-то нужно. Оправдаться ли? Искупить ли вину?

— А что, собственно, в этом плохого? — отвечает он вопросом на вопрос.

— А я пока не говорил, что в этом есть что-то плохое. Я спросил: зачем?

— Мне было любопытно на них посмотреть. Они всегда так забавно выясняли отношения!

— Не думаю, что это и есть причина, — я сжимаю губы. Он не уйдет. Он пришел сюда, чтобы ответить на этот вопрос.

— Я подумал тогда, что с Виталисом полезно дружить, — Антон морщит лицо, — я на самом деле думал, что этим могу купить его расположение.

— И как? Получилось?

— Ну, отчасти получилось.

— Виталис что, дал вам денег или помог в чем-нибудь?

— Нет, конечно. Я не просил денег, это совсем уж...

— Совсем? — я приподнимаюсь в кресле и смотрю ему в лицо не мигая. — Вы хоть на секунду представляли себе, в каком положении находится Виталис по отношению к Морготу? Вы что, эти пять лет от бомбежек до того дня прожили где-то за границей? Вы не поняли, как поменялся мир и кто в этом новом мире стал главным?

Он отлично знал, кто в этом мире стал главным. Именно это его и привлекло: не просто посмотреть на выяснение отношений, а посмотреть на выяснение отношений двух людей, один из которых стоит неизмеримо ниже другого и ничем от того, другого, не защищен. Он хотел посмотреть на Моргота без маски, он хотел подтвердить свое мнение о том, что прячется под внешним лоском. В отличие от Виталиса, Антон никогда не пытался вступать в открытый конфликт с Морготом, хотя считал себя и более сильным, и более правым. Да он никогда и не демонстрировал своего к Морготу отношения, он спокойно пил с ним и изображал из себя доброго приятеля.

— Но я же не думал, в самом деле, что они захотят его утопить...

— А что вы думали? Что они похлопают его по плечу? Погрозят пальцем?

— Ну, ничего же страшного не случилось... Да, утром я немного подергался. Но ведь все кончилось хорошо?

— Вы поэтому позвонили Кошеву во второй раз? Потому что в первый ничего не произошло?

— Я не звонил во второй раз! — кричит он. — Это неправда! Я не звонил во второй раз! Это не я!

Он пришел сюда, чтобы сказать именно это. Он хочет уверить меня в этом, и других целей у него нет. И пока он меня в этом не убедил, я могу изгаляться над ним, как моей душе угодно, — он никуда не уйдет.

— А кто? — безжалостно спрашиваю я.

— Я не знаю!

— Кто кроме вас и Сенко знал об этой встрече?

Моргот так и не сумел избавиться от общества бригадира слесарей и на следующий вечер решил снова появиться на площадке, только красить стулья больше не собирался. В разовом блокноте было не так мало чисел, но Морготу ни разу не встретились шестизначные. Однако столбик трехзначных навел его на кое-какие размышления, которые он и хотел проверить до одиннадцати вечера: чтобы не прошляпить появление собак на площадке, Моргот надел часы, что делал очень редко.

Ему казалось, два часа — это уйма времени. Однако, когда за час он не обошел и трети лабиринта контейнеров, плутая и выходя на одно и то же место, оптимизма у него поубавилось. Он так и не понял логики нумерации, контейнеры стояли в беспорядке, как придется, никакой системы в их расположении не было. Иногда попадались два номера подряд, но ни разу — больше двух. И первые тройки номеров не совпадали друг с другом, что навело Моргота на размышление: это не номера, это кодировка каких-то параметров, известных только тому, кто ее придумывал. Возможно, грамотный бухгалтер и мог бы с этим разобраться, но Моргот имел смутные представления о производственном учете, и цифры на контейнерах ни о чем ему не говорили.

Торчать на площадке до утра никак не входило в его планы, он начал нервничать, отчего запутался в контейнерах еще больше, вместо того чтобы подумать о том, как систематизировать информацию. Он, конечно, взял с собой записную книжку, но попытки составить план

расположения контейнеров ни к чему пока не привели: на это требовалось гораздо больше времени, чем два часа. Моргот и так каждую минуту смотрел на часы.

Контейнеры стояли в самом тихом месте завода, рабочие туда не забредали, но если кто-то случайно и проходил мимо, Моргот всегда мог уйти за угол. А когда солнце село, у него и вовсе появилось ощущение, что он один на весь завод, — долетавший до него шум цехов был не в счет.

За десять минут до означенного срока Моргот решил выбираться на проходную и подумать еще один день, прежде чем возвращаться на площадку снова: остаться тут на всю ночь с тем, чтобы продолжить исследование днем, показалось ему чересчур тяжелым испытанием, да и оделся он легко.

Площадка совсем обезлюдела, сумерки только начали сгущаться, и на территории не горело ни одного фонаря. А впрочем, зачем? Чтобы волкодавам было светлей? Моргот шел по прямой асфальтовой дорожке в сторону проходной, мимо цеха с большими окнами, сквозь копыт стекол которых пробивался зеленоватый свет. Он шел, как всегда, быстро и поглядывал на часы, которые показывали без пяти одиннадцать, когда впереди и чуть в стороне, у ворот мелькнул силуэт волкодава. Моргот остановился от неожиданности и снова посмотрел на часы: до этого ему не приходило в голову, насколько точные часы у охраны и насколько точно они следуют расписанию. А что если их часы спешат? Моргот попятился и увидел вторую собаку рядом с первой. Если бы он поспешил к проходной, то, наверное, успел бы выйти с завода — собак держали на поводках, — но их хозяйку в сумерках он не разглядел. Однако Моргот повернул к цеху, где работал накануне, в надежде, что ему откроют дверь: деваться было больше некуда. Сперва он побоялся привлечь внимание собак и шел осторожно, по занюханному газону вдоль стены. Этих-то двух минут и хватило охране, чтобы отпустить волкодавов, и когда Моргот пересекал открытое пространство между цехами, собаки его заметили.

Они не лаяли, но Моргот почувствовал их, оглянулся и понял, что даже если успеет добежать до двери, ее не успеют открыть. Он не размышлял особенно и выбрал направление исключительно исходя из ровного асфальта и хорошей видимости: к контейнерам. Да, бегал он

быстро, лучше многих, но тяжелые волкодавы оказались на поверку гораздо быстрее. Моргот не оглядывался, он научился чувствовать соперников спиной еще занимаясь легкой атлетикой, а дыхание собак, бежавших почему-то молча, позволяло очень точно определить расстояние, которое сокращалось гораздо быстрее, чем хотелось Морготу. За спиной когти клацали по асфальту, а потом раздался рык — глухой и грозный, несколько не напоминавший рычание собаки, скорее это был рык крупного хищника, открывающего пасть, а не показывающего передние зубы.

Убегать Морготу доводилось часто, но, пожалуй, никогда ситуация не представлялась ему столь безнадежной и столь опасной для жизни. До контейнеров оставалось не больше пятидесяти метров, когда он рванулся вперед из последних сил, но собаки все равно бежали быстрее, можно сказать, наступали на пятки, — всего метрах в трех позади него. Ему казалось, он видит их огромные, тяжелые прыжки, каждый из которых сокращает расстояние между ними.

В десяти метрах от ближайшего контейнера Моргот едва не споткнулся о выбоину в асфальте, и это чуть было не помешало ему сделать последний, решающий прыжок. Но он успел выпрямиться, последние шаги пролетел, не чуя под собой ног, подпрыгнул, цепляясь пальцами за край контейнера, и в мгновение ока оказался на крыше — зубы клацнули, прихватывая штанину, но сначала Моргот даже не разобрался, задела они ногу или нет.

Огромный пес попытался запрыгнуть наверх вслед за Морготом, и Моргот с ужасом вспомнил о том, что эта тварь может перепрыгнуть двухметровый забор. Ему некогда было рассуждать и загадывать, сможет собака залезть на крышу контейнера или нет, он и без того достаточно напугался, поэтому поспешил по крышам добраться до того места, где контейнеры стояли один на другом, и уже без всякого разбега, с трудом вскарабкался еще выше.

Несколько минут Моргот сидел на крыше, сложив ноги по-турецки, прихотил в себя и глубоко дышал, а обе собаки, нюхая ветер, рыскали между контейнеров в поисках ускользнувшей жертвы: Моргот сверху видел их отлично, стоило только чуть пригнуться в сторону. Сумерки сгущались, но ночь обещала быть ясной и довольно светлой.

Кровь на брючине он заметил только через четверть часа, но его довольство собственной быстротой, ловкостью и хитростью как раз достигло пика и привело в самое что ни на есть благодушное настроение; пережитый страх приятно бередил кровь легкой эйфорией, и Моргот воспринял обнаруженный собачий укус спокойно. И боли он почти не чувствовал, что прибавило ему оптимизма, — собачий клык оставил на щиколотке одну дырку, глубокую, но едва заметную снаружи, а вот джинсовую штанину рассек словно ножом, до самого низа.

Собаки продолжали бродить вокруг контейнеров, время от времени поднимая голову кверху, но Морготу хватило ума их не дразнить, хотя ему очень этого хотелось.

Мерзнуть он начал примерно через полчаса: ясная ночь не была холодной, но металлическая крыша тянула в себя тепло. Он прошелся по контейнеру туда-сюда, чтобы согреться, но это не помогло. Вот тогда ему и пришлось в голову нарисовать план расположения контейнеров, а потом пометить на нем их номера. В маленькой записной книжке — чтобы влезала в карман — ему пришлось изрисовать с десяток листов, которые он собирался склеить, добравшись до дома. И с номерами ему повезло: они были написаны белой краской сверху контейнеров, большими, жирными цифрами, и разве что не светились в темноте. Однако через два часа Моргота уже колотило от холода, и укус на щиколотке занял почти нестерпимо; иногда Моргот садился на крышу и, уткнувшись лицом в колени, переживал боль: чем больше он ходил и перепрыгивал с контейнера на контейнер, тем сильнее из ранки сочилась кровь, тем сильнее она болела, и тем сильнее он хромал. Макс бы непременно посмеялся над ним и назвал нытиком, но Макса рядом не было, и Моргот не очень-то изображал из себя раненого командира в строю. Одиночество и отсутствие зрителей, с одной стороны, позволяли ему расслабиться, но, с другой, мешали держать себя в руках: с каждой минутой он чувствовал себя все более несчастным. Кроме всего прочего, выспаться днем не удалось, и часам к трем ночи его сильно клонило в сон.

Он успел нарисовать план задолго до рассвета, но обнаружение контейнеров с номерами, найденными в розовом блокноте, радости ему уже не принесло: он слишком

продрог, слишком устал, хотел спать и мучился от боли. Хозяйка собак заметила его на крыше контейнера около семи утра — Моргот дремал, примостившись на краю, и собаки не отходили от него ни на шаг. Хозяйка забрала своих кровожадных волкодавов, позвала двоих охранников, которые притащили лестницу и помогли слезть вниз хромящему и стучащему зубами Морготу.

Никому и в голову не пришло, что он вор, а тем более — шпион. Да его никто даже не спросил, что он делал на площадке в одиннадцать вечера, напротив, усадили в будке охраны поближе к масляной батарее и налили горячего чая с коньяком. Хозяйка собак чувствовала себя виноватой, сокрушалась по поводу укуса, поднимала глаза к потолку и шептала то ли ругательства, то ли молитвы, представляя себе, что бы произошло, если бы Моргот не успел убежать от волкодавов.

Только при солнечном свете Моргот разглядел, что на щиколотке у него вовсе не маленькая дырочка, как показалось ему ночью, а существенная рваная рана, синяя, опухшая и все еще кровоточащая. Хозяйка волкодавов, набившая руку на укушенных ранах, сделала ему аккуратную повязку с какой-то мазью, которую, по ее словам, всегда носила с собой: Моргот был не первым и не последним пострадавшим от зубов ее питомцев. Зашивая ему джинсы, она рассказала несколько веселеньких историй, например о том, как кобеля поливали водой из шланга, чтобы оторвать от какого-то мужика.

Моргот вернулся в подвал рано, мы только что проснулись, скакали на кроватях и кидались подушками — была у нас такая традиция, если в подвале не ночевали ни Моргот, ни Салех. И конечно же, как это и бывает по закону подлости, подушка, пущенная Бубликом мне в голову, попала в Моргота, когда он только вошел в дверь, потому что я пригнулся.

— Ваще обалдел? — Моргот швырнул подушку обратно в Бублика, да с такой силой, что Бублик не удержался на ногах и плюхнулся на задницу, прижимая подушку к себе, словно вратарь, поймавший мяч в воротах.

— Ничего себе! — восторженно выдохнул Сия.

— Моргот, а когда нам можно будет гулять? — не в тему влез Первуня: одежду мы так и не отстирали, а в

спортивных штанах с вытянутыми коленками на улицу идти боялись — нам казалось, все сразу догадаются, что у нас нет нормальных брюк, и примут нас за беспризорников. Поэтому мы играли только на развалинах института, где никто нас не видел. Но мы опасались даже намекнуть Морготу на то, что нам надо купить брюки: по нашим меркам, это стоило довольно дорого.

— Хоть щас, — проворчал Моргот, — и чем быстрее, тем лучше.

— Моргот, ну как же мы без брюк будем гулять? — со свойственной ему простотой продолжил задавать вопросы Первуня.

— Как хотите, — Моргот направился в свою каморку, и только тогда мы заметили, как сильно он хромает.

Мы только-только умылись, когда в подвал пришел Макс.

— Непобедимы! — радостно заорали мы хором в ответ на его приветствие — на этот раз чуть более осмысленно, поскольку успели прочитать две книжки про героев войны и чувствовали некоторую причастность к судьбам страны.

Моргот не выскочил к нам немедленно, как это бывало обычно, и Макс сам распахнул дверь к нему в каморку.

— Вставай, герой!

— Пошел к черту, — сонно проворчал Моргот.

— Вставай, говорю, — Макс улыбался во весь рот. — Я через два часа уезжаю.

— Наконец-то. Надеюсь, надолго...

— Я завтра вернусь.

Моргот сел на кровати.

— Макс, ну какого черта, а? Я не спал две ночи. Я же сказал, чтобы ты приходил вечером. Чего тебя с утра пораньше-то принесло? У меня башка раскалывается.

— Да ну? А чего тогда повязка на ноге? Сползла?

— Сползла... Если бы ты видел чудовище, которое хватануло меня за ногу, ты бы не смеялся.

— Чудовище звали Шариком? — продолжил издеваться Макс.

— Сам ты... Шарик... — Моргот встал и натянул брюки. — Ну иди, чайник включай, раз уж приперся.

— Я лучше телевизор включу, — Макс подмигнул Морготу, — сейчас новости будут.

— Опять взорвали три вагона со стратегическим сырьем — древесиной?

The game is on again,
A lover or a friend,
A big thing or a small,
The winner takes it all¹.

*Из записной книжки Моргота. По всей
видимости, Морготу не принадлежит*

Сенко мне нравится: он не производит впечатления интеллектуала-отличника-технаря, каким я его себе представлял. Напротив, он больше похож на рабочего с плаката времен Лунича — прямоугольное лицо с тяжелой челюстью, прямой взгляд и широкие ладони. Он единственный из всех, придя, осмотрелся по сторонам; он долго разглядывал меня, прежде чем заговорить. Он единственный (не считая Моргота) не отказался от коньяка, но за все время нашего разговора не выпил ни капли, лишь мучил широкую рюмку в больших грубых руках, едва не переломив ей ножку; иногда нюхал коньяк, иногда делал вид, что его пригубил.

— Я почему-то всегда жалел Громина. Он был заложником каких-то странных комплексов, выдуманых им самим правил. Он каждую секунду оглядывался: что про него скажут или подумают? И при этом не боялся выглядеть подлецом. Я никак не мог понять, что он пытается из себя изобразить, что за извращенное представление о человеке вбито ему в голову и кем? Например, он тщательно скрывал от всех однокурсников, сколько времени тратит на учебу. По-моему, он сам придумал версию о том, что сдает сессии лучше многих, потому что за него всегда заступает кафедра физвоспитания. А сам приезжал ко мне дня за два до экзамена и корпел над моими конспектами по сорок-пятьдесят часов подряд, не отрываясь, не отдыхая, без еды и сна. Но если кто-то из наших заходил ко мне в это время, он всегда делал вид, что зашел ко мне выпить и поболтать, и так искусно, что я сам иногда в это верил. Он никогда ничего не спрашивал, хотя все знали: я с удовольствием объяснял другим то, что понял сам. Нет, Громин не унижался до такой степени, он и конспектами-то моими пользовался, испытывая неловкость, — то есть был нарочито груб и изображал полное равнодушие. Он не любил быть должником, и если не мог «погасить долг» сразу, то попросту его игнорировал.

¹ Игра начинается снова. Любимого или друга, большое или малое — победитель забирает все.

Я усмехаюсь: Сенко подметил это довольно точно.

— У него была какая-то ненормальная, непомерная потребность в независимости. И если он не мог этой независимости добиться, он ее изображал. Его, кстати, несколько раз едва не выгоняли из сборной университета: он ездил как хотел и не признавал никаких правил. Но ездил он действительно отлично; я думаю, если бы во времена Луничы мы не жили в изоляции, Громин мог бы добиться на этом поприще гораздо больших результатов. У нас же не было таких болидов, как в настоящей «Формуле», и наши доморощенные соревнования никто в мире всерьез не воспринимал. Но Громин был гонщиком от природы. Мы же ходили на соревнования, видели. Однажды мне довелось встречать его у финиша: он взял какой-то очередной кубок, мы тогда толпой кинулись его поздравлять — обычно посторонних не пускали, а тут все оказалось открытым. Он вылезает из машины, снимает шлем, а у него пот льется по лицу ручьями, губы белые и руки трясутся. А глаза — как у наркомана, сумасшедшие глаза, блестят и не мигают... — Сенко замолкает, снова оглядывается по сторонам, и я спешу продолжить:

— А почему он перестал заниматься гонками, когда открылись границы?

— Я не понял. Ему тренер предлагал уехать, он пришел тогда ко мне, напился до чертиков и все говорил, что мальчиком, который приносит теннисистам мячики, не будет даже за большие деньги. Он был очень, очень тщеславен, но не в плохом смысле, скорей — болезненно тщеславен, и страдал от этого только он сам. Я думаю, ему предложили что-то не вполне достойное — с его точки зрения. Здесь он был победителем, а там до конца жизни крутился бы на вторых ролях. С другой стороны, там надо было пахать и прогибаться, чтобы пробиться даже на эти вторые роли, а здесь он числился любителем и тратил на это столько времени, сколько считал нужным. А потом все как-то завяло, в одночасье... Какие гонки, какие болиды, когда жрать нечего?

Мамы Стаси как раз не оказалось дома — Моргот не знал, хорошо это или плохо, его на самом деле с каждым днем все сильнее утомляло общение с секретаршей Лео Кошева.

— Ты хромаешь? — едва не с порога спросила она.

— Поранился случайно, — Моргот не собирался рассказывать ей о посещении юго-западной площадки.

Но, увидев повязку на ноге, Стася загорелась желанием оказать ему медицинскую помощь — почему-то женщины всегда стремились к этому, даже когда повод для этого был слишком мал. Моргот ненавидел любые перевязки и хотел послать ее подальше, но она оказалась чересчур настойчивой, чтобы его сопротивление выглядело естественным.

Надо отдать ей должное, Стася была нежна и аккуратна, каждую секунду спрашивала, не больно ли ему, и отдергивала руки, стоило только Морготу сжать кулаки. А ему дорого стоило не засветить ей пяткой в лицо, когда она отрывала присохшую марлю от раны: он действительно не мог терпеть боль и предпочел бы отсутствие перевязок до полного выздоровления.

— Это... это пуля?.. — задохнувшись, спросила она.

Моргот едва не расхохотался, но промолчал, отводя глаза в сторону. Конечно, всякое бывает, но для пули весьма затейливая траектория...

Нежность ее в этот вечер превзошла всякие границы, даже слегка развеяла ее природную холодность. Моргот тискал в руках ее щуплое тельце и целовал большие, чувственные губы — единственную чувственную часть ее тела, — когда раздался звонок в дверь.

— Ой! — Стася подпрыгнула и машинально одернула приподнявшуюся кофточку. — Я никого не жду...

— Ну и не открывай, — равнодушно пожал плечами Моргот.

— Что ты! А вдруг что-то случилось? Может, это соседи? А может, от мамы?

— Телефона, что ли, нет? — проворчал Моргот, выпуская ее из рук.

Но это были не соседи. Стася распахнула дверь, не спрашивая, кто там (хотя, наверное, мама учила ее интересоваться этим перед тем, как впустить незнакомцев в дом).

— Виталис? — Стася отступила от двери, и Моргот скрипнул зубами.

— Привет, сестренка. Надеюсь, ты мне рада?

Моргот посчитал необходимым выйти в прихожую, чтобы дать понять Кошеву, насколько «сестренка» рада

появлению «братишки». На его несчастье, Кошев пришел не один, а в компании известной в узких кругах поэтессы, которую Моргот видеть здесь (как и в любом другом месте) совсем не хотел.

— Громин! — радостно завопил Кошев. — И ты здесь! Какая встреча! Вечер становится интересным!

— Действительно, — вполголоса сказала поэтесса, смежив взглядом сначала Стасю, а потом Моргота.

Стася посмотрела на него извиняясь: выгнать Кошева ей не позволяло воспитание, а вовсе не зависимость от его отца.

— Проходите, — пролепетала она, уступая гостям дорогу в единственную комнату.

Кошев снял ботинки в прихожей, и сделал это демонстративно, сопровождая процесс еле слышными комментариями вроде: «У Стасеньки тут чисто, а домработниц нет» и поглядывая при этом на босые ноги Моргота. Поэтесса туфель снимать не стала и первой прошла в комнату: взгляд ее тут же отметил и помятую постель, и накрытый на двоих стол.

— Зная Стасенькину скромность, я принес только бутылку вина и немного фруктов, — Кошев сказал это Морготу. — Ты любишь фрукты, Громин?

— Еще как, — ответил Моргот, разваливаясь на стуле с видом хозяина.

— А я фрукты не люблю, — сказала Стела, изящно опускаясь на Стасино место и доставая из футляра свой длинный мундштук.

— Бутерброд с сарделькой не желаешь? — спросил у нее Моргот. — Отличные сардельки, сочные.

— Спасибо, нет, — поэтесса легко улыбнулась и подмигнула ему.

Кошев поставил бутылку вина на стол и сунул Стасе в руки пакет с фруктами.

— Я сейчас, — Стася покрутила головой в поисках, куда бы его деть, — надо, наверное, достать бокалы...

— Стасенька, бокалы я достану сам, — сказал ей Кошев, — ты помой фрукты и выложи их куда-нибудь.

— Хорошо, — вздохнула она и с подозрением посмотрела на поэтессу.

Стела дождалась, когда Стася выйдет на кухню и включит воду, и сочувственно покачала головой.

— Бедняжка... До чего же страшенькая! На лягушечку похожа.

— Это ты о гостеприимной хозяйке дома? — Моргот с ухмылкой чуть пригнулся в ее сторону. Ей нравилась развязность и грубость, ей нравилось ощущать его превосходство и легкое презрение. Ей даже нравилось ревновать его к Стасе, это придавало ее интересу пикантность, окрашивало его в более яркий цвет. И Морготу все это играло на руку — вырлиться из созданной Кошевым ситуации и никого из двух не оттолкнуть.

— О ком же еще? — поэтесса невозмутимо пожалала плечами и сделала загадочное лицо.

— Вот они, бокальчики... — Кошев звякнул стеклом серванта за спиной у Моргота. — Нашлись! Громин, тебе правда нравится Стасенька?

— Очень, — кивнул Моргот.

— Я боюсь в это поверить, — Кошев жестом опытного бармена поставил на стол четыре бокала.

— А ты не бойся, это не страшно, — усмехнулся Моргот.

— Совсем не страшно? — Кошев продолжал стоять, глядя на Моргота сверху вниз. — Наверное, купаться по ночам гораздо страшней? Или бегать босиком по темному лесу? А?

— Кому как, — Моргот хотел положить ноги на соседний стул, но тут же вспомнил о ране на щиколотке и закинул ногу на ногу.

Стася принесла фрукты в большой глубокой тарелке, навевающей воспоминания о заводских столовых и коммуналках.

— Ты загадочный человек, Громин, — Кошев элегантно подхватил тарелку с фруктами на три пальца и приподнял над головой. — Сволочь, конечно, но мне с тобой так интересно! Расскажи мне что-нибудь.

— Тебе о Лунице или о нынешней экономической ситуации в стране?

— Нет... — Кошев водрузил фрукты в центр стола, и лицо его приобрело романтическое выражение. — Сегодня мне хочется говорить о любви...

— Кошев, я тебя не люблю, ты же знаешь, — хмыкнул Моргот. — Мне, как ни странно, больше нравятся женщины. Так что о любви тебе придется поговорить с кем-нибудь другим.

— Да! — воскликнул Кошев, приподнимая палец. — Именно! Женщины! Громин, тебе нравятся все женщины без исключения?

Стася присела на край стула между Морготом и Стелой.

— В определенном возрастном промежутке, — кивнул Моргот.

— Прекрасно! Это прекрасно, — Кошев закатил глаза.

— Я, пожалуй, сяду поближе к окну, — сказала Стела с милой улыбкой, — у меня крепкие сигареты.

Стол был круглым, и, пересев, она оказалась с другой стороны от Моргота.

Стася не возразила, хотя была противницей курения в квартире, даже перед открытым окном. Впрочем, Моргот всегда курил в комнате, стряхивая пепел в блюдечко.

— Стасенька, ты не принесешь штопор? — Кошев приобнял ее за плечо и поцеловал в макушку. — Я думаю, нам надо выпить вина, чтобы разговор стал еще более непринужденным.

— Дай-ка сюда, — Моргот протянул руку к бутылке и знаком показал Стасе, чтобы та оставалась на месте.

— Пожалуйста-пожалуйста! — расплылся Кошев. — Только учти, это хорошее вино и настоящая пробка, не надо заталкивать ее внутрь.

Моргот смерил его взглядом, положил бутылку на стол и как следует крутанул.

— Ой! Громин! Мы играем в бутылочку? — Кошев наконец сел за стол между Стасей и Стелой и подпер подбородок ладонью. — Неужели только начало разговора о любви настроило тебя на столь романтические подвижки?

— Как-то это не остроумно, — Моргот раскрутил бутылку в другую сторону.

— Ну, не всем же быть такими острыми и умными, как ты!

— Конечно, не всем, — согласился Моргот, взял бутылку в руки и с силой ударил по донышку. Пробка вылетела с хлопком, словно это было шампанское.

Демонстрировать навыки опытного дворецкого Моргот не стал и передал открытую бутылку Кошеву. Трюку с пробкой он научился у отца — тот любил показывать

этот фокус гостям; Морготу же это умение пригодилось в школе, когда они с Максом только начинали пить бормотуху в подворотнях.

— Bravo, Громин, и снова — bravo! — Кошев развел руками, едва не пролив вино. — Мне надо брать у тебя уроки. Ты одинаково хорошо владеешь как риторикой, так и искусством любви, а теперь еще выясняется, что ты непревзойденный мастер справляться с бытовыми проблемами! Наверное, ты и машину без ключа можешь завести с такой же легкостью?

Про искусство любви Стася не поняла, хотя Кошев сказал это для нее: цели Кошева Морготу стали ясны с самого начала. Он не только подозревает, куда подевался его розовый блокнот, он чувствует, куда дует ветер и зачем Моргот встречается с секретаршей его отца. Но он ничего не может доказать! Конечно, Моргот с радостью кинул бы ему намек на скупку акций, на контейнеры на юго-западной площадке — только чтобы посмотреть на лицо Кошева и на несколько минут почувствовать себя победителем. Но он понимал, что за такие знания убивают. И если Кошев до сих пор не натравил на него никого посерьезней своих знакомых мордovorотов, то только потому, что сам боится «покупателей»: блокнотика с записями, к тому же потерянного, ему не простят.

Так что Кошеву оставалось только удалить Моргота от источника дополнительной информации, а заодно подстраховаться: вдруг Стася что-нибудь сообщит его отцу раньше времени?

— Я? Машину без ключа? Да что ты, Кошев? — Моргот укоризненно покачал головой. — Я же не уголовник какой, я воспитанный молодой человек из хорошей семьи.

Он подхватил бокал с вином и отхлебнул, смакуя вкус.

— Хорошее вино, Кошев.

— Заметь, при Луниче такое вино пили только избранные.

— А сейчас, можно подумать, его пьют в каждой семье по воскресеньям... — проворчал Моргот.

— Ну, сейчас любой может пойти в магазин и его купить!

— Очередь не стоит, нет?

— Громин, ты опять за свое! Здоровый рынок избавил нас от очередей!

— Да уж конечно. Если полстраны лишить денег на покупки, а вторую половину поставить за прилавок, даже не знаю, какой из двух половин будет веселей.

— Ну, мы-то с тобой не скучаем, верно? — миролюбиво заметил Кошев и приподнял пустую баночку из-под крабов, которую принес Моргот. — Я смотрю, ты тоже не бутерброды с сардельками здесь жевал.

— А я, Кошев, не скучаю никогда, — Моргот ослабил-ся и глотнул еще вина.

— Я заметил, — кивнул Кошев, следуя его примеру. — Действительно, прекрасное вино. Пей, Стасенька, не стесняйся. Я еще куплю, если надо.

— Так мы будем говорить о любви или нет? — томно спросила поэтесса, выдыхая дым в центр стола.

— А что вы называете любовью? — неожиданно спросила Стася — слишком твердо и вызывающе для гостеприимной хозяйки. Прозвучало это скорее как «что вы понимаете в любви?».

— О... — протянула Стела. — У меня есть одно стихотворение об этом, но я не люблю читать свои стихи вслух.

— Что, все над ними смеются? — спросил Моргот.

— Нет, они не всем доступны для понимания. На слух. Есть вещи, которые не предназначены для аудитории, с ними надо побыть наедине, вчитаться, чтобы ими проникнуться.

— А... — мечтательно кивнул Моргот. — Тогда конечно. Надо будет дома потренироваться — побыть наедине со стихами, чтобы проникнуться, так сказать...

— Ты циник, — снисходительно улыбнулась поэтесса.

— Я? Да ну что ты.

— Мы о любви, Стела, — вмешался Кошев. — Итак, что ты называешь любовью, моя красавица?

— Это провокационный вопрос, я не стану отвечать на него первая.

— Ну, — обиженно скривился Кошев, — так неинтересно. Стасенька, и ты тоже не станешь?

Моргот поднялся и, стараясь не хромать, подошел к книжному шкафу, где на нижней полке стоял нестройный ряд толстых словарей.

— У меня есть картина, — Стася заметно покраснела и посмотрела на Моргота, — я ее покажу...

Моргот хотел ей посоветовать не метать бисер перед свиньями, но она быстро встала и вышла из комнаты — ее

картины хранились в кладовке, она никогда не вешала их на стены. Моргот тем временем вытащил с полки увесистый том толкового словаря и, демонстративно посплюнув палец, начал с шумом листать страницы. Найденное привело его в восторг.

— Вот! Почитаем первоисточник. Если читать первоисточники, не будет никаких проблем и непонимания. Итак. Любовь... «Чувство привязанности, основанное на общности интересов, идеалов, на готовности отдать свои силы общему делу». Как вам? А? По-моему, исчерпывающе.

— Громин! — захихикал Кошев. — Посмотри, автор словаря случайно не Лунич?

— Да нет... — Моргот заглянул на титульную страницу, — академик какой-то...

— Выбери другой словарь, — улыбнулась Стела, — времена изменились.

— Да ну? А я и не заметил. Только сдается мне, что со времен Лунича не было издано ни одного толкового словаря. Кроме бизнес-энциклопедий, разумеется. Может, поискать любовь в бизнес-энциклопедии?

Кошев попросил у Стелы прикурить — сегодня у него были свои сигареты, тоже длинные и тонкие, как у Моргота, но слабые, с белым фильтром. Как водится, зажигалку он потащил себе в карман, но Стела вовремя поймала его за руку — Кошев ничуть не смутился и зажигалку вернул.

Стася вошла в комнату, прижимая к груди картину в простенькой деревянной рамке — лицом к себе.

— Вот, — она остановилась на пороге, — я принесла...

Моргот ни разу не просил ее показать, что она рисует: не хотел попасть в дурацкое положение, в котором придется изобразить восторг. Наверное, это было бестактно с его стороны, но он обрадовался, когда его первый приход в эту квартиру не стал посещением выставки молодой талантливой художницы Стаси Серпенки.

Он и теперь испытывал неловкость, приготовился задержать дыхание и тихо ахнуть от восхищения — и сделать это так, чтобы поддержать роль, которую уже принял на себя и выходить из которой не хотел.

— Показывай скорей, — сказал Кошев и развернулся к ней вместе со стулом.

— Да, хотелось бы взглянуть, — поджав губы, поддержала его поэтесса.

Моргот, не выпуская из рук открытого словаря, сделал вид, что с нетерпением ждет демонстрации.

— Я назвала ее «Эпилог», — Стася порозовела еще сильнее, — но это о любви...

Морская пена в лучах восходящего солнца неопытными пятнами расходилась по водной глади. И полупрозрачные руки со скрюченными пальцами вовсе не тянулись к небу — они хватались за воздух. Вместо светлой печали сказки с плохим концом безобразие смерти выпячивало себя из формальной романтики. Моргот не любил живописи, тем более доморощенной, хотя и неплохо разбирался в ней. За всю жизнь он видел не больше десятка картин, от которых ему долго не хотелось отводить глаз, которые трогали натянутые струны в глубине души. Стасино полотно коротко дернуло эти струны, едва не оборвав. Словно в ее предвидении он увидел свою собственную смерть — совсем другую, легкую и блестящую. Мысли о смерти завораживали его, в них он находил странное удовлетворение. Но, глядя на эту картину, почувствовал страх.

— Очень, очень недурно, — с видом знатока кивнул Кошев. — Ты выставляла ее где-нибудь?

Стася покачала головой.

— Напрасно, девочка моя, — укоризненно сказал Кошев, — я думаю, ее можно дорого продать.

— Правда? — Стася подняла брови.

— Я поговорю, — Кошев снисходительно улыбнулся. — Как тебе, Стела?

Поэтесса пожала плечами.

— В общем, неплохо. Конечно, есть недочеты, но мне не хочется заострять на них внимание. Конечно, тематика неожиданная, ассоциации неясные, аллюзии не просматриваются, но в целом...

— Эх ты загнула... — Моргот вернулся к столу и взгромоздил словарь перед собой. — Я бы так не смог.

Стася стояла посреди комнаты с картиной в руках и как будто не знала, что делать дальше, но Кошев пришел ей на помощь:

— Поставь на сервант. Мы будем говорить о любви и смотреть на твою картину.

— Может быть, мне ее унести? — спросила она неуверенно.

— Ни в коем случае! — Кошев поднял палец. — Должно же быть в этой комнате что-то прекрасное! Кроме дам, конечно!

Стася неохотно послушалась его и села за стол — как всегда, на краешек стула.

— Давайте выпьем за Стасенькин успех, — Кошев поднял бокал.

Моргот вдруг почувствовал, что ему хочется оглянуться. Как будто кто-то смотрел ему в спину, прожигая ее взглядом. Ощущение было не столько неприятное, сколько дразнящее, будоражащее.

— Мы говорили о любви, — напомнила Стела, забывая в мундштук новую сигарету.

— Да, — подхватил Моргот, подсматривая в словарь. — Итак, чувство привязанности, основанное на общности интересов, идеалов, на готовности отдать свои силы общему делу. Кто-то хочет возразить уважаемому академику?

— Не смей меня, Громин! — захихикал Кошев.

— А что же ты увидел в этом смешного? — Стася посмотрела на него, подняв брови. — Разве в этом есть что-то плохое? В общности интересов и идеалов?

— Ну, для морального облика строителя коммунизма это очень подходяще, — скривилась поэтесса. — Как у Веры Палны... Но, насколько мне известно, общность интересов не помогла ей спать с мужем в одной постели.

— Но ведь не в этом счастье! — искренне сказала Стася.

— А в чем? В готовности отдать свои силы общему делу? — снисходительно усмехнулась Стела.

— А почему же нет? Ведь общим делом может быть воспитание детей, например.

— А вы, милочка, знаете, откуда берутся дети? Если спать в разных комнатах, никаких детей не будет! — поэтесса снова выдохнула дым на середину стола.

Моргот не мог избавиться от ощущения взгляда в спину, оно мешало и походило на зуд, ему мучительно хотелось оглянуться и понять, что его тревожит.

— Я не стану говорить об интимном, — Стася вскинула на нее глаза, — это не подлежит обсуждению.

— Девочки! Не будем ссориться! — погрозил пальцем Кошев. — Стасенька скромна, Стела раскованна. Давайте отодвинем в сторону постельные вопросы и поговорим о чувствах. Громин, поддержи меня, скажи что-нибудь о чувствах.

— О чувствах? — Моргот закатил глаза. — Чувство голода, чувство страха, чувство локтя... А? Тебе о чем?

— О чувстве локтя, — кивнул Кошев. — Твои локти чувствуют присутствие с двух сторон от тебя двух прекрасных женщин?

— Ну, если пошире разложить локти на столе...

— Я завидую тебе, Громин... — покачал головой Кошев.

— Да ладно, ты тоже можешь разложить локти пошире.

— Не поможет. Посмотри, эти две пташки так к тебе и льнут. К тому же ты спал с ними обеими, а я, можно сказать, всего лишь держал свечку.

Стася откинулась назад, как будто Кошев ее ударил, и первым желанием Моргота было ударить его в ответ. Но дать Кошеву в морду он считал делом непростым, тем более что когда-то пробовал это делать не раз и не два. Гоняться за ним по квартире, чтобы в итоге спустить с лестницы, представлялось Морготу слишком драматичной развязкой. Он машинально оглянулся — он давно этого хотел, — но не увидел за спиной ничего, кроме картины под названием «Эпилог». А, собственно, чего он ожидал? Разве Кошев пришел сюда не для этого?

— И как? Тебе понравилось? — спросил Моргот еще не угрожающе, но уже сжав зубы. — Держать свечку?

Он затыкнулся и затушил окурочек в блюдечке.

— Громин, право, ну что ты лезешь в бутылку? — как ни в чем не бывало улыбнулся Кошев. — Я всего лишь признаю за тобой первенство.

Лицо Стаси оставалось бледным и неподвижным.

— Действительно, Моргот, — встряла поэтесса. — Что он такого сказал?

На нее Моргот даже не взглянул — она пришла сюда, чтобы посмотреть именно на эту сцену, и, пожалуй, испытывала настоящий триумф. Вряд ли Стела надеялась таким образом ему отомстить или расстроить его отношения со Стасей, ей хватало ума понять, чего эти

отношения стоят для Моргота и насколько быстро он отболтается. Она хотела ущипнуть «соперницу» побольней, только и всего. И теперь наслаждалась тем, как это замечательно удалось сделать.

— Мое первенство и без тебя ни у кого сомнений не вызывает, — ответил Моргот, выбивая из пачки новую сигарету. — Ты же сам ничего не можешь. За тебя все время работает кто-то другой. То милиция, то военная полиция, то фашиствующие мордovorоты. Так на что же ты надеешься? Ничего, кроме как держать свечку, тебе не остается.

Моргот кинул сигарету в зубы и прикурил.

— Громин, ну не надо только изображать благородного, но обиженного мною героя! — засмеялся Кошев. — Я вовсе не собирался сталкивать тебя и Алекса! Мне показалось забавным, как он на это посмотрит. Алекс же круглый дурак, и ему вообще ничего не светит! Стела, я правильно говорю? Разве тебе может нравиться этот болван?

— Какая разница? — загадочно пожала плечами поэтесса и еле заметно улыбнулась.

— Кошев, что-то подсказывает мне, что ты вовсе не такой идиот, каким пытаешься прикинуться, — Моргот снова проигнорировал присутствие Стелы — ей подобное пренебрежение должно было понравиться. — Я бы с удовольствием дал тебе по зубам, но боюсь промахнуться.

— Не такой ты герой, каким кажешься, — лицо Кошева стало добрым и снисходительным. — Не понимаю, почему ты не захотел дать по зубам Алексу... Убежал, бросил друзей, заставил их волноваться... Даже не обулся! Признайся, Громин, ты просто струсил. Ну, подумай, застучали тебя в объятьях очаровательной поэтессы! Что тут такого? Надо гордиться собственным успехом у женщин. А ты сбежал... Неромантично.

Неожиданно Стася поднялась с места, не дав Морготу ответить. Кулаки ее сжимались так сильно, что руки не касались тела, лицо чуть порозовело, а глаза смотрели в пол.

— Уйдите все. Немедленно. Сейчас же.

— Стасенька, мы тебя чем-то обидели? — невинно осведомился Кошев. Она подняла на него глаза, и

Кошев тут же встал: — Все понятно. Мы уходим. Громин, ты слышал? Тебя это тоже касается.

Моргот решил, что немедленное выяснение отношений со Стасей ничего не даст, надо подождать, пока она придет в себя, успеет придумать ему оправдания и соскучиться. Он снова оглянулся через плечо, и опять взгляд его наткнулся на ее картину.

— Я позвоню тебе завтра, — сказал он, поднимаясь с места.

На Моргота Стася не посмотрела, только покачала головой. Ничего другого он не ожидал, и не очень-то расстроился, и не сильно спешил, шнуруя кеды в прихожей.

Мимо него с видом победительницы прошествовала поэтесса, стуча шпильками по затертому линолеуму; Кошев долго возился с замком, но только для того, чтобы вежливо пропустить Моргота вперед. Наверное, в чем-то Виталис был прав, потому что Моргот подумывал, не дать ли ему по зубам на лестнице, но Кошев спустился вниз, отставая на три-четыре ступеньки: видимо, ждал от Моргота подвоха.

— А что подумал Кролик, никто не узнал, — сказал Моргот, открывая дверь во двор, — потому что он был очень воспитанный.

Оказавшись на улице, он хотел свернуть в другую сторону, оставив парочку наедине, но Кошев начал ныть, что пьяным за руль не сядет, что надо позвонить домой и вызвать шофера. На этот случай у него имелся тяжелый черный радиотелефон — большая в те времена редкость и роскошь. Стела не хотела никого ждать и догнала Моргота, который остановился за углом в надежде поймать машину.

— Ты не подвезешь меня до дома? — спросила она, сладко улыбаясь.

Моргот фыркнул и смерил ее взглядом.

Надо сказать, ночь в ее постели он провел восхитительно.

Мы шли на вещевой рынок, едва поспевая за Морготом, который всю дорогу ворчал о том, что хочет спать, что мы навязались на его шею и что шмоток на нас не нападется. Мы, конечно, опускали головы и прятали довольные улыбки: для нас такие походы были редкостью и

вызывали радость. То ли я научился ценить вещи, то ли Бублик заражал меня своим праздничным настроем.

Моргот заметно прихрамывал, но это не мешало ему идти быстро. На рынке, конечно, толпилось много людей, и мы боялись потеряться.

— Первуня! — Бублик взял его за руку. — Если потеряешься, иди к выходу, понял? Я тебя там найду.

Первуня кивнул и вцепился в Бублика мертвой хваткой. Моргот, не оглядываясь на нас, нырнул в толпу, уверенно маневрируя между тетками, глазевшими на развешанные вокруг кофточки и лифчики. Я на всякий случай одной рукой взялся за рубаху Бублика, а другую протянул Силе. Бублик, когда-то промышлявший на рынке мелким воровством, чувствовал себя не менее уверенно, чем Моргот. Чуть дальше от входа толпа немного поредела, и Моргот остановился у первого попавшегося лотка с джинсами. Мы уткнулись ему в спину и попытались просунуть головы сквозь стоявших вокруг покупателей. Моргот потрогал одну из штанин и спросил:

— Сколько?

— Триста!

Моргот ни слова ни говоря направился дальше, а хозяин лотка закричал ему вслед что-то про двести пятьдесят.

— Моргот, это ж нормально, за двести пятьдесят! — не удержался Бублик.

— Иди в задницу, — коротко ответил Моргот и остановился у следующего лотка, на этот раз изучая тряпку с большим вниманием. Потом взял джинсы в руки, посмотрел на швы изнутри, потрогал подбивку внизу.

— Сколько?

— Тысяча.

— Если найдешь джинсы на четверых, возьму по восемьсот.

— По девятьсот, идет?

— Как хочешь, — Моргот двинулся дальше.

— Эй, ладно, я согласен!

Моргот не оглянулся и не остановился. Мы не поняли ничего: ни почему он не стал торговаться, ни почему решил взять джинсы дороже — мы не видели разницы между джинсами за двести пятьдесят и за тысячу.

Следующий лоток Моргот искал долго, но все же нашел. Его хозяйка — толстая, румяная тетка — оказалась проникательней, без разговоров согласилась на восемьсот и принялась рыться в своих баулах, поглядывая на нас.

— Вот, самые маленькие. Иди сюда, детка, будем примерять! — она сладко улыбнулась Первуне. Первуня вопросительно посмотрел на Бублика, а потом на Моргота.

— Ну чё встал? Давай лезь! — подтолкнул его Моргот. — Никто тебя не съест.

— Сейчас я разберу тут... — тетка кинулась расчищать проход.

— Не надо, — поморщился Моргот, подхватил Первуню под мышки и перекинул через прилавок.

То ли тетка почувствовала в Первуне сиротку, то ли ее умилил его вид, как всегда жалкий и трогательный, но она едва ли не облизала его с головы до ног, называя «деточкой» и «хорошеньким мальчиком». Первуня таял и жмурил глаза. Третьи по счету джинсы Моргот одобрил, тем же макарон закинул за прилавок Силю и вытащил Первуню к нам.

— Это ваши братья? — спросила тетка, прикладывая джинсы к животу Сили.

Тогда я не понял, почему по лицу Моргота прошла судорога, — губы его болезненно дернулись, по скулам прокатились желваки, — но уже через секунду он равнодушно кивнул.

Бублик запрыгнул за прилавок сам — глаза его светились гордостью. Говорят, человек быстро привыкает к хорошему, но, похоже, Бублик так и не привык быть на рынке покупателем и чувствовал собственную важность в ответственный момент примерки.

Мы втроем смотрели на Бублика, когда он, натянув новые штаны, крутился перед хозяйкой лотка. А потом — это произошло одновременно — Моргот дернулся, а Бублик выкинул вперед указательный палец и крикнул:

— Моргот! Сзади!

Мы оглянулись втроем и от испуга едва не отпрыгнули в стороны: Моргот крепко держал за запястье парня лет четырнадцати, который сжимал в кулаке

скомканные деньги. Впрочем, деньги он тут же отбросил под ноги.

— Сияя, деньги подбери, — спокойно велел Моргот.

Он всегда носил деньги в заднем кармане брюк. Все деньги, которые брал с собой.

— Дяденька, пусти, я больше не буду, — парень фальшиво скривился, изображая слезы.

Мне четырнадцатилетний подросток тогда казался почти взрослым, и его притворные слезы не вызвали ничего, кроме удивления, смешанного с гадливостью.

— Вор! Ворюга! — заорала вдруг хозяйка лотка, показывая на парня пальцем, и от ее крика толпа сначала расступилась, а потом начала прибывать. Из-за своего прилавка выскочил ее сосед, торгующий женскими туфлями, два крепких мужичка пробились сквозь толпу вперед, и намеренья их не сулили паренюк ничего хорошего. Со всех сторон неслось то тихое, то громкое и возмущенное: «Вора поймали». Кто-то еще, расталкивая зевак, двигался в нашу сторону, а Моргот все держал парня за руку, и тот канючил:

— Дяденька, я больше не буду...

— Какой я тебе дяденька, ублюдок?

Я на секунду глянул на Бублика: все мы знали, как он попал в подвал к Морготу и Салеху, как его, девятилетнего, едва не убили на рынке за украденную сотню и как Салех героически спас его от расสวิрепевшей толпы.

Бублик стоял раскрыв рот и так и не опускал руку с выставленным вперед указательным пальцем. Он не просто испугался — он побледнел до синевы, губы его тряслись, и в уголке рта появилась блестящая капля слюны.

Я описываю это долго, но на самом деле все произошло за считанные секунды. Хозяин соседнего лотка еще не успел приблизиться к нам с криком «ворье!», когда кто-то из толпы ухватил парня за другую руку, разворачивая к себе лицом.

— Ворюга!

Кулак здорового мужика был нацелен парнишке в лицо, когда Моргот дернул того к себе, выставляя блок.

— Охренели? — рявкнул он.

— Ты чего? Сам охренел! — хозяин лотка попытался толкнуть Моргота. — Вора защищаешь?

— Да он его сообщник! — вякнул кто-то из толпы. — Детей воровать посылает!

Парнишка вырвал левую руку из захвата и поспешил спрятаться за спиной Моргота, быстро оценив расклад. Кто-то схватил Моргота за руку, кто-то вскинул руку для удара, когда из-за прилавка с диким криком вылетел Бублик:

— Не-е-ет! Неправда! Неправда! Моргот не посылает! Неправда!

Оглушительно заревел Первуня, а Бублик с разлета ткнулся головой в подбородок мужика, который собирался ударить Моргота. Я поспешил на помощь другу — помню, что мне было страшно и обидно до слез, и я молотил кого-то кулаками и пинался ногами. Хозяйка лотка встала на нашу сторону, поднялся невообразимый шум, а потом все как-то схлынуло само собой, неожиданно. Кто-то прижал мои локти к телу и приподнял над землей — я барахтался в этой мертвой хватке и пытался ударить чьи-то колени ногой.

— Ишь, ишь! — дядька хохотал, держа меня на вытянутых руках. — Раздухарился! Тошенький-то какой!

— Так вор это был или не вор? — допытывался кто-то, и ему отвечали:

— Да нет, просто ребята поссорились!

— Нет, не вор, это я не поняла сразу, что они вместе, — виновато всхлипывала хозяйка лотка.

— Да вор, я же видел, как он его за руку поймал! — кричал ее сосед.

— Не, они вместе пришли.

— А я говорю, воры это!

— Сами вы воры!

Когда я немного успокоился и обмяк, дядька поставил меня на землю и легонько хлопнул по заднице для пушшего успокоения.

— Герои! — сказал он, посмеиваясь.

Первуня ревел на весь рынок, а хозяйка лотка, перегнувшись через прилавок, гладила его по голове и пихала в рот конфету. Сила, похоже, тоже принял участие в «бою», потому что тяжело дышал и сжимал кулаки. Моргот, словно изваяние, стоял и усмехался, окруженный нами, — разве что был немного бледнее обычного. Парня, который пытался украсть у него деньги, я не увидел.

Бублик ссутулился и как-то неловко шагнул в сторону, будто не удержал равновесия, Моргот подхватил его за локоть и потянул к себе. Вообще-то Моргот никогда нас не жалел, и, наверное, с Бубликом случилось что-то совсем неправильное: у него подкосились ноги, он качнулся в сторону Моргота, и голова оказалась лежащей у того на груди. Плечи Бублика тряслись, как будто он плакал, но он не плакал, я видел его лицо: расширенные, ничего не понимающие, сухие глаза. Моргот обхватил его плечо, посмотрел на него с удивлением, и усмешка незаметно сползла с его губ.

Толпа уже равнодушно скользила мимо нас, про вора все забыли в одну минуту, Первуня утешился конфетой и лаской хозяйки лотка, которая чувствовала себя виноватой перед хорошим покупателем и всячески надеялась свою вину загладить. А Бублик все дрожал у Моргота на груди, и тот неумело похлопывал его по плечу. Для Бублика, такого взрослого и правильного, такого спокойного, это было ненормально, неестественно, и мы с Силей стояли рядом и не знали, куда девать руки: мы испугались.

— Ну все. Хватит, Бублик. Все нормально, — ворчал Моргот вполголоса, — ничего не случилось. Щас футболки пойдем покупать. Надо за штаны деньги отдать...

— Деньги у меня, Моргот, — сказал Силя и полез за пазуху.

— Отдай три двести.

От этой цифры у меня закружилась голова. Я умел считать, но как-то не сообразил сразу, что нас четверо.

— Дайте мальчику водички, — сказала хозяйка лотка, протягивая Морготу бутылку с минералкой. — Напугали детей... Ненормальные... Лишь бы кулаки чесать. Только я тебе скажу — зря ты его пожалел. Было бы ради кого подставляться! Своих жалеи, а чужие тебе что?

Сейчас, когда я знаю Моргота гораздо лучше, чем в детстве, его поступок кажется мне по меньшей мере непоследовательным. Да, он тоже был вором и тоже попадался, но он никогда не считал себя принадлежащим к воровскому миру, никогда не испытывал солидарности с собратьями по «цеху», и жалость не была ему свойственна. Я считаю, он не сразу понял, что подставляется. Как говорила его мать: он жил одной минутой

и никогда не думал о последствиях. Он поступил не как вор, заступившийся за вора: он изначально принадлежал к совсем другому миру, миру, где взрослые не избивали детей, а дети не воровали денег. Этот мир давно рухнул, но представления Моргота изменились только внешне, на самом же деле он продолжал считать, что взрослые отвечают за детей. Все взрослые за всех детей.

Дети чувствительны к тому, что не лежит на поверхности, что составляет человеческую сущность, прячется в глубине. Может быть, мы делали неправильные выводы, приписывая Морготу героизм и отвагу, но любили мы его не за это, а за такое вот отсутствие раздумий, за эти короткие импульсы того, что мы считали правильным.

Выбор футболок — а Моргот решил купить нам по две штуки сразу — развеял нашу нервозность и окончательно успокоил Бублика.

— Моргот, Моргот, я вот эту хочу! — Силя тыкал пальцем в картинку с дирижаблем.

— Это дерьмо, я дерьмо покупать не буду.

— Ну почему? Картинка здоровская!

— Она облезет через три дня. Девушка, нам вот из тех покажите, что у вас есть. Для мальчиков.

— Моргот, а я вот эту хочу, со слоником, — Первуня дергал Моргота за рубашку.

— Сбрндил?

Розовый слоник плавал в цветочках, а Первуня почему-то питал слабость именно к розовому цветку. Моргот же его терпеть не мог.

— Ну классный же слоник!

— Офигеть, какой классный! Бантиков только к твоему слоннику не хватает!

— Первуня, бери с машинкой! — подтолкнул его Силя.

— Я не хочу с машинкой, я хочу слоника-а-а... — захлюпал носом Первуня.

— Моргот, смотри, вот эту давай купим! — Бублик вытащил из высокой стопки футболок, выложенной девушкой на прилавок, черную с ярко-красной надписью на груди.

— Ты знаешь, что тут написано? — прыснул Моргот.

— Нет, а что?

— Ну... в первом приближении... Я — крутая телка. Это тоже для девочек. Думаю, там, где ее шили, не умели читать.

— А для мальчиков такой нет?

— Я хочу слоника-а-а... — ныл Первуня.

— Заткнись. Девушка, заверните ему этого чертова слоника! И вот ту мне еще покажите, маленькую, с дятлом, мя...

— Первуня, ты дятел! — радостно захихикал Силя.

— Я не дятел, я не дятел! — Первуня снова приготовился реветь.

— Ладно, не надо с дятлом. Что у вас еще на ребенка есть?

— Вот эти для мальчиков хорошо берут, — девица равнодушно положила перед Морготом серую футболку с мультишной крысой.

— Я тоже хочу с крысой! — закричал я.

— И я хочу с крысой! — подхватил Силя.

— С крысой еще вот такая есть, — девица полезла под прилавок, долго шуршала пакетами и вытащила на свет черную футболку. Крыса на ней оказалась гораздо более свирепой, натуральной и смешной.

— Это чур мне! — заорал Силя.

— Нет мне!

— Нет мне!

— Цыц, малявки... — Моргот по очереди хлопнул нас обоих по затылку. — Ты вообще хотел с волком.

— А вторую — с крысой! — не сдался я.

— У меня от вас голова трещит. Навязались на мою шею... Девушка, у вас с крысой только одна?

— Я поищу, — недовольно ответила та.

Одинаковые футболки с крысами оказались нам с Силей великоваты, но мы не очень-то из-за этого расстроились.

После мы купили теплые рубашки и зимние ботинки: Моргот сказал, что пока у него есть деньги, их надо тратить, потому что потом их может и не быть. Он как будто в воду глядел: потом, зимой, эти ботинки, купленные тогда на размер больше, чем нужно, сослужили нам хорошую службу.

Став взрослым, я оценил, почему мы с ребятами выглядели лучше многих детей, живущих в семье: Моргот покупал нам не много вещей, но это были добротные, хорошие вещи. Мы никогда не надевали на себя обносок, как это принято в многодетных семьях;

наши футболки не вытягивались от стирки, а рубашки не выцветали через месяц после покупки; мы носили крепкие кроссовки, которых могло хватить и на два сезона, если бы мы из них не вырастали. У нас были теплые куртки из прочной ткани, рубахи и свитеры из натуральной шерсти и кожаные ботинки.

— Моргот, ну объясни мне, почему? Зачем ты все это делал?

Он затягивается своей длинной черной сигаретой и смеется:

— Иди ты к черту, Килька! Я не знаю! Я сто раз тебе говорил: не знаю. Мне это нравилось. Иногда я вас просто ненавидел, особенно с похмелья, когда вы орали у меня над ухом. Я не хотел, чтобы вас забрали в интернат.

— Слушай, а ты жалел Бублика тогда, на рынке?

— Я тогда перепугался, если честно. Глаза у него были... В общем, я видел однажды такие глаза. Черт вас знает, вы же все были... поломанные.

Я не спрашиваю его о брате: мне кажется, этого делать нельзя. Моргот с легкостью рассказывает о себе много интересного и вполне откровенного, но с ним очень трудно говорить о его чувствах. И это не поза, не притворство. Он не притворяется бесчувственным и не является им. Он на самом деле боится чувствовать.

— А с Силей? С днем его рождения? Зачем ты это сделал? Ведь даже я поверил.

— Тебе жалко, что ли? Ну, порадовался пацаненок... — Моргот невозмутимо пожимает плечами.

— Это была напрасная надежда. Зачем питать напрасные надежды и иллюзии?

— В детстве почти все иллюзии — напрасные. Пока дело дойдет до их развенчания, они забудутся. Я вот тоже в детстве хотел быть конструктором ракет. И чё? Думаешь, я сильно переживал, что им не стал?

— Думаю, да, — я улыбаюсь.

— Да не переживал я, Килька, не переживал! Это Сенко переживал, а мне было наплевать. Я даже радовался, что им не стал. Ты представляешь себе, как бы я протирал штаны в каком-нибудь ящике с девяти до шести? Я не очень себе это представляю.

— Я думаю, с Силей дело не в иллюзии. Не очень ты об этом задумывался. Ты просто не хотел быть хорошим. Мы в детстве делали какую-нибудь пакость и сваливали ее на других. А ты сваливал на других свои хорошие поступки. Разве нет? А если не мог свалить, то оправдывался, придумывал плохие мотивы для этих хороших поступков.

— Не плохие, а нормальные для нормального человека, — Моргот недовольно сжимает губы.

— Ты считаешь, нормальный человек не совершает хороших поступков?

— Я не знаю. Но я — не нормальный человек.

По дороге с рынка Моргот задержался, чтобы позвонить, но сказал в трубку только два слова:

— Это я.

После этого посмотрел на телефон, издававший короткие гудки, равнодушно пожал плечами, повесил трубку на рычаг, и мы пошли дальше.

К вечеру, когда мы вернулись, набегавшись по городу от души, у Моргота разболелась нога. Если у Моргота что-то болело, нам предписывалось ходить на цыпочках и говорить шепотом, потому что он в такие минуты бывал злым, как черт. Разумеется, предписаний мы не соблюдали. И когда вернулись в подвал, еще не знали, что у Моргота что-то болит, поэтому тут же включили телевизор, продолжая беситься, скакать и орать во все горло. Салех тоже был дома в тот вечер и сидел в своем углу, разбирая какое-то очередное радиотехническое приспособление. Глаза у него были грустными, и это означало, что он решил бросить пить, но сил держаться у него больше нет.

— Салех, а это что? — спросил Силя, с разбегу едва не опрокинув стул, на котором тот сидел.

— Это усилитель, — ответил Салех. Он был мрачен.

— А что он усиливает?

— Громкость.

Несмотря на неразговорчивость Салеха — а трезвым он бывал угрюм и замкнут — мы все же похвастались ему новыми футболками и джинсами. Он вяло кивал и фальшиво улыбался.

Когда же наше веселье переместилось к телевизору, Моргот рывкнул из своей каморки.

— Бублик, мля!

— Чего? — Бублик распахнул к нему дверь.

— Заткнитесь! Я ясно сказал? Быстро по кроватям, и чтоб я вас не видел и не слышал!

— Так ведь еще рано!

— Мне до лампочки, рано или поздно! Я сказал: по кроватям быстро! Достали своими воплями!

— Ну Моргот, мы будем тихо!

— Все! Дверь закрой!

Бублик прикрыл дверь, прижал палец к губам и на цыпочках подошел к телевизору, чтобы убавить громкость.

Мы притихли, но, конечно, ненадолго. Минут через пятнадцать Моргот снова позвал Бублика.

— Моргот, ну мы же не шумим! — сказал тот, заглядывая в каморку.

— Как же. Не шумите вы... Сгоняй в аптеку, спроси у них что-нибудь от собачьих укусов. И анальгина еще.

— Тебя собака укусила?

— Какая разница. Сгоняй быстро!

На беду Моргота это услышал Салех.

— Чего ребенка гонять по темноте? — он как-то подозрительно быстро оказался возле каморки. — Давай я схожу.

Но Моргот был не льком шит и на хитрость не поддался: он знал Салеха слишком хорошо.

— Щас тебе! Бублик сбегает, не развалится. Пусть Кильку с собой возьмет, если темноты боится.

— Да ему втюхают там... чего подороже. А я знаю, что покупать.

— Бублик! Бери что подороже, понял? — сказал на это Моргот.

— Ага.

— Да ладно тебе, ты что, мне не доверяешь? — Салех обиженно засопел.

— Слушай, — Моргот тяжело и медленно вздохнул. — Если тебе надо на бутылку — так и скажи, я дам.

— Не надо. Я в завязке. Я как лучше хотел.

— Ты как сволочь хотел. Бублик, иди уже! И оставьте меня в покое наконец!

— Да ладно! Тоже мне, цаца! — проворчал Салех, направляясь в свой угол.

Салех и Моргот никогда не ругались, только ворчали друг на друга, когда оба были не в настроении. Салех был

намного его старше. Или он производил такое впечатление? Из-за того, что много пил? Мне Салех казался дедом.

Мы с Бубликом сбегали до аптеки и обратно минут за двадцать, купили какой-то супермази и таблеток и, когда возвращались, встретили Салеха у колонки над входом в подвал. За забором, отделявшим улицу от территории института, горел яркий желтый фонарь, освещающая и колонку, и спуск в подвал, и скамейку возле спуска. Иногда фонарь сам собой выключался — тогда на ночь мы мыли ноги в темноте, и это всегда превращалось в игру. Наверное, каждый из нас хоть однажды, спрятавшись за кустами, издавал жуткий вой — чтобы напугать остальных; мы рассказывали страшилки, визжали от страха, возились, падали на мокрую траву, поскальзываясь, и с топотом скатывались по лестнице в светлый подвал, иногда перепачкавшись сильнее, чем за весь день.

В тот день фонарь горел, и Салеха мы увидели сразу, едва пролезли через дыру в бетонном заборе.

— Ну чё? Купили? — спросил нас Салех.

— Купили, конечно, — ответил Бублик.

— И чего купили?

Бублик покрутил в руках коробочку, но в руки Салеху не дал.

— Да ну вас! Я же говорил, ерунду купите! Сдача осталась?

— Ну и осталась, — Бублик, в отличие от меня, сразу почувствовал, куда ветер дует.

— Давай сюда, пойду нормального лекарства куплю!

— Салех, тебе же Моргот сказал, что даст на бутылку, — Бублик спрятал руки за спину, — зачем ты это делаешь, а?

— Ну... Не хочешь, как хочешь, — Салех махнул рукой и направился в подвал. — Я только как лучше хотел.

Он не был агрессивным, он бы ни за что не стал отбирать у нас деньги, но я тогда недоумевал: почему он просто не возьмет их у Моргота? Зачем хочет схитрить? Сейчас мне кажется, что Салеху доставляло удовольствие быть сволочью и обманщиком. Он хотел испытать себя, донести деньги до аптеки, но он бы их туда не донес. А потом ругал бы себя и обливался слезами, рассказывая нам, какая у него слабая воля. Взять же деньги у Моргота означало при всех расписаться в собственной слабости, сразу, без проверок и раздумий, признаться в том, что держаться он не хочет. Завернуть за водкой

по дороге в аптеку — это «не смог удержаться», а взять деньги напрямую — «не захотел».

Однако, когда план его не удался, Салех как будто бы повеселел, у него словно гора с плеч свалилась. Он зашел в каморку к Морготу вслед за нами, выгнал нас вон, а потом они переругивались там минут десять. Причем Салех балагурил, а Моргот огрызался.

Картина под названием «Эпилог» висела у меня в гостиной, но сегодня я словно почувствовал что-то и перенес ее в библиотеку, поменяв местами с довольно посредственным летним пейзажем. Обычно летний пейзаж вселял в меня оптимизм, но сегодня мне не хочется ни лета, ни оптимизма.

Начинается вьюжная и морозная ночь, ветер тихо свистит и стучит в стекло, и моя светлая тоска по детству вдруг превращается в тоску черную, беспросветную. Я думаю о необратимости и безвозвратности. Мне кажется, аура картины, словно густой туман, окутывает меня все плотней, я дышу одним с ней воздухом, и этот воздух отравлен ее дыханием — дыханием обреченности на смерть. Художник часто вкладывает в картину то, о чем и не подозревает; так из банального перепева грустной сказки у Стаси получился «Эпилог» — картина вовсе не о любви и смерти. Картина о неизбежности, о предрешенности развязки.

Это лучшая картина в моем доме.

Стася входит неслышно, как всегда, и, как всегда, здороваается от порога. Она не сразу замечает картину на стене, садится на край кресла и начинает теревить юбку, не зная, куда деть руки.

— Я знаю, вам не понравится то, что я вам рассказываю, — начинает она, — но я все равно это расскажу.

— Конечно, — улыбаюсь я. — Меня не интересует прославление Моргота, я пытаюсь получить объективную картинку под соусом моего субъективного к нему отношения.

Она не улыбается мне в ответ. Она приходит, чтобы оправдаться за свое мимолетное, но сильное чувство. Это чувство было столь сильным, что породило «Эпилог»...

— Та безобразная сцена у меня дома... Вы не можете себе представить, что я испытала... Нет, это не было крушением иллюзий, я с самого начала не верила в то, что

Моргот может меня любить. Он никого не мог любить, таким людям, как он, это чувство недоступно. Но... То, что он был с другой женщиной... Я и не подозревала, как это будет гадко, до тошноты, понимаете? Я не могла прийти в себя от отвращения. Я почти всю ночь провела в душе, я хотела отмыться... Это мерзость, мерзость!

Я деликатно опускаю глаза.

— Он звонил мне... Меня потрясла тогда его уверенность в себе. Он не чувствовал раскаянья, он не хотел осознавать, что сделал со мной! Да, я понимаю, он не был мне должен и ничего мне не обещал. Но люди, вступающие в отношения, подобные нашим, имеют друг перед другом определенные обязательства!

— Мужчины смотрят на это по-другому, — я пожимаю плечами, — мы устроены иначе.

— Это не так. То, что вы говорите, — это оправдание распушенности и непорядочности. И я знаю мужчину, который бы никогда так не поступил. Который никогда бы не изменил мне!

Я не сомневаюсь в том, что этот мужчина — Макс. Я не хочу с ней спорить и тем более рушить ее иллюзии.

— Моргот звонил мне каждый день: мне кажется, он считал, что я дуюсь на него, как... как... пустоголовая кокетка. Он не понимал, что наше общение больше невозможно. Надо было полностью отказаться от чувства собственного достоинства, чтобы...

Она поворачивает голову к стене в поисках нужного слова и замолкает. Лицо ее меняется, на нем появляется — не удивление, нет! — оцепенение. И оцепенение это не похоже на эмоцию живого человека — мне становится по-настоящему жутко. Что я делаю здесь? С кем я сейчас говорю? Сплю я или бодрствую?

Стася встает с места и подходит к своей картине. Картина висит невысоко — у меня низкий полоток, — и Стася проводит рукой по полотну, словно проверяет, существует ли оно на самом деле.

След человека на земле... То, что остается после нас... Что она должна чувствовать, встречаясь с тем, что от нее осталось? Не слишком ли мало? Картина вдруг кажется мне горсткой пепла, в которую превращается огромная жизнь, жизнь, наполненная миллионами мыслей и смыслов, тысячами оттенков чувств, сотнями граней характера.

— Откуда это у вас? — задает она вопрос, которого я жду.

— Вам самой она нравится? — я не спешу отвечать.

— Это моя последняя вещь. Я продала ее незадолго до знакомства с Максом. И очень жалела об этом. То, что у меня ее купили, было для меня чем-то вроде высокой оценки, признания меня как художницы. Дело не в деньгах, хотя мне за нее заплатили очень много: это только повысило мою собственную ценность в моих глазах — понимаете, что я хочу сказать? Это значило, что кому-то нравится то, что я делаю, кто-то понимает меня, кто-то заметил меня.

— Да, я вас понимаю, — киваю я, — такие вещи дают вдохновение, я прав?

— Да, — она задумчиво улыбается. — Собственно, мне даже не дали подумать. Я была уверена, что клиент этого салона посмотрит на картину и вернет ее мне... Я не думаю, что хозяин салона обманул меня, он ведь получил коммисионные и прислал мне документы о продаже. Там даже указывалось, какие налоги он заплатил. Но потом я жалела... Я бы хотела, чтобы она осталась у Макса. Откуда она у вас?

— Вы не помните? Я был тем самым мальчиком, который приезжал к вам за картиной, а потом привез за нее деньги...

Она смотрит на меня, приподняв брови: возможно, мальчишку-посыльного она и помнит. Но я сильно изменился с тех пор...

— Не знаю, обрадуетесь вы или нет, — мне нравится удивлять ее и развенчивать некоторые ее заблуждения. — Я выкупил ее у матери Макса незадолго до ее смерти.

Я загадочно улыбаюсь.

— Макс нашел ее? — лицо ее освещается, и мне вовсе не хочется, чтобы оно снова потемнело. — Макс ее выкупил? Но ведь она стоила безумных денег!

— Макс получил ее в подарок.

Моргота несколько не волновало поведение Стаси. Каждый раз, когда она бросала трубку в ответ на его «Это я», он испытывал что-то вроде облегчения. Ни оправдываться, ни просить извинений он не собирался и думал только о том, что Макс наговорит ему по этому

поводу много умного и интересного. Впрочем, оправдываться перед Максом он тоже не собирался: сам бы попробовал изображать из себя «рыцаря», достойного утонченной и ранимой души Стаси Серпенки, ее идиотских комплексов и не менее идиотских стереотипов.

Поэтесса, конечно, по сравнению со Стасей была исключительной дурой, но то, что она из себя ломала, было немного поближе к реальной жизни. Стася же, напротив, дурочкой прикидывалась, но таковой не являлась.

Тосковать по ее картине он начал на следующую ночь. Рана на щиколотке воспалилась, Моргот долго не мог уснуть, несмотря на перевязку Салеха и две съеденные таблетки анальгина, и картина «Эпилог» всплыла в его памяти сама собой. Врачное полотно тянуло его к себе, он вдруг осознал, что не помнит всех деталей, не понимает, как из них сложилось это тягостное ощущение обреченности. Ему нравилось ощущать обреченность: это щекотало нервы, придавало жизни немного сумрачной романтики, создавая черный ореол вокруг его личности, подчеркивая демоническую сущность.

Моргот не боялся смерти в том смысле, в каком ее боится большинство людей. Его вера в неразрушимость собственной личности, в невозможность исчезновения была подобна наивной убежденности ребенка, который не представляет себе мира без себя. И веру эту не могли поколебать ни знания, ни здравый смысл. Никаких религий он не исповедовал и считал, что смерть — это взлет, освобождение.

И я верю, что сейчас он, свободный, легкий и быстрый, носится по неведомым мне мирам, размахивая черными кожистыми крыльями, или парит, наблюдая с высоты за тем, что мы называем жизнью. И иногда спускается вниз, чтобы заглянуть в мое окно.

На следующий день он никуда не выходил, проваливаясь до вечера на кровати с книгой в руках, чувствуя себя больным и обиженным судьбой, к вечеру добрался до телефона позвонить Стасе и тогда снова вспомнил о картине. Она не выходила у него из головы до самого утра, став для него чем-то вроде мечты ребенка, заглядывающего в витрину дорогого магазина. Чем недоступней

игрушка, тем сильнее хочется ее иметь. Как правило, удовлетворив навязчивую потребность обладать чем-то подобным, человек тут же забывает о ценности этой вещи. Моргот хотел получить эту картину только для того, чтобы перестать о ней думать.

На третий день он размышлял о картине со злостью, пытаясь отделаться от воспоминаний о ней. Он ловил себя на мысли, что сравнивает картину с женщиной, которую страстно желает и которую забудет, едва добившись от нее желаемого. Он даже придумал место, где будет ее хранить: под кроватью. Эта вещь зацепила его, поймала на крючок, а Моргот не привык в чем-то себе отказывать.

Стася продолжала бросать трубку, услышав его голос, но в его голове она существовала отдельно от своей картины и была связана с нею только одним — местонахождением. Наличие таланта художницы не сделало Стасю ни лучше, ни хуже в его глазах. Но признаться ей в том, что картина ему понравилась, было выше его сил — заплатить за обладание вещью такую цену Моргот был не готов. Кроме того, она бы, чего доброго, решила, что он хочет ее подкупить или умаслить. Поэтому на четвертый день Моргот отыскал в телефонном справочнике первый попавшийся художественный салон из тех, что подешевле, и после обеда направился к его хозяину, взяв с собой меня.

Его предложение несколько не удивило хозяина салона, словно к нему каждый день обращались с подобными просьбами. Моргот хотел купить картину анонимно, чтобы никто об этом не узнал. Разумеется, за соответствующие комиссионные салону, который выступит посредником в сделке. Проблема состояла лишь в том, что в каталогах значилось только название Стасиной картины, а репродукции не было. Но, в конечном итоге, анонимный покупатель мог услышать о картине от Кошева, который обещал Стасе пристроить картину.

На вопрос, сколько Стася хочет за «Эпилог», хозяин салона ответа не получил. Она лепетала что-то о независимых оценщиках, но потом, подумав, попросила его оценить картину самостоятельно, ведь от ее стоимости зависели его комиссионные. Тот не возражал.

Моргот не хотел, чтобы Стася сама везла картину: салон не производил солидного впечатления, и это

могло ее насторожить. И, конечно, курьеров здесь не держали. Поэтому курьером выступил я. Моргот поймал для меня машину, долго говорил с водителем, заплатил ему половину вперед и велел привезти меня обратно.

Я не часто ездил на машинах. Только с Морготом. Поэтому и к поездке, и к ответственному поручению отнесся очень серьезно. Я с такой силой мусолил пальцами расписку, которую мне дал хозяин салона, что она потемнела и местами протерлась.

Стасю я встретил на лестнице, когда безуспешно звонил ей в дверь: она бежала домой, отпросившись с работы, и, наверное, ехала не на машине, как я, а на автобусе. Я хорошо ее запомнил — раскрасневшуюся, запыхавшуюся и очень взволнованную. Она впустила меня в квартиру и вежливо пригласила подождать в комнате, но я был воспитанным ребенком и остался в прихожей. Смотрел, как она достает картину из кладовки, как мечется по кухне в поисках бумаги или старых газет и, не обнаружив их, заворачивает картину в новое кухонное полотенце.

— Я думаю, ее все равно не купят. Ты посмотри, пожалуйста, чтобы ее вернули в полотенце, а то мама меня убьет за него, ладно? — она не улыбалась и, хотя казалась мне тетенькой, выглядела совсем как девочка.

— Хорошо, — ответил я, продолжая мять в руках расписку: Стася о ней даже не подумала.

— Ты не видел этого покупателя? Какой он? — спросила она.

— Не, я не видел, — честно сказал я и едва не рассмеялся. Почему-то всегда, когда мне приходилось врать, мне становилось смешно.

— Да нет, конечно не купит. Это Виталис натрепал ему языком, он умеет... А когда он увидит картину, он все поймет... — говорила она то ли сама с собой, то ли со мной.

Мне захотелось ее приободрить, и я ляпнул:

— Может, и купит. Да наверняка купит!

— Ты так думаешь? — она посмотрела на меня недоверчиво.

— Купит-купит! Зачем бы М... — я осекся и зажал рот рукой, едва не сказав «Зачем бы Моргот потащился в этот салон, если бы не собирался ее покупать?»

— Что ты говоришь? — она в это время укладывала картину в полиэтиленовый пакет.

— Я говорю, что обязательно купит. Мне так кажется.

Стася ласково потрепала меня по волосам и вручила картину — в полотенце и в мешке.

— Беги скорей, — она распахнула передо мной дверь, потому что картину я держал обеими руками.

— Погодите! Расписка ведь! — хватая картину, я скомкал ее, потому что она мне мешала.

— Какая расписка? — удивилась она.

— Вот, в руке у меня расписка! Мне ее надо было вам отдать!

— Ой, а я совсем об этом не подумала...

— А если бы я был вор и захотел украсть вашу картину? Просто пришел и забрал, что ли?

— Да что ты, мальчик! Кому же она нужна! — Стася рассмеялась. — Ну давай свою расписку!

— Вот, выньте ее. Она у меня в руке.

Расписка превратилась в нечто мало напоминающее документ и была бы похожа на использованную в буфете салфетку, если бы не грязно-серый цвет от моих пыльных рук. Стася не взглянула на ее содержание, но расправила и положила на столик перед зеркалом.

Я не решился бежать по лестнице: картина казалась мне вещью бьющейся, как стекло, и я медленно и осторожно сошел вниз, прижимая ее к груди обеими руками и подбородком. Я очень боялся, что водитель меня не дождет, но он только развернулся в мое отсутствие и весело посигналил, когда я, осматриваясь, вышел во двор — широкий, шумный и зеленый, с пологим холмом с северной стороны. Я привык к виду не до конца разобранных развалин, они окружали меня больше половины моей сознательной жизни, и курганы, поросшие крапивой, я воспринимал, как неотъемлемую часть городского пейзажа.

— Сколько она на самом деле может стоить? — спросил Моргот, положив картину перед хозяином салона.

Тот пожал плечами:

— Неплохо. Очень неплохо. И у вас хороший вкус. Если бы я имел возможность ее выставить, то смог бы впарить ее кому-нибудь тысяч за восемьдесят. Но такие

продажи требуют времени. Сколько вы готовы за нее заплатить?

Моргот слегка обалдел от названной суммы, но вида не показал. В его планы не входило обворовать Стасю Серпенку, но ради нее он не был готов отдать все до копейки (а то и продать припрятанные на черный день ценности). От денег, полученных за угнанный джип, осталось меньше половины.

Торговаться он не любил, считал это унижительным. Он только однажды называл свою цену и считал ее окончательной.

— Вы можете часть денег из моей комиссии отдать, минуя кассу, и заплатить художнице столько, сколько считаете нужным. Хоть десять тысяч. Я думаю, она не поймет, что вы ее обманываете. Она и так будет счастлива.

Моргот посмотрел на хозяина салона пристально и пренебрежительно, сузив глаза. Сейчас я понимаю, что эти слова стали для Моргота вызовом, хотя хозяин вовсе не имел этого в виду. А может быть, я плохо знаю коммерсантов, и этот расчетливый человек видел Моргота насквозь? Моргот думал недолго — он редко думал долго, прежде чем выбросить пачку денег на какую-нибудь прихоть.

— Я заплачу за картину пятьдесят тысяч. И вы получите с них свои десять процентов.

Тогда я подумал, что Моргот очень честный и добрый. И он ни за что не обидит беззащитную и наивную девушку Стасю, которая мне так понравилась. Сам он утверждал потом, что интересы девушки Стаси волновали его меньше всего. Он врал. Он не был дураком, он мог на секунду предположить, что этот человек обманывает его в надежде получить комиссионные. Но ему было все равно. И жест его, по-офицерски красивый, мог иметь под собой какие угодно мотивы, но поступок Моргота от этого не меняется: Стасю он не обманул.

— Я должен буду заплатить налоги... — намекнул хозяин.

— Так заплатите, кто вам мешает? — пожал плечами Моргот. — Я думаю, этих денег хватит на налоги.

— Вы собираетесь платить наличными?

— А вы как думаете? — хмыкнул Моргот.

— Мы могли бы оформить сделку, так сказать, не совсем официально... На этом можно сэкономить тысячи три-четыре...

— Мы оформим сделку официально, — Моргота не интересовали три-четыре тысячи.

— Но зачем это вам?

— Чтобы вы не боялись говорить своим клиентам, что картину Стаси Серпенки у вас купили за пятьдесят тысяч, — усмехнулся Моргот.

— Да, конечно, это правильно, — вздохнул хозяин.

Я думал, она обрадуется. Я поехал к ней вместе с хозяином салона, потому что Моргот ему не доверял, что снова преисполнило меня чувством собственной значимости — быть поверенным Моргота в таком сложном деле.

Я думал, она обрадуется. Но она не обрадовалась, верней, она не сумела выразить радость. Я привез ей кухонное полотенце. Моргот еще смеялся надо мной и говорил, что на эти деньги можно купить тысячу кухонных полотенец и ее мама эту потерю переживет. Но я обещал привезти полотенце и привез. А она с сосредоточенным лицом просматривала и подписывала документы, как будто искала подвох. Она не обрадовалась — она испугалась и не поверила. И я не понимал, почему она не верит: ведь вот они, деньги, настоящие, не фальшивые, целая стопка...

Когда мы уходили, она расплакалась.

— Ну что вы, деточка, — по-отечески утешил ее хозяин салона, — не надо. Это только начало, уверяю вас.

Она помотала головой, а потом сказала, вытирая нос платочком:

— Нет-нет, не переживайте за меня... Я... Со мной такое в первый раз. Мне... мне жаль, что я ее никогда больше не увижу... Это судьба.

Я мог бы опустить все эти подробности и написать коротко, как все произошло. Но меня не оставляет ощущение, что каждое событие в этой истории имеет какое-то значение. Я ищу логику в этой цепочке и не вижу ее. И между тем это цепочка, в которой каждое звено связано с другими звеньями. Я не понимаю как. Каждое событие

кажется мне шагом, приближающим развязку. Может быть, потому что я смотрю на время с высоты? И не тот или иной шаг ведет историю к развязке, а время неумолимо катится вперед; так многоводная и быстрая река несет пловца, и, как бы он ни барахтался, что бы ни предпринимал, каждое движение будет приближать его к устью.

Они оба не верили своим предчувствиям, они оба обращивали предчувствия в эфемерные, но очень красивые материи и наслаждались этой красотой. Они жили так, как будто перед ними если не вечность, то столетие точно.

Моргот заходит в библиотеку и замечает картину с порога. Он на секунду останавливается, и взгляд его мечется из стороны в сторону.

— А где же полянка? — спрашивает он об исчезнувшем пейзаже. — Она мне так нравилась. Я люблю зеленый цвет, он ласкает мне глаз.

— Ты отлично знаешь, что кроме зеленого цвета в том пейзаже ласкать глаз нечему.

— Килька, ты нарочно ее повесил. Я знаю, о чем ты собираешься спросить, и я в очередной раз тебе отвечу: я не знаю.

Я с самого первого его появления спрашиваю, почему эта история закончилась так, а не иначе, а он не хочет мне отвечать.

— Ты не угадал, — посмеиваюсь я. — Я хотел спросить совсем о другом. Я хотел спросить, где ты держал эту картину: неужели действительно под кроватью?

— Совершенно точно. Одну ночь она простояла на полу напротив кровати, прислоненной к стене, а потом я ее убрал — она мне надоела.

— Она действительно тебе надоела? Или...

— Действительно надоела, — перебивает он. — Я изучил ее вдоль и поперек и понял, как этой картине удалось произвести на меня такое впечатление. После этого она меня больше не интересовала.

— Послушай, и теперь она ничего в тебе не пробуждает? Она не трогает тебя?

— Она трогает меня, но я знаю, как это происходит, и мне неинтересно.

— Если ты знаешь механизм коленного рефлекса, это вовсе не значит, что твоя нога не дернется от удара молотком, — я пожимаю плечами.

— Я этого и не отрицаю. Я не говорю, что она мне не нравится и что я к ней равнодушен. Мне неинтересно на нее смотреть. Я ее помню и так. Незачем перечитывать стихотворение, если знаешь его наизусть. Мне она надоела. Мне надоели те ощущения, которые она во мне вызывает. И кончай препарировать мой внутренний мир на клеточном уровне, это занудство.

— Тебе не кажется, что ты заплатил слишком много за игрушку, в которую наигрался за одну ночь?

— Когда я был маленьким, мне покупали много игрушек, но очень редко те, которые я по-настоящему хотел иметь. Став взрослым, я устранил эту несправедливость. Килька, что хочу, то и покупаю! — он расхохотался.

Моргот угонял машины миротворцев раз в месяц, двенадцатого числа. И никогда этой даты не менял. Он любил ритуалы и всякое отступление от них считал нехорошим знаком.

В тот раз все шло как обычно и даже глаже обычного. Он добрался до авиагородка к трем часам ночи, отключил сигнализацию на воротах и на дверях гаража и нашел ключи от машины в замке зажигания. Миротворцы никак не привыкали, что здесь машина — это целое состояние и угнать ее найдется множество умельцев. словно были у себя дома! И это раздражало. Они перестали чувствовать опасность за каждым углом! Они думали, что победили окончательно, и та горстка партизан с автоматами, что еще сопротивляется, не может им всерьез угрожать!

Канистра с бензином нашлась не сразу, Моргот обшарил фонариком каждый уголок гаража. Ничего фатального в этом не было, можно было слить немного бензина из бака, но возиться Моргот не любил и потратил лишнюю минуту на поиски.

Канистра оказалась в багажнике автомобиля. Моргот сел за руль, чтобы еще раз проверить, все ли в порядке, не пропустил ли он какой-нибудь хитроумной защиты машины от угона. Но все педали работало исправно, руль поворачивался, рычаг переключения скоростей двигался. Моргот вышел, открыл гараж и, оглядываясь, подошел к воротам. Они не скрипнули, путь вперед был свободен.

Мотор не завелся. Возможно, это была ничтожная поломка, и Моргот мог бы устранить ее за две минуты. Но он занервничал: с открытыми воротами, которые бросились бы в глаза любому случайному прохожему, ни о каком ремонте речи не шло. Моргот еще раз попробовал завестись, но быстро оставил эти попытки: мотор чавкал слишком громко. Здравый смысл говорил о том, что надо немедленно уходить, не тратя времени на закрытие ворот и гаража. Но здравый смысл, которым Моргот так любил похвастаться, не учитывал особенностей ритуала. Ему еще ни разу не приходило в голову, что машину можно сжечь прямо в гараже: это было и рискованно, и не доставило бы Морготу должного удовольствия — посмотреть на то, как она будет гореть. Но уйти просто так на этот раз он не захотел.

Звук, с которым бензин выливался из канистры, показался ему громким в тишине спящего авиагорodka...

Если пожар перекинется на дом — так им и надо... Их никто сюда не звал. Жаль только, что после этого им не придется жить в подвале...

Бензин стекал по гладким глянцевым бокам неподвижного автомобиля жирными струйками, его запах в четырех стенах закружил Морготу голову. Морготу нравился запах бензина, но долго им дышать он не мог — его тошнило. В полутьме гаража машина показалась ему добрым и беззащитным домашним животным, отданным на заклятие. Моргот любил машины, считал их чем-то одушевленным, и ритуал их сожжения был для него гораздо более глубоким, чем уничтожение чужой вещи. Он убивал их. Он хотел причинить боль тому, кто ездил на этой машине.

Моргот вышел из гаража во двор, выбил из пачки сигарету, сломал ее пополам и на всякий случай отодвинулся еще на несколько шагов назад: из гаража разило бензином. Его качнуло от головокружения. Он перестал чувствовать волнение и страх, происходящее показалось ему наваждением, и, щелкая зажигалкой, он уже не беспокоился, что кто-то увидит его. Машина смотрела на него наивными широко раскрытыми фарами, и по одной из них слезой стекала прозрачная струйка, капая на бетонный пол. Моргот затянулся глубоко и спокойно: дрожь, охватившая его, была сродни восторгу,

высшему наслаждению. Он наслаждался тем, насколько он жесток, тем, что ему не трудно кинуть окурочок прямо в эти наивные, ни в чем не повинные фары. Обычно он бросал окурочок сверху, не глядя ей в лицо. Он подумал, что убивает ребенка.

Моргот затаился еще раза два, оттягивая развязку, а потом ловким щелчком отправил горящий окурочок в гараж.

Несмотря на открытые гаражные ворота, пары бензина не уносил ветер, и из гаража полыхнуло гораздо сильнее, чем это бывало на открытом воздухе. Хлопок огня был громким, даже чем-то похожим на взрыв, Морготу в лицо дохнуло жаром и словно толкнуло назад. Он пошатнулся и медленно направился прочь, перешел через улицу к девятиэтажке, в которой жил Сенко, и остановился, не в силах оторваться от зрелища пожара. Оранжевый огонь бился между стен, хватаясь за все, что горит. Он освещал двор и часть улицы, на него было больно смотреть. Тонкий черный дым кусками плетеной сетки выплескивался из ворот гаража в такт дыханию пламени, а потом лениво расплывался в темном небе.

Надо было уйти или хотя бы где-нибудь укрыться от посторонних глаз, но Моргот, словно пьяный, не чувствовал опасности и не думал об осторожности. Ему стоило определенных усилий побороть себя и войти в подъезд Сенко, но прятаться он не стал, поднялся на два пролета и уставился на огонь из окна на лестнице.

Через минуту распахнулась дверь в доме миротворца — к тому времени над гаражом полыхала синтетическая крыша, и черный дым стал гуще. Мужчина в трусах и босиком выскочил на крыльцо, но тут же вернулся обратно в дом. Прошло еще немного времени, огонь только поднялся выше, порывы ветра сносили его на крышу дома, со стороны аэропорта завывали пожарные sireны, в соседних домах включился свет, когда на крыльцо наконец снова вышел миротворец, выводя за собой двух девочек в ночных сорочках: одну долговязую и вздохмаченную, а вторую, едва достигающую до пояса сестре, — белокурую, словно ангелочек. Вслед за ними появилась женщина в темном пеньюаре с огромными красными цветами. Мужчина что-то кричал, оборачиваясь к жене, и она отвечала ему с искаженным злостью

лицом, но Моргот не слышал голосов. В конце концов женщина остановилась и топнула ногой, а потом развернулась и побежала обратно в дом. Миротворец, подтолкнув девочек к воротам, опрометью кинулся за женой, но младшая девочка расплакалась, закрыв лицо руками, и он с крыльца вернулся назад, к детям.

Из соседних домов никто из миротворцев не вышел. Моргот курил и отстраненно наблюдал за суетой, когда на лестнице начали открываться двери, завыл лифт, кто-то бежал вниз, кто-то спрашивал о чем-то у соседей. Синий свет мигалок затмил редкие желтые фонари на улице, от рева сирен и моторов задрожала стена девятиэтажки; из первой красной машины высыпали пожарные, и один из них тут же подставил лестницу к столбу и рубанул топором провода, идущие к дому.

Моргот никогда не видел последствий своего ритуала. Миротворцы, машины которых он сжигал, оставались для него абстракцией, неодушевленными моделями, собирательными образами врагов. В тот день все было иначе.

Сзади пробежали человека три-четыре, но никто не посмотрел на Моргота, а он не оглянулся. На площадке ниже шумно открылась дверь лифта, кто-то еще спускался по лестнице, хлопнула дверь подъезда, и на дорожке, ведущей к проезжей части, показались две женщины в халатах и в тапочках. Моргот не сразу понял, зачем они все бегут вниз: неужели из окон пожар видно хуже? Но обе женщины, шаркая тапочками, перебежали через дорогу и подхватили за руки двух плачущих девочек, которых толкали пожарные, разворачивая шланги, и повели в сторону, что-то нашептывая на непонятном девочкам языке. Миротворец с женой вытаскивали из дома какие-то коробки, мужчины, вышедшие из подъезда, спешили к ним на помощь.

Из брандспойтов ударили струи воды, в небо густыми клубами понесся серый дым, перемешанный с паром. Пожарные ругались на миротворца и его добровольных помощников, а помощники все прибывали — и из подъезда Сенко, и из соседних подъездов; по цепочке передавали вещи, которые выносили из дома, — подальше от огня. Огонь перекинулся на крышу дома неожиданно, словно перепрыгнул на нее, спасаясь от воды. Вместо

обычного шифера дом был крыт каким-то странным материалом, похожим на резину, который хорошо горел и исходил черным дымом.

Пожарные орали и выразительно жестикулировали, давая понять, что они думают о выносе вещей и людях, которые путаются у них под ногами. Плачущих девочек окружили женщины — их собралось не меньше десятка. На плечах девочек появились шерстяные кофты, а на ногах — носочки.

Моргот стоял и равнодушно смотрел на происходящее, когда запоздалые шаги сверху приблизились к нему и удивленный голос спросил:

— Громин? А ты что здесь делаешь?

Моргот оглянулся: Сенко стоял перед ним в тренировочных штанах с вытянутыми коленками и в тапочках на босу ногу. Над его макушкой поднимался упругий хохолок, и Моргот нашел это смешным.

— Можно бесконечно смотреть на три вещи в этом мире: как горит огонь, как течет вода и как другие работают. Идеальное зрелище — пожар, — Моргот отвернулся обратно к окну, нисколько не задумываясь о том, как объяснит свое присутствие здесь в этот час. А Сенко встал рядом и замолчал, наблюдая за пожаром вместе с Морготом. Они стояли долго, минут десять, и уже никто из добровольных помощников не рисковал подходить близко к крыльцу: горела мансарда.

Крыша сложилась карточным домиком, но огня над ней почти не было — его сбили водой. Стены пропитались влагой, с них кусками отваливалась штукатурка, и, наверное, сквозь перекрытие в комнаты внизу натекло много воды. От гаража мало что оставалось, огонь сожрал все, что горело, и теперь только шипел и дымил тлеющими останками собственности миротворца. Сенко молчал, а когда Моргот покосился на него, то увидел на его глазах слезы. Сенко поймал его взгляд, но ничуть не смутился.

— Громин, ты знаешь... Я бы убил этого парня. Я много раз смотрел на него из окна и представлял себе, как буду его убивать. Но когда я увидел огонь, я побежал вниз, даже не вспомнив об этом. Я хотел помочь вынести вещи... Громин, может быть, они победили нас поэтому? Мы придурки, Громин, мы настоящие придурки!

Посмотри, никто из его товарищей не вышел на улицу... Только наши...

— Они боятся выходить на улицу ночью, — ответил Моргот. — Они просто боятся. А у наших рефлекс, генетическая память. Пожар — надо бежать. Носить воду, вытаскивать вещи... Это нормально.

Сенко повернул голову и пристально посмотрел на Моргота. И молчал довольно долго, изучая его лицо, а потом сказал:

— Громин, пойдем-ка наверх, пока никто тебя здесь не увидел. Раз уж ты остался у меня ночевать, зачем разгуливать по лестницам?

Моргот кивнул и оттолкнулся от подоконника. Но, не пройдя и трех шагов до лестничного пролета, вдруг качнулся, хватаясь за перила, и упал коленками на первую ступеньку — у него до тошноты закружилась голова.

— Ты чего? — Сенко схватил его за локоть. — С тобой все нормально?

— Нормально, — ответил Моргот сквозь зубы: коленки он разбил здорово. То ли надышался бензином, то ли эмоциональное напряжение оказалось слишком сильным. Пожалуй, исполненный на этот раз ритуал был гораздо интересней остальных, и ощущение наваждения не пропадало.

Сенко поставил чайник на плиту и достал из холодильника бутылку водки, когда они добрались до его кухни.

— Выпьешь? — спросил он Моргота, который уселся за стол и смотрел из окна на последствия пожара.

Моргот покачал головой: водки ему совсем не хотелось. Он чувствовал себя усталым и разбитым, как будто за последние полчаса выплеснул из себя всю энергию и больше ее не осталось. Его знобило. Сенко ушел в комнату, вернулся в свитере и накинул Морготу на плечи шерстяной плед.

— Ну, если водки ты не хочешь, чайку попьем.

Моргот достал из кармана пачку сигарет и закурил; плед его раздражал. Постепенно на него сходило ощущение уюта и тепла: сегодня у Сенко на кухне было прибрано, на столе стояла только сахарница и вазочка с печеньем, и грязная посуда не громоздилась в раковине, — не иначе, к нему вечером заглядывала подружка. Но вместе с этим Моргот почувствовал болезненную

тоску: по лампам в абажурах, по занавескам на окнах, по газовой плите, на которой шумит нормальный эмалированный чайник без кипятильника из лезвий внутри. Он вспомнил фары, по одной из которых стекал и капал на пол гаража бензин, и двух девочек — одну долговязую и нескладную, а другую — маленькую и хорошенькую.

— Громин, ты чего? — Сенко сел напротив.

— Я все время думаю: кто-нибудь из них запросто может оказаться тем летчиком, который бросил бомбу на мой дом, — неожиданно сказал Моргот и почувствовал, как слезы щекочут ему подбородок. Он никогда и ни с кем не говорил об этом, даже с Максом, и, если бы не ощущение наваждения, не стал бы говорить об этом и с Сенко.

— Скажи, ты бы убил его, если бы знал это наверняка? Моргот скрипнул зубами и отвернулся к окну.

— Я не вижу в этом смысла. Я бы хотел убить его мать. Или его ребенка. Но это бессмысленно тоже. Я бы хотел, чтоб эта бомба снилась ему в кошмарах. Но этого я не добьюсь, что бы я ни сделал.

Свисток на носике чайника потихоньку закурлыкал и захлебнулся кипятком, выплескивая его на плиту. Сенко залил кипятком заварку, не вставая из-за стола: кухонька была такой маленькой, что в ней все можно было делать, не сходя с места. Из заварочного чайника выплыло облачко пара, и над столом растекся прохладный запах мяты.

Мама всегда заваривала чай с мятой и говорила, что он успокаивает. Наверное, это стало последней каплей в череде случайностей той ночи. Собственная кухня, большая и светлая, с липой в окне и светло-зелеными стенами, всплыла в памяти знакомым запахом мяты и наполнилась голосами. Моргот считал, что живет хорошо, гораздо лучше, чем раньше. Он был свободен, не связан чувством долга, он делал, что хотел. И, наверное, будь они живы, он бы ушел куда-нибудь, в какой-нибудь аналогичный подвал. Возможно, он бы не виделся с ними, так же как сейчас не стремился видиться с теткой.

Но, черт возьми, он бы знал, что в любую минуту может прийти! Сесть в кухне на свое место и пить чай с мятой, который заваривает мама! Слушать ворчание отца и глупости брата!

И снова, как это обычно с ним и бывало, нестерпимая боль свалилась на него неожиданно, когда он не был готов к ней, не успевал выставить щиты масок и чужих лиц, отрепетированных ролей, не успевал уйти в сторону, увести свои эмоции и мысли в безопасное место, где они его не потревожат. Он знал, что как только это начнется, он уже не справится с собой, как будто перешагнет какую-то границу, как будто за ним захлопнется дверь, в которую он потом будет ломиться изо всех сил и не сможет вернуться обратно. В детстве с ним это случалось часто, никогда не приносило облегчения, но доставляло определенное удовольствие — чувствовать себя не властным над собой, не отвечать за себя. Чем старше он становился, тем отчетливей понимал иллюзорность этой безответственности, тем сильнее стыдился подобных припадков. Но управлять ими не мог.

Сенко стически выдержал разбитую сахарницу и разлетевшееся по кухне печенье, но когда Моргот едва не выбил головой оконное стекло, Сенко скрутил его в плед, как в смирительную рубашку, с силой и ловкостью, достойной санитара из психушки, а потом сунул головой под струю ледяной воды из крана и завалил на диван в комнате.

Ледяная вода возымела действие: Моргот перестал биться и судорожно рыдал, подтянув колени к животу, и тискал в руках думочку в шелковой наволочке с вышивкой, время от времени кусая ее зубами. Минут через десять Сенко принес ему чай в большой кружке, усадил и поил, как беспомощного больного, придерживая ему голову. При этом он оставался невозмутимым и ничего не говорил. И неожиданно истерика, которая обычно водила Моргота по кругу, высасывая силы, перешла в нормальные слезы облегчения, как это случалось, если никто ее не видел и не слышал. Сенко заставил его раздеться и уложил под одеяло: Моргот еще лил слезы, но уже беззвучно и умиротворенно. Он так и уснул со слезами на глазах, слушая, как Сенко ходит по кухне, убирая осколки сахарницы. Ему ничего не снилось.

Я ищу синоним к слову «Родина»,
который не вызовет усмешек
на лицах моих друзей...

*Из записной книжки Моргота. По всей
видимости, принадлежит самому Морготу*

— Я не скажу, что известие это прозвучало для меня громом среди ясного неба, — Лео Кошев говорит спокойно, ни один мускул на его лице не выдает эмоций. Он не просто невозмутим — он делает вид, что его ум продолжает превалировать над чувствами. И у меня опять складывается ощущение, что играет он плохо. — Я предполагал, что на бирже с акциями завода происходит что-то неправильное. Рост акций не соответствовал скорости их движения. Рынок ценных бумаг в то время только-только начал развиваться, поэтому экономическим законам в полной мере не подчинялся. На рынке действовал ограниченный круг лиц, профессионалов и игроков; люди же, не имеющие капитала, выступали на нем продавцами акций, полученных в ходе разгосударствления собственности. Чтобы какая-нибудь повариха пошла на биржу и купила акции вместо того, чтобы положить в кубышку золотую цепочку, — это было беспрецедентно. Конечно, покупка акций на подставных лиц распространилась среди некоторых игроков... Но акции завода не стоили того, чтобы на них играть. Не было ни одной причины ожидать ни их взлета в цене, ни падения. Колебания на рынке, характерные для того времени, измерялись не пунктами, а десятками, а то и сотнями пунктов. Какой игрок стал бы тратить время на акции завода, если их подъем в цене при максимальном спросе вырос на пять-шесть процентов?

— И, тем не менее, вы ничего не предпринимали? — спрашиваю я.

— Я только предполагал, но я не был уверен. Не забывайте, я видел всего лишь оживление продаж. Количество мелких акционеров измерялось тысячами. На заводе в момент его разгосударствления работало более четырнадцать тысяч человек. Многие из них продали акции сразу, многие сдавали их потихоньку, по мере совершения крупных покупок.

— И много можно было совершить крупных покупок на тот пакет, который получил каждый работник при разгосударствлении?

— В самом начале процесса — две бутылки водки, — усмехается Кошев. — Но через три-четыре года этот пакет составлял довольно приличную сумму. Около трех средних месячных зарплат рабочего нашего завода. Возможная продажная цена завода в два раза превосходила суммарную стоимость акций — возможная рыночная цена, разумеется: о стоимости восстановления я не говорю. Она в десятки раз больше рыночной. И со временем цена падала, оборудование изнашивалось и устаревало. Продажа завода по частям могла дать больше денег, чем продажа целиком.

Я не спрашиваю, откуда у бывшего директора завода сорок процентов акций. Я не хочу ставить его в неудобное положение и еще раз выслушивать рассказ о том, что он сохранил завод.

— И все же: почему вы ничего не предприняли?

— Когда я убедился в том, что акции скупаются на подставных лиц, я начал добирать недостающие мне до контрольного пакета. Но вытаскать деньги из оборота не так просто, это требует времени. Я опоздал. Я успел набрать только три процента, когда они взлетели в цене до запредельных величин. В тот момент контрольный пакет еще не находился в собственности Виталиса, но уже был изъят из оборота. Дальнейшая скупка была бессмысленна.

— А разве супермаркеты не находились в собственности акционерного общества?

— Нет. Это было отдельное юридическое лицо с моим контрольным пакетом. Остальные акции действительно принадлежали заводу.

Утро наступило для Моргота далеко за полдень, и разбудил его щелчок замка в дверях. Опухшие веки слиплись, их кололи мелкие сухие кристаллики соли, и Моргот долго продирает глаза и тер их кулаками.

Судя по всему, Сенко откуда-то вернулся, потому что Моргот слышал, как он снял в прихожей ботинки и прошел на кухню. Потом открылся и закрылся холодильник, щелкнула электрическая зажигалка для газа, и тяжелый чайник опустился на конфорку.

Моргот босиком прошлепал до совмещенного санузла с сидячей ванной и долго плескался под душем, пользуясь

случаем. Да и выходить к Сенко не хотелось: Морготу, как всегда, было стыдно за происшедшее.

Но Сенко встретил его на кухне невозмутимо, как ни в чем не бывало пожелав доброго утра.

— Извини, — буркнул Моргот вместо приветствия, поправил полотенце, обернутое вокруг бедер, и сел на табуретку у окна.

— Да ладно, — пожал плечами Сенко, — подумашь... Пельмени будешь?

— Давай, — Моргот избегал смотреть ему в глаза.

— Пусть поварятся немного, — Сенко помешал пельмени шумовкой и сел напротив. — Да ладно, Громин, кончай... Все нормально, правда. Я привык.

Моргот посмотрел на него вопросительно, и Сенко ответил:

— У меня с мамой такое бывает. Не часто, но гораздо хуже.

Вместо сахарницы на столе стояла эмалированная миска. Моргот поспешил отвести от нее глаза. В комнате зазвонил телефон, Сенко вышел и через минуту вернулся.

— Слушай, ты поешь тут сам, — сказал он виновато, — я добегу до одного клиента и через часок вернусь. Только ты не уходи, у меня дверь не захлопывается.

Моргот пожал плечами. Срывать с места немедленно ему не хотелось, да и в квартире Сенко он себя не чувствовал чужим — слишком много времени проводил здесь когда-то за конспектами, и ночевать оставался частенько. Поэтому, проглотив тарелку пельменей, он пошел в комнату, заправил диван, на котором спал, и поискал глазами, что бы почитать.

Еще утром он заметил в коридоре три связки книг, помятые и грязные, как будто приготовленные к сдаче в макулатуру, которые подпирали дверь в кладовку. Моргот посмотрел на верхние обложки, пробежался пальцем по корешкам и удивился, обнаружив, что Сенко до сих пор интересуется своей специальностью, — это были книги на разных языках, по механике, физике, химии, узкоспециализированные и общие. Не меньше сорока штук.

Моргот развязал одну веревку, стягивавшую бока книг, и вытащил на свет сначала справочник по общей

химии. Ничего нового про искусственный графит он там не обнаружил, кроме того, что для его изготовления применяются высокие температуры и нефтяной кокс. Из любопытства он приоткрыл дверь в кладовку и присвистнул, обнаружив самую настоящую библиотеку: связки книг занимали все пространство от пола до потолка... Старые и не очень, перепачканные, тонкие и толстые, они пестрели иностранными словами, блестели исцарапанным глянцем обложек, выставляли напоказ затертые и засаленные переплеты.

Моргот начал сверху. В таком изобилии не могло не быть книг, которые хоть немного помогли бы ему разобраться с производством искусственного графита. Он вывалил под ноги два десятка стопок, когда разыскал первую подходящую книгу: «Углерод на службе человека» — если он, конечно, правильно это название перевел. Вторая книга, заинтересовавшая его, была не столь близка к теме, но тоже могла пролить свет на проблему и называлась «Задачи глубокой переработки нефти».

Он порылся в кладовке еще немного, но ничего не нашел и уселся на пол среди развороченной библиотеки просмотреть свои трофеи. Читал он медленно, технические тексты всегда давались ему с трудом, Моргот не поленился встать и отыскал два словаря на книжной полке в комнате.

Он нашел много интересного, даже принципиальную схему графитизации. Нашел требования к содержанию примесей, таблицы физических свойств искусственного графита различных марок — он и не предполагал, что они исчисляются сотнями...

Сенко застал его сидящим на ковре посреди комнаты, со всех сторон обложенным словарями и умными книгами.

— Громин, ты читаешь на языке вероятного противника? — усмехнулся он.

— С трудом... — ответил Моргот. — Зато противник более чем вероятный... Я тут пару книжек у тебя заберу, не возражаешь?

— Да забирай. Я их из макулатуры выуживаю, рядом с моей точкой на рынке — пункт приема макулатуры. Приплачиваю алкашам, чтобы книги сначала ко мне несли, они и рады стараться. На них и штампы

библиотечные стоят: НИИ «Электроаппарат». Не знаю, куда девался сам НИИ, а библиотеку потихоньку растаскивают. И, похоже, книги алкаши не с полок снимают и не из запасников достают. Может, в каком подвале засыпанном нашли, а может, и на свалке теперь библиотека.

Моргот поел пельменей еще раз, теперь вместе с Сенко, и после второго завтрака — или обеда? — решил сделать дежурный звонок Стасе, не рассчитывая на ее снисхождение и надеясь, что она и на этот раз бросит трубку. Эти звонки были для него оправданием: «Я сделал все, что мог».

Но он ошибся. На этот раз Стася трубку не бросила.

— Здравствуй, — в голосе у нее не было ни капли грусти, напротив, она постаралась, чтобы это прозвучало холодно и официально, — это хорошо, что ты позвонил.

— Не может быть, — с сарказмом ответил Моргот.

— Ты неправильно истолковал мои слова. Между нами невозможны никакие личные взаимоотношения, это ты, надеюсь, понимаешь.

— Нет, — Морготу захотелось рассмеяться и от ее официального тона, и от того, какие глупости она несла.

— Мне жаль. Но объяснять тебе элементарные вещи я не буду.

— Но ты рада, что я позвонил?

— Я не говорила, что я рада. Я сказала: хорошо, что ты позвонил. Есть вещи важнее моих обид и амбиций. Мне надо поговорить с тобой по очень важному делу. И наших личных отношений это дело не касается.

— Я заинтригован, — улыбнулся Моргот. — Рассказывай.

— К сожалению, я не могу говорить об этом по телефону. Скажи мне, в какое время ты можешь со мной встретиться и где?

Моргот прикинул в уме, сколько у него осталось денег после покупки картины, и решил, что на ресторан хватит, но впритык. И больше ничего после этого не останется, но эту проблему можно будет решить попозже.

— Я могу в любое время. Я закажу столик на восемь вечера, это нормально? Там, где мы с тобой были, помнишь?

— Нет. Не надо столиков, — оборвала она. — Никаких ресторанов. Встретимся в парке напротив моей работы. Я буду свободна в семь часов. Думаю, ты успеешь.

Она так поспешно положила трубку, как будто боялась, что он уговорит ее на ресторан.

— Ну в парке, так в парке, — усмехнулся Моргот самому себе. Может быть, ему повезет, и Стася не станет выяснять с ним отношений? Поговорить она наверняка собирается об акциях: либо узнала что-то новое, либо у нее болит душа за «дядю Лео». Моргот не имел ничего против поговорить об акциях и «дяде Лео», но он склонялся к мысли, что для Стаси это всего лишь повод встретиться и позволить уговорить себя помириться. Уговаривать Моргот не любил, к тому же весь его опыт общения с женщинами убеждал его в том, что подыгрывать им в этом бессмысленно. Если идти у них на поводу, они быстро садятся на шею, а если делать вид, что не понимаешь тонких намеков, вслед за первым шагом они делают второй, и третий, и так до тех пор, пока не наступает примирение.

С этими мыслями Моргот и отправился на встречу со Стасей. Он нарочно опоздал на три минуты: ровно на столько, чтобы не вызвать раздражения, но и не дать понять, что раздавлен чувством вины до чрезмерной пунктуальности.

У входа в парк Стаси не было, и его тщательно рассчитанного опоздания она не оценила. Ему и в голову не пришло, что она может стоять у проходной и ждать его появления: он не верил в ее хитрость, расчет и игру. А между тем, она появилась только через пять минут — Моргот успел почувствовать себя робким любовником, ожидающим «минуты верного свиданья»: на него посматривали прохожие, а он торчал на самом видном месте с сигаретой в зубах и безуспешно изображал, что остановился здесь покурить и подышать свежим воздухом. Роль не убедила в этом его самого.

— Извини, меня немного задержали, — Стася запыхалась, и в первые минуты встречи это уменьшило некоторую принужденность.

Моргот не стал, как обычно, нагибаться и целовать ее, чтобы у нее не появилось повода гордо отстраниться, а, бросив окурок точно в середину урны, направился в глубь парка, предоставив ей возможность идти сзади. И если Стелу подобное поведение привело бы в восторг, то Стасе это наверняка не могло понравиться. Был ли он зол на

нее? Только самую малость и за последние пять минут. Но самолюбие настойчиво требовало реабилитации.

Впрочем, далеко он не пошел, дабы не делать жест откровенно оскорбительным, а у ближайшей свободной скамейки обернулся и сделал приглашающий жест, как будто был добрым хозяином, показавшим гостю дорогу к столу. Низкое солнце тонкими лучами пробивало широкую листву входившего в зрелость лета, еще не пыльного, насыщенного зеленой краской и влажной прохладой; красная гравийная дорожка сладко хрумкала под ногами, людей вокруг хватало: с колясками, с собаками, с детьми, да и обычных прохожих, срезающих угол через парк. Скамейка, выбранная Морготом, стояла чуть в стороне от сквозного прохода и в тени, в то время как большинство посетителей парка старались устроиться на солнце, отдающем последнее тепло длинному вечеру.

Стася, оглядевшись по сторонам, села. Как всегда, на край скамейки.

— Я рад тебя видеть, — он присел перед ней на корточки и улыбнулся самой искренней улыбкой, имевшейся у него в запасе. Ответить на эту улыбку недовольной гримасой мог только совершенно бессердечный, лишенный совести человек. Стася имела и совесть, и сердце, ее твердая решимость поколебалась, и она ответила, отведя глаза:

— Моргот, мне искренне жаль, что я не могу продолжать с тобой встречаться. Я действительно хочу поговорить с тобой об очень важном. Для тебя важном. Я не верю, что ты встречаешься со мной по своей воле. Тебя... — она замолчала, подбирая слово, но все же сказала его, — тебя подослали ко мне. Я не сержусь на тебя и не вижу в твоём поступке ничего дурного, поверь. Но не надо больше притворяться.

Моргот изобразил на лице ту неопределенность, которая оставила бы ее предположение предположением.

— Я согласна просто рассказывать тебе о том, что тебя интересует. Так будет проще и тебе, и мне. Так будет гораздо честней, ты не находишь?

— Меня никто к тебе не посылал, — он снова улыбнулся — на этот раз печально и загадочно. Загадочно — исключительно для того, чтобы Стася усомнилась в его словах, но не настолько, чтобы поверить в собственную версию.

Она вздохнула, и глаза ее на несколько секунд стали растерянными.

— И все же я позвала тебя для того, чтобы рассказать, что произошло вчера...

— Хорошо. Я с удовольствием послушаю, что произошло вчера. Ведь если бы ты не хотела мне этого рассказать, мы бы вообще не встретились, я правильно понимаю?

Она не стала отвечать на его вопрос. Моргот приподнялся, чтобы вытащить из кармана сигареты и зажигалку, и тут же снова сел на корточки, глядя на Стасю снизу вверх.

— Ну? — он улыбнулся еще раз, на этот раз ободряюще, и привычным жестом стукнул по дну пачки, выбивая сигарету.

— Что у тебя с глазами? — вдруг спросила она, и Моргот сделал вывод, что ее слова о невозможности дальнейших встреч — только слова.

— Я плохо спал, — ответил он не задумываясь.

— Мне кажется, тебе не очень удобно слушать меня в таком положении...

— Ничего. Я люблю смотреть на собеседника, не выворачивая головы. Удобней всего разговаривать за столиком. Но ты сама выбрала парк.

Стася вздохнула, огляделась по сторонам, выдержала паузу и наконец начала.

— Вчера дядя Лео узнал о том, кто скупает акции завода. Ты оказался прав. Я не хотела подслушивать. Но это произошло вечером, в приемной было очень тихо, а Виталис неплотно прикрыл дверь. Мне надо было уйти, но я не смогла... Я подумала, что мне надо это услышать, чтобы передать тебе.

Моргот кивнул с пониманием. Кто же упустит такой повод для встречи?

— Дядя Лео попросил меня позвонить Виталису на радиотелефон, он не захотел сам говорить с ним по телефону. Но Виталис приехал только в половине седьмого, хотя я звонила ему сразу после обеда. Я тогда еще не знала, зачем дядя Лео его зовет. Если бы я знала... Бедный, бедный дядя Лео! Ты... ты понимаешь, что он пережил за это время?

Моргот обозначил понимание еле заметным кивком.

— Он все спрашивал Виталиса, чего ему не хватает. Денег? Домов? Машин? Бассейнов? Яхт? Виталис смеялся над ним и кивал, повторяя: и домов, и машин, и

яхт. Всего не хватает, и всегда будет не хватать. Еще хочется иметь собственный самолет, свою телестудию и много разных полезных вещей, на которые у дяди Лео не хватит даже фантазии, не то что денег.

Моргот не мог не согласиться: богатая фантазия, несомненно, была главным достоинством Кошева-младшего.

— А потом они заговорили про деньги: откуда Виталис взял деньги на покупку акций. Это ведь не мелочь на карманные расходы, скопить такую сумму нельзя. Виталис что-то говорил о займе под проценты, но дядя Лео ему не поверил, потому что никто такой суммы под проценты не даст, оборудование завода неликвидно, прибыль минимальна, и рассчитывать на скорую отдачу не приходится. Да и смысла в этом никакого нет.

— Ну-ну, — не удержался Моргот от комментария.

— А потом дядя Лео долго молчал, а Виталис смеялся. Он смеялся... Как будто в молчании дяди Лео было что-то смешное... Я... Я не могла этого слышать. Это не мое дело, понимаешь? С моей стороны было верхом бестактности войти и сказать, что я думаю. Это бы еще сильней оскорбило дядю Лео.

— Конечно, — согласился Моргот. — И что дальше?

— А дальше дядя Лео прошел по кабинету и сказал, что он догадывается, под какой залог Виталис получил деньги. И кто эти деньги дал. Он сказал это так, что мне стало страшно. Мне показалось, он готов Виталиса убить. Не в переносном смысле, а на самом деле.

— Я полагаю, он этого не сделал? — сладко усмехнулся Моргот.

— Нет. Он сказал, что продажа завода по частям произойдет только после его смерти. Он не позволит этого, так что Виталису придется прибегнуть к вооруженному перевороту в управлении завода, с привлечением военной полиции. Он кричал, что завод имеет для страны стратегическое значение, и продажа его по частям лишит страну металла. Потому что супермаркеты, а значит, наличные деньги, и служба охраны, и здание заводоуправления принадлежат дяде Лео лично. И ни Виталис, ни его покупатель никогда не перешагнут порога этого кабинета. Он не позволит продавать Родину и ее стратегический потенциал. Он так и сказал.

— И что ответил Виталис?

— Он ответил, что вооруженного переворота не потребуется, что дядю Лео просто арестуют и объявят вне закона. Я не совсем понимала, о чем они говорят, но это показалось мне очень важным. Если он говорит о стратегическом потенциале, может быть, речь идет о том самом ядерном оружии, которое было у Луничча? Ведь его так и не нашли... Ты представляешь, что будет, если его на самом деле найдут? Что если Лунич прятал его на нашем заводе?

Моргот ничего не сказал о хранении ядерного оружия в центре большого города, а также о том, что его производство немного отличается по масштабам, например, от юго-западной площадки, которую охраняют два волкодава и не слишком бдительные сторожа на проходной. Пусть Стася думает именно так: чем глупей будет выглядеть ее версия, тем меньше риск, что ей поверит кто-нибудь еще.

Моргот неопределенно пожал плечами.

— А дядя Лео? Как ему это понравилось?

— Он сказал, что сорока пяти процентов пока мало, чтобы принимать подобные решения, что требуется собрание акционеров для того, чтобы сместить его с должности директора или продать имущество завода в таком масштабе. Ткнул Виталиса лицом в устав... Виталис ответил, что через неделю у него будет пятьдесят один процент, он проведет собрание акционеров в собственном лице и примет любое решение, которое ему понравится. Он... он глумился... Он вел себя так, как будто он на вечеринке... Он был... отвратителен.

— Он всегда отвратителен, — проворчал Моргот злобно. — И что дальше?

— Виталис собрался уходить. Я вышла из приемной раньше него, чтобы он меня не увидел. Я не спала всю ночь. Понимаешь, я должна испытывать к нему благодарность: он помог мне продать картину. Но я не чувствую благодарности. Мне кажется, этим он хотел меня подкупить.

— Он подкупает всегда и всех. Кого-то деньгами, кого-то услугами, кого-то обаянием, — Моргот хмыкнул, — и ты не исключение.

— Ты считаешь, я должна вернуть деньги за картину? Если это подкуп? — Стася спросила это совершенно серьезно.

— А что, он сам ее купил?

— Нет, он нашел покупателя. Я даже не знаю, кто мне заплатил. Продажа прошла через какой-то салон, я не помню его названия, но у меня остались документы.

— Ты не допускаешь мысли, что картина покупателю понравилась, только и всего? И заслуга Кошева только в том, что он ее покупателю показал? Еще неизвестно, кто от этого больше выиграл... — Моргот повел бровью.

— Ты думаешь, моя картина могла кому-то понравиться?

— А почему нет? Ты неплохо рисуешь, — последние слова должны были прозвучать мнением дилетанта и могли оскорбить слух настоящего художника.

Стася проглотила эти слова и сказала:

— Мне заплатили очень много...

— Ну и что? Мало ли на свете богатых придурков? — на этом месте Моргот понял, что переиграл, и добавил: — Я хотел сказать, богатых меценатов. И возвращать деньги глупо. Ты не можешь вернуть Кошеву уже оказанную услугу.

— Да, конечно, — вздохнула она, а потом поднялась. — Я надеюсь, то, о чем я тебе рассказала, кому-нибудь пригодится.

Моргот не стал ее разочаровывать. Информация о том, что старший Кошев не хочет продавать завод, да еще и рассуждает о стратегическом потенциале страны, была для него новой, но как ее использовать, Моргот не предполагал.

— Как мне связаться с тобой, если я узнаю что-нибудь еще? — голос Стаси был холоден, но решителен.

— Никак, — усмехнулся Моргот, — у меня нет телефона.

— Но у тебя, наверное, есть адрес?

— Хочешь написать мне письмо?

— Я могу приехать.

Моргот покачал головой — никто из его прежних друзей, кроме Макса, не знал, где и с кем он живет. Моргот бережно хранил эту тайну. Кроме того, что он не хотел общения с милицией и родственниками, он не очень любил гостей, особенно нежданных и незваных. Он не хотел, чтобы кто-то знал о четверых беспризорных мальчишках на его попечении, об алкоголике Салехе, о том, что живет Моргот в подвале. Когда его спрашивали

об этом, он всегда отвечал: «Живу у тетки на даче». И больше вопросов не появлялось.

— Я живу за городом. Это не только далеко, туда еще и неудобно добираться. Я сам буду тебе звонить.

— Каждый день? — холод в ее голосе превратился в лед.

— А почему бы нет?

— Мне... Мне это неприятно... — она сжала губы.

— Что ж поделаешь? Придется терпеть, — Морготу хотелось рассмеяться, но он сохранил серьезное выражение лица. Ситуация казалась ему донельзя глупой.

Если на свете существует настоящая любовь, то я ее видел. Они оба говорили о ней, захлебываясь от счастья. Они перебирали в памяти встречи, перетирали мелочи, замирая от восторга и переходя на шепот, они прикрывали глаза и кусали губы от переполнявших их чувств. Они задыхались от головокружительных воспоминаний и говорили, говорили, говорили... Выплескивали на меня свою радость и свою боль. Я никогда не видел их вместе, но представляю их отчетливо и без труда.

Мотылек-однодневка... Чувство, вспорхнувшее над реальностью, вырвавшееся из реальности: невероятное, неожиданное, чуждое этой реальности, как цветок в колее разъезженной дороги, неуместное, как томик стихов на столе у следователя. Оно не имело времени на то, чтобы погаснуть, поэтому осталось таким, какой бывает любовь в самом ее начале: ярким, чистым, не омраченным первым непониманием. Оно не узнало ни ревности, ни охлаждения, ни ссор. Оно осталось летать в пространстве навсегда таким, каким родилось.

Мотылек-однодневка, обретший вечность.

— Я вышла с работы, как всегда, около семи часов. Сейчас мне кажется, что я предчувствовала что-то с самого утра, но я обманываю себя. Я ничего не предчувствовала. Я думала о дяде Лео, об акциях, о Морготе. Он ведь почти убедил меня в том, что он из Сопротивления. Если бы я знала тогда... Я и этого не могу ему простить.

— Но он ведь вас не обманывал, — снисходительно, с улыбкой говорю я, — он никогда не говорил, что он из Сопротивления. Вы сами так решили, разве нет?

— Он не разубеждал меня. Ему нравилось, что я так думала. Он хотел, чтобы я восхищалась им, он хотел, чтобы я уважала его за это! И я, глупая, уважала его и восхищалась! Если бы я только могла себе представить, что все это — фарс! Честное слово, мои переживания сошли бы на нет за несколько дней. Я бы не разрывалась на части между отвращением и уважением. Я не хочу говорить сейчас об этом. Я шла и думала о дяде Лео... — лицо ее освещается легкой улыбкой, глаза мутнеют, и ресницы опускаются. — Я шла на автобусную остановку... От нее как раз отходил автобус, но я видела, что не успеваю, и не стала торопиться. А Макс, наоборот, бежал, надеясь успеть. Он не хотел меня толкать, это получилось случайно. Он был такой огромный, неуклюжий, он задел меня совсем легко, но я упала, и он испугался. Наверное, такое бывает раз в жизни! Такие встречи не могут происходить случайно, это судьба сводит людей. Представьте себе, в таком огромном городе ты вдруг находишь того, кого искал всю жизнь! Мне хватило одного взгляда, чтобы это понять. Он нагнулся, помогая мне встать, и когда я встала на ноги, я уже знала, что люблю его. И он тоже знал, что меня любит. Это было как озарение...

— Действительно вот так, с первого взгляда?

— Сейчас мне кажется, что я любила Макса всегда, с самого рождения, но никогда его не видела. Он проводил меня до остановки. Он был... Он обращался со мной как с цветком... Это не нежность даже, это... Мне не объяснить этого словами... Мы гуляли всю ночь. Доходили до моего дома, стояли под окнами и снова шли гулять. Ночь была прохладная, но ясная. Он обнимал меня за плечо, чтобы согреть. Он делал это совсем не так, как Моргот. Я всегда хотела... чистоты...

— Моргот позвонил мне не очень поздно вечером, и мы зашли выпить пива в летнее кафе, — лицо Макса становится мечтательным, воспоминание о предтече следующего дня делает его романтиком, — он рассказал мне о Кошевых. Вообще-то он не любил говорить о своих неудачах, и если отнекивался от каких-то поручений, то объяснял это совсем другими причинами, только не неудачами. Более того, он мог отказаться, а потом

преспокойно сделать то, о чем его просят. Я думал, он и в этот раз ломается и набивает цену. Я знал его как облупленного, но не всегда мог заранее угадать, что он предпримет на следующий день. Он на полном серьезе убеждал меня, что встречаться со Стасей ему неприятно, что она надоела ему хуже горькой редьки, что ему с ней скучно, что она не сегодня-завтра поймет, что он герой не ее романа. А изображать из себя ее идеал ему противно, и роль «милого друга» не для него. Мы едва не поругались. Я, конечно, не хотел терять такой источник информации. И предполагал, что события вокруг продажи цеха теперь будут развиваться очень быстро. Моргот, разозленный, посоветовал мне самому познакомиться со Стасей и встал, чтобы уйти. Все это мы проходили, и не раз. Поэтому я и старался обсуждать щекотливые темы у него в подвале, чтобы ему некуда было сбежать. А тут мне ничего большего не оставалось, как сказать ему, что я с удовольствием и сам бы с ней встречался, но, к сожалению, мы незнакомы. И талантом обольщения я не владею.

Я посмеиваюсь, представляя себе эту сцену.

— Моргот остановился и вернулся за столик. После этого и был разработан план, как мне познакомиться со Стасей. Что же до обольщения, Моргот сказал, что ничего из себя изображать не надо, кролики любят таких вот добрых молодцев, которые в присутствии девушки не могут связать двух слов. В итоге мы договорились, что я буду страховкой на случай, если Стася окончательно разорвет с Морготом отношения. Он будет ей звонить, а я познакомлюсь с ней и попробую подружиться. Моргот на это сказал: «Во-во. Подружиться. Это ей подходит больше. А я с девочками не дружу». Он смеялся над ней и надо мной. Я даже не предполагал тогда...

Макс вздыхает, сцепляет руки замком и опускает голову. На его лице застывает улыбка, немного застенчивая, счастливая и горькая одновременно.

— Я нравился женщинам, чего греха таить... — говорит он, — но они быстро понимали, что я из себя представляю, и вертели мной, как им нравится. Я был для них чем-то вроде игрушки, эффектного трофея, которым не стыдно похвастаться перед подругами. И только. Скромные девушки, которые мне всегда нравились,

никогда не смотрели в мою сторону, я не знаю, почему... Меня обычно подцепляли девушки энергичные... Когда я увидел Ее, я... я растерялся. Я не предполагал, что она такая маленькая, такая хрупкая... Я не думал, что собою ее с ног. Я испугался. Я никогда не забуду этого мгновения, когда я в первый раз увидел ее глаза, ее лицо... Моргот показал мне ее из-за угла, со спины, и я, пока не помог ей подняться, ее лица не видел. Она показалась мне очень красивой. Не той красотой, которую лепят на рекламные плакаты, нет. Таких, как она, любят всю жизнь.

Я киваю. Стася — очень милая девушка. Я бы не назвал ее красивой или некрасивой. Она именно мила. Она... очаровательна, хотя формально черты ее лица можно назвать неправильными.

Их банальные слова, тысячи раз повторенные человечеством, их взгляды, неотличимые от миллионов взглядов их предшественников, их вздохи, описанные сотнями книг, остаются необыкновенными для них самих. Все влюбленные одинаковы. Смешны и прекрасны.

«Сегодня мы провожаем в последний путь нашего коллегу, выдающегося журналиста-международника Анджея Хитрова. Двадцать лет он проработал на нашем канале, двадцать лет, каждое воскресенье, выходила в свет его «Международная жизнь», собирая у экранов миллионы зрителей. И смерть его, внезапная и загадочная, не оставила равнодушными его коллег. Смотрите на нашем канале журналистское расследование: «Анджей Хитров — последний репортаж».

(На экране — отрывки документального фильма, смеяются друг друга лица коллег известного журналиста).

— Анджей ненавидел коммунизм, он боролся с ним по мере сил и возможностей.

— Его фильмы только кажутся лояльными к режиму Лунича, на самом деле их насквозь пронизывает тонкая ирония человека, в совершенстве владеющего эзоповым языком.

— Лишь в последние несколько лет он получил возможность говорить правду открыто, но годы, проведенные в застенке, каким являлась наша страна до демократических перемен, сделали свое дело.

— Его последний фильм обещал стать настоящей бомбой, развенчивающей Луничу и его международную политику. Но ему не позволили говорить. Кто до сих пор боится правды? Кому помешал журналист-международник? Пока банды вооруженных фанатиков не будут полностью уничтожены, пока правительство не посмотрит правде в глаза и не скажет: с этим пора покончить, мы, журналисты, говоря правду, остаемся под прицелом!»

Макс пришел к нам вечером и застал Моргота перед телевизором, что случалось очень редко.

— Непобедимы! — гаркнули мы и даже построились в шеренгу, увидев, как он входит в подвал, пригибая голову.

— Садись, — Моргот подвинулся в широком кресле и предложил Максиму бутылку пива.

— Ты что это, изучаешь пропаганду Плещука с целью ее анализа?

— Нет, мне интересно, как они будут превращать Хитрова в героя, павшего в бою против коммунистов.

— И как? — Макс присел рядом с ним на широкий подлокотник и открыл бутылку.

— Пока топорно. Он, оказывается, всю жизнь говорил эзоповым языком, — Моргот захихикал.

— Между прочим, последний фильм он снимал о вывозе наших технологий за рубеж.

— Откуда ты знаешь?

— Он получил разрешение делать съемки на АЭС, якобы для проверки соблюдения техники безопасности, и отснял скрытой камерой, как миротворцы грузят и вывозят отработанное топливо. Часть отснятого материала попала к нам, а честь пропала безвозвратно. Что он еще успел снять, я не знаю.

— Они забирают у нас плутоний, — сказал Моргот, — на этом же построена вся эта катавасия с ядерным оружием в руках Луничу. Из-за того, что у нас есть плутоний.

— Кстати, миротворцы брали и пробы графита из реактора...

— Я думаю, они их брали не в первый раз... Ты заметил, как быстро они провели журналистское расследование? Сегодня день похорон, трех дней не прошло...

Я думаю, фильм начали снимать примерно за месяц до его смерти, — Моргот смотрел в экран.

— Не думаю. Хитров, конечно, сильно мешал, но никто не ожидал от него никаких разоблачений.

— Ты не выяснял у своих, пригодилась ли тетрадка Игоря Пospelова?

— Выяснял. Говорят, наши нашли эксперта. Через пару дней мне что-нибудь ответят. Если посчитают нужным.

— А если не посчитают? — хмыкнул Моргот.

— Тогда не ответят, — пожал плечами Макс с улыбкой.

— В шпионов играете? Детский сад это все, Макс. Детский сад. Кнопки на стуле учителя. Вы уже вывезли контейнеры с юго-западной площадки? Я тебе план нарисовал — вы их вывезли?

— Не смей меня! Как мы их вывезем? Сколько машин потребуется, ты представляешь?

— Вот я об этом и говорю. Зачем это все? Старший Кошев может в сотни раз больше, чем все ваше Соппротивление вместе взятое! Я не удивлюсь, если контейнеров там уже нет.

— Перестань, — махнул рукой Макс, — я устал это слушать. Возьми и вывези контейнеры, что тебе мешает?

— Это вы — пламенные борцы, а я так, погулять вышел... — Моргот хмыкнул. — Кстати, как прошла встреча с агентом «Кролик»?

— Сам ты... Кролик... — Макс отвернулся и скрипнул зубами.

— Что-то я не понял, неужели ты не сумел продолжить столь блестяще начатого знакомства?

— Это не твое дело, — Макс продолжал смотреть в сторону, и лицо его сделалось каменным.

— Да ну? Товарищ командир не желает отчитываться перед подчиненными?

— Отвяжись, сказал.

— Макс, я не понял, — Моргот слегка смягчился. — Ну, не вышло, что ж теперь... Я же должен знать, что мне делать.

— Ничего, — сухо ответил Макс, сжимая губы. — Продолжай ей звонить.

— Да ладно, рассказывай. Неужели добрый молодец, кудрявый блондин двухметрового роста, да еще и герой Соппротивления не впечатлил тонкую натуру художницы?

— Послушай... — Макс наконец повернулся к Морготу лицом, — заткнись, а?

— Да иди ты к черту! Ты еще вчера учил меня, как ее надо правильно трахать, а сегодня это все «не мое дело» и мне надо заткнуться?

Макс неожиданно схватил Моргота за грудки.

— Не смей даже заикаться о ней, ты понял?

— Убери руки, придурок... — спокойно ответил Моргот.

— Если бы ты только знал, какая ты сволочь... — Макс скрипнул зубами напоследок и толкнул Моргота обратно в кресло, — ты... такая сволочь...

— А ты не знал? — довольно ухмыльнулся Моргот.

— Я всегда знал, — Макс снова отвернулся. — Она же... Она чистая, понимаешь? А ты... ты что, по-человечески с ней не мог?

— Ты чокнулся, — Моргот рассмеялся. — Ты чокнулся, Макс! Ты впал в детство!

— В этом нет ничего смешного. Неужели ты не видел, кто перед тобой? Тоже мне, милый друг...

— Я должен был поразить ее тонкостью душевных качеств и глубиной мыслей? Я выбрал другой путь. Заметь, мне это было совершенно не нужно, это только ради тебя и твоего Сопротивления.

— Иногда я действительно тебя не понимаю... — Макс покачал головой, — я не понимаю, как у тебя рука поднялась? Ну как можно было?..

— Рука? Макс, ты что-то путаешь, — Моргот снова расхохотался, откидываясь в кресло.

— Сейчас я точно дам тебе в зубы. Если ты не заткнешься.

— Между прочим, она была в меня влюблена. Не веришь? — продолжал глумиться Моргот, заливаясь смехом.

— Громин, заткнись! Я мастер спорта, я не промахнусь!

— Макс, ты не представляешь, как это смешно!

Макс поднялся с подлокотника, но не рассчитал и стукнулся головой о низкий полоток, вызвав у Моргота новый приступ хохота. Я думал, Макс обидится, но он, напротив, сначала усмехнулся, а потом неуверенно хохотнул, потирая макушку.

— Конспиратор, мля, — смеялся Моргот, — подпольщик!

— Иди к черту, — проворчал Макс, начиная нерешительно смеяться.

— Непременно, — кивнул Моргот со смехом и смахнул слезу. — Макс, какой у тебя глупый вид! Сними уже с лица выражение восторженного идиота!

Макс не выдержал и расхохотался вместе с Морготом, плюхнулся в кресло рядом с ним и толкнул кулаком в плечо.

Они смеялись и возились, выплескивая пиво на засаленную обивку. Мы даже притихли, недоумевая, чего это взрослые серьезные дядьки резвятся, как маленькие. Это сейчас я понимаю, что они оба были очень молоды. В два раза моложе меня... Та сцена перед телевизором почему-то обведена у меня в голове траурной рамкой, и за кадром я слышу нежную, печальную музыку. Реквием. По телевизору в это время показывали похороны журналиста Анджея Хитрова.

— Все равно ты сволочь и циник, — Макс в последний раз пихнул Моргота в бок, — я никогда тебе этого не прощу.

— Ага, — Моргот потянулся за сигаретами, — а я — тебе.

На следующее утро Макс пришел к нам чуть свет, мы еще не вставали, а Моргот и подавно. Мы никогда не запирали дверь на ночь, поэтому он вошел и разбудил нас громким возгласом:

— Подъем, ребята! У меня для вас радостная новость!

Радостные новости мы любили, поэтому сон слетел со всех, кроме Первуни, в один миг.

— Мы едем ко мне на дачу, купаться, — сообщил Макс.

Такая весть разбудила и Первуню. Подпрыгнув на кроватях, мы заорали «ура» и наперегонки кинулись к умывальнику, не надевая тапочек. Кто-то с грохотом опрокинул стул, Первуня верещал, что он тоже хочет купаться и пусть его пустят умыться первым, мы с Силей разодрались из-за полотенца, но не всерьез, а так, помутузить друг дружку, Бублик ставил чайник и случайно пролил воду нам под ноги, на резиновый коврик, а потом сам же на нем и поскользнулся, едва не свернув раковину, отчего чайник упал и вся вода из него вылилась на пол. Макс, посмеиваясь, наблюдал за нашей суетой. Я не знаю, почему мы

всегда производили столько шума, особенно когда спешили, поэтому, конечно, разбудили Моргота: вскоре он выглянул из каморки, сонный и с сигаретой в зубах.

— Охренели? — начал он, но тут увидел Макса и поморщился.

— Моргот, Моргот, мы едем купаться! — крикнул Первуня.

— Да, мы с Максом едем к нему на дачу! — подтвердил Сия.

— Да ну? — Моргот мрачно осмотрелся и уставился на Макса. Взгляд его не обещал Максиму ничего хорошего.

— Правда! — сказал я. — Мы уже почти собрались.

— Моргот, хочешь с нами? — спросил Сия.

— Нисколько, — Моргот брезгливо приподнял губу.

— Собирайся, — с улыбкой кивнул ему Макс, — моя мама нас ждет. На пироги с капустой и на клубнику. Детям нужен свежий воздух.

— Детям, может, и нужен, а я тут при чем?

— Собирайся, говорю. У меня сегодня свободный день. Попьем пивка, погреемся на солнышке...

— В гробу я видал твое солнышко, — проворчал Моргот и захлопнул двери.

Макс нисколько не изменился в лице, продолжая улыбаться. Нам же было не до того: мы слишком торопились.

Моргот появился из каморки через несколько минут, в брюках и в майке, по дороге к умывальнику щелкнул Макса по лбу и выругался.

— Макс, ты будешь с нами завтракать? — вежливо осведомился практичный Бублик.

— Мы не будем завтракать: я набрал бутербродов, купим лимонад и в электричке поедем.

Это нас тоже порадовало — путешествие обещало стать настоящим праздником.

— Макс, мля, — Моргот, не дочистив зубы, вынул щетку изо рта и сплюнул в раковину. — Ты больной, честное слово...

— Ты здоровый, — улыбнулся Макс.

На вокзале Моргот купил нам по мороженому, да не простому, а самому дорогому — с кокосом и в шоколаде. Сами мы такого себе не покупали. Но он наотрез отказался брать колу и купил лимонад «Дюшес» с грушей на картинке. Кола казалась нам вкусней и слаще, и мы

никак не могли взять в толк, отчего и Макс, и Моргот так хвалят желтый лимонад и вспоминают детство. В электричку мы садились, с ног до головы перепачкавшись в шоколаде и в мороженом.

Масло на бутербродах растаяло, но жевать их в электричке было здорово. Вагон оставался полупустым, и мы успели побегать по нему немного. Какой-то дядя в очках и с корзинкой попытался сделать нам замечание, но Моргот не был расположен к нам цепляться и не обращал на нас внимания. Мы же обнаружили чудесную дверь в тамбур, на которой можно было кататься. Дядя в пятый раз не добился от нас послушания и желчно обратился к Морготу:

— Если мальчики с вами, будьте добры, усадите их на место. Они портят государственное имущество! Это называется вандализм!

— Бублик! Быстро сели все! — рыкнул на нас Моргот и повернулся к дяде: — Это давно не государственное имущество. Я бы на твоём месте жалел детей, а не вагоны.

— Когда я был мальчиком, мы не позволяли себе таких шалостей! — назидательно ответил дядя. — И обращались к старшим на «вы».

Моргот ничего не сказал и отвернулся к Максy. Мы уселись на другой стороне и прилипли носами к окну, за которым мелькали окраины города — мертвые заводы за полуразрушенными заборами, тонувшие в зелени крапивы и низкого кустарника. Изредка ландшафт разнообразили яркие бензоколонки и дорожные кафе, а потом их сменили пустые поля, заросшие лебедой. Разумеется, нам стало скучно, и мы галдели все громче, скакали по скамейкам и попытались воспользоваться полкой для багажа как турником. Меня полка выдержала.

— Ну что вы творите! Что творите! — на весь вагон запричитал дядя с корзинкой. — Это же уму непостижимо!

— Килька, мля... Щас я кому-то врежу! — отреагировал Моргот.

Я разжал пальцы, но в эту секунду электричка стала тормозить, и, вместо того чтобы приземлиться на пол, я упал на скамейку и больно разбил бок. Просто до слез. Упал я с грохотом, да еще и скатился на пол, все пассажиры повернулись в нашу сторону, а дядя с корзинкой назидательно произнес:

— Так и надо! Нечего хулиганить!

От его слов мне почему-то стало очень обидно, я и так еле держался, чтоб не разреветься, а тут слезы сами потекли из глаз.

С пола меня поднял Моргот. Я молча ревел и держался рукой за ушибленные ребра.

— Доигрался? — тихо спросил он.

Я только всхлипнул в ответ.

— Не слушай этого старого ублюдка, — Моргот усмехнулся и подмигнул мне, — ему скучно жить.

Мне стало смешно оттого, что он так сказал про взрослого, и я улыбнулся сквозь слезы. Моргот хлопнул меня по плечу и вернулся к Максy.

Дача Макса была крошечным домиком в садоводстве с крошечным же участком, на котором росли картошка, морковка и клубника. Малина вдоль забора из сетки-рабицы немного прикрывала участок от соседских взглядов. По дороге со станции Моргот шипел, что мы идем в приличный дом и вести себя надо прилично, и мы немного робели, ступив за калитку: по тропинке между грядок шли гуськом, низко пригнув головы.

— Как на эшафот, — посмеялся Макс. — Напугал детей.

— Щас тебе эти дети устроят! Хорошо, если дом не снесут... — процедил Моргот сквозь зубы, подталкивая замыкающего Силю в спину. — Грядки точно вытопчут.

Мама Макса — крупная белокурая женщина — вышла встретить нас на крыльцо. Она мне сразу понравилась, потому что хорошо улыбалась, — я не сомневался в том, что нам здесь рады по-настоящему.

— В дом этих чудовищ не пускайте, — вместо приветствия предупредил Моргот, — разнесут по досточке.

Мама Макса улыбнулась, поцеловала Моргота в лоб и ответила:

— Ничего, не разнесут. Проходите, мальчики, я купила молока и клубники собрала. Детям нужны витамины. А ты, оболтус, — она повернулась к Морготу, — об этом не думаешь.

Мы заржали, услышав, как Моргота называли оболтусом.

Нас усадили за круглый стол на веранде, накрытый клеенчатой скатертью, посреди которого стоял эмалированный тазик с клубникой; Макс принес кружки и

трехлитровую банку с молоком. Моргот за стол садиться не хотел, предлагал Максу попить пивка — они на станции купили целый ящик.

— Поешь ягодок-то, — мама Макса едва не силой усадила его рядом с нами; она вообще относилась к Морготу с нежностью, даже с жалостью, хотя и ругала его. — Макс у я в город привожу, а ты-то где клубники возьмешь?

Мы макали спелые ягоды в сахарный песок на широкой тарелке, отчего он слипался и делался розовым. На веранде было солнечно, и от тюлевых занавесок на стол ложились кружевные тени. Эти минуты я тоже вспоминаю как одни из самых счастливых в моей жизни. Я не знаю, откуда у меня появилось ощущение счастья, и дело не в том, что ягоды были вкусными, особенно с молоком. Мне было уютно и хорошо, меня любили здесь, мне здесь радовались, обо мне заботились. Я отвык от этого, и я очень это ценил. Я не сопоставлял тогда эту веранду со своим домом, с родителями, со своим прошлым, поэтому счастье мое ничем не омрачалось.

Моргот же был мрачен, как ноябрьская полночь, и угрюм, как медведь зимой. Лицо его кривилось, когда он клал ягоду в рот, а глаза вперились в рисунок на скатерти.

— Ты взял мальчикам полотенца? — спросила его мама Макса.

— Какие полотенца? — Моргот чуть скосил глаза в ее сторону.

— Вы же купаться пойдете, ты полотенца взял?

— Обсохнут как-нибудь, — проворчал Моргот.

— Ну что это за безалаберность! — мама Макса остановилась в дверях на веранду, взявшись рукой за косяк. — Это же дети! А плавки на смену у них есть?

— Чего? — Моргот поднял брови. — Какие плавки?

— Моргот, дети иногда простужаются. Это с ними случается чаще, чем со взрослыми. Ты должен понимать, что дети — это ответственность.

— Бублик! — Моргот едва не стукнул кулаком по столу. — Вы взяли полотенца?

— Неа, — Бублик уплетал ягоды, и вопрос его не смутил.

— А плавки?

— Да брось, Моргот, высохнем, — махнул рукой Бублик, — чего мы, в первый раз, что ли?

— Они высохнут, — кивнул Моргот маме Макса.

Она недовольно покачала головой.

— Полотенца я найду, а плавок у меня нет. Купай их голышом, если не хочешь простудить. И не вздумайте заплывать далеко, когда дети в воде! За ними надо следить каждую секунду!

— Мам, перестань, — Макс улыбнулся, — я в их возрасте купался один и ни разу не утонул.

— Только мне не хватало, чтобы ты утонул!

После этого мама Макса начала выяснять, кто из нас умеет плавать, и, узнав, что плаваем только мы с Силей, пошла на чердак — поискать что-нибудь для Бублика и Первуни.

Она долго собирала нас в дорогу, разыскивая полотенца, подстилки, на которых можно сидеть — и все переживала, что земля холодная, — наливала воду в вареный в пластиковые бутылки, складывала в пакет сушки и мармелад — чтобы мы не проголодались. Мы же, умяв весь тазик с клубникой, спешили скорей отправиться на речку, но торопить ее показалось нам неудобным. Мы только иногда спрашивали у Моргота шепотом, на ухо:

— Моргот, ну когда мы пойдем?

Он рычал на нас и посмеивался.

Для Бублика на чердаке нашлась старая, обглоданная пенопластовая доска, а для Первуни — надувной круг с корабликами. Еще некоторое время потратили на заклеивание круга пластырем — в нем обнаружилась здоровая дыра.

Всю дорогу до речки мы бегали вокруг Моргота с Максом, только Первуня, напялив круг на пояс, вышагивал рядом с ними, гордо поднимая голову и придерживая круг обеими руками. Макс знал, где можно расположиться так, чтобы нас никто не потревожил: за ольховыми кустами, на крошечной полянке, сразу за которой начинался довольно пологий песчаный спуск к воде.

Мы не стали ждать, когда Моргот и Макс разместятся на берегу основательно, разденутся и соберутся купаться: нам стоило только увидеть воду, чтобы не затыгивать далее канитель с подстилками, полотенцами и мармеладом. И уж тем более нас не волновало, где они спрячут пиво от солнца.

Мы резвились, как морские котики, оглашая широкую реку визгом и хохотом. Мы затащили в воду ревевшего Первуню, и он быстро перестал плакать; мы высмеивали Бублика, показывая на него пальцем, когда он плескался у берега вместе со своей пенопластовой доской; мы ныряли и брызгались, хватали друг друга за ноги и прыгали с высоких скользких мостков.

Когда же к нам присоединились Макс и Моргот, по очереди красиво нырнув с мостков в воду (там было глубоко), мы с Силей попытались сплавить с ними на другой берег, но быстро отстали. После этого мы учились нырять «ласточкой», но только отбили животы: у нас был не такой богатый опыт в плавании, как у большинства мальчишек. Потом Макс учил Бублика плавать с доской, а Моргот показывал нам, как правильно входить в воду, чтобы не удариться животом. Первуня прыгал вместе с нами, поднимая тучу брызг и едва не выскальзывая вниз из круга.

Вытащить нас из воды возможным не представлялось, да Моргот и не видел в этом надобности, поэтому они с Максом ушли на травку пить пиво и сохнуть, а мы продолжали беситься.

Первуня совсем осмелел, заплывая вместе с нами на глубину; Бублик же старался держаться поближе к берегу. Собственно, ради происшедшего я и решил рассказать об этой поездке: тот случай сильно повлиял на меня и на мое отношение к Морготу, хотя в том происшествии, по зрелом размышлении, не было ничего особенного или удивительного.

Как Силе пришлось в голову оторвать пластырь, заклеивавший дыру в круге Первуню, я так и не понял. Силе частенько приходили в голову странные идеи, и он не мог объяснить нам, зачем сделал ту или иную гадость. Я думаю, его способ познания мира немного отличался от нашего: каждый раз, когда он говорил: «Я хотел посмотреть, что будет», мне кажется, он хотел посмотреть, «как оно будет». Ведь нетрудно предугадать, что будет, если из стопки тарелок вытащить нижнюю, но что начнется после того, как все тарелки разобьются, представить действительно тяжело.

И на этот раз Силя наверняка не сомневался, что воздух из круга выйдет и Первуня начнет тонуть. Мы

плавали метрах в пятнадцати от берега, на глубине, когда Сияя это сделал — потихоньку, подплыв к Первуне сзади и сбоку. Я видел, как он, хихикая, отщипнул размокший пластырь от мачты нарисованного кораблика. Первуня даже не понял, что произошло. И не заревел как обычно — онемел от испуга. Воздух выходил из круга быстро, круг опадал на глазах, пока не перестал держать Первуню на воде. Он не пытался барахтаться, а медленно, но уверенно пошел на дно. Я, признаться, растерялся. Я только и смог, что заорать во все горло, повернувшись лицом к берегу. Сияя же кинулся спасать Первуню, но лучше бы он этого не делал!

Я не знаю, как Моргот догадался о том, что произошло, но когда я закричал, он был уже на ногах. Он бежал очень быстро, я никогда не видел, чтобы люди бегали так быстро... Сначала по песку — и песок брызгал из-под его ног во все стороны, — а потом по мокрым, скользким мосткам. Я не понимаю, как он не поскользнулся, — наверное потому, что преодолел их в два прыжка. У него было такое лицо — совсем белое, белей, чем белки глаз, — я надолго его запомнил. Я не знаю, как назвать это выражение лица: не страх, не испуг, не злость — оно словно искажалось сильной болью. Он вошел в воду «ласточкой», с разбегу, в прыжке преодолев едва ли не половину расстояния до нас, через секунду вынырнул на миг в двух метрах от меня и ушел под воду снова. Это произошло так быстро, что Макс за это время едва успел подняться на ноги.

Сияя, надеясь спасти Первуню, только навредил делу: Первуня, почувствовав помощь, обхватил Сию руками и ногами, испуг сделал его гораздо сильнее, чем можно было предположить, Сияя не мог шевельнуться, и они пошли на дно вместе.

Морготу стоило определенного труда выдернуть их на поверхность и разжать мощный Первунин захват. Он буквально отдирает Первуню от Сили, подталкивая их снизу коленками, чтобы не дать снова уйти под воду, фыркал, кашлял и коротко матерился. Когда на помощь подоспел Макс, Первуня уже камнем висел на шее Моргота, вцепившись в волосы у него на затылке и наглядно доказывая, что хватательный рефлекс не исчезает в младенчестве. Моргот дотащил его до берега, повернувшись

на спину, но и когда он поднялся на ноги, Первуня все еще висел на нем, как маленькая обезьянка на спине у матери. Глаза у Первуня были широко открытые и сумасшедшие, а сдутый круг юбочкой висел на поясе. Сия плелся сзади, опустив голову, время от времени покашливал и шмыгал носом. Я остановился рядом с Бубликом, застывшим по колено в воде с доской в руках.

— Хватит купаться, выходите, — подтолкнул нас сзади Макс.

Моргот отнес Первуню на траву, с трудом разжал его руки и завернул в полотенце. А потом, усадив Первуню на подстилку, повернулся и наотмашь ударил Силю в ухо, так что тот не просто упал, а прокатился по траве.

— Ну ты чего делаешь-то, с ума сошел? — Макс схватил Моргота за руку. — Мозги вышибешь парню.

Сия разревелся, а Моргот вырвал руку и ничего не ответил. Я не знаю, как на это смотрят педагоги, но до сих пор считаю, что Моргот был прав. И если бы за подобную выходку он ударил меня, я бы своего мнения не изменил. Для меня очень серьезной и очень пафосной была тогда мысль о том, что Моргот спас Первуню жизнь. И Силе заодно, потому что утонули бы они вдвоем. Я уже знал, что такое смерть, и спасение чьей-то жизни виделось мне настоящим подвигом.

Сия ревел и ревел, негромко, но очень горько, пока Моргот не сжалился и не спросил:

— Чего реवेशь?

— Я... я больше не буду, Моргот, я больше никогда не буду... — захлебываясь выговорил тот. Ухо у него на глазах распухло и оттопыривалось.

— Верится с трудом, — задумчиво изрек Моргот и сел на траву.

— Он вышел из тени, и сначала я испугался. Это было неожиданно, и мой шофер загородил меня своим телом. Это входило в его обязанности. И из ворот тут же появились два охранника, на бегу доставая оружие. Он не поднял рук, только чуть развел их в стороны, показывая, что они пустые. И сказал: «Уберите охрану. Я без оружия. Мне нужно сказать вам пару слов наедине».

Лео Кошев кладет ногу на ногу и откидывается в кресле, все так же нервно сжимая подлокотники. И его

деланно расслабленная, непринужденная поза не помогает ему уверить меня в том, что он спокоен.

— Он был одет в черное и от этого казался еще выше и тоньше, чем был на самом деле. Пока он не вышел на свет, он чем-то напоминал человека-невидимку наоборот: сначала я видел только лицо и подошвы, на нем были какие-то белые спортивные туфли.

— Он носил кеды, обычные кеды, — улыбаюсь я.

— Не исключено, — кивает Кошев. — Он не вызывал доверия, по понятным причинам. Время давно перешагнуло за полночь, да и добиться встречи со мной можно было менее оригинальным способом. Мне показалось, я участвую в каком-то спектакле, маскараде. Охрана обыскала его, и пока его обыскивали, я размышлял, стоит ли с ним говорить. Он не был похож на сумасшедшего, напротив, казался чересчур здравомыслящим, несмотря на экстравагантное появление. Мне показалось, я его где-то видел, я стал вспоминать — и вспомнил: он встречал иногда мою секретаршу, я видел его в окно и несколько раз из машины. Стася редко уходила раньше меня, обычно мы спускались по лестнице вместе: я — в гараж, она — на улицу.

Когда он говорит о Стасе, руки его сжимают подлокотники сильнее обычного. Так, что белеют пальцы и на ногтях появляется светлый ободок. Но лицо его при этом не меняется.

— Я отослал охрану. Может быть, это было неосторожно с моей стороны. Я никогда не был любопытен, и в тот раз вовсе не любопытство двигало мной. Я деловой человек. Парень был примерно ровесником моего сына. И даже чем-то Виталиса напоминал. Как негатив напоминает позитив. И я предположил, что вовсе не любовь к моей секретарше толкает его на встречу со мной: он может владеть нужной мне информацией и хочет ее продать. Повода для серьезного шантажа я не давал, и опасаться мне было нечего. Но я ошибся, хотя ошибался нечасто. Я думаю, вы догадываетесь, что он мне сказал. Но тогда это удивило меня.

Кошев замолкает и мнет подлокотники руками, словно это эспандеры.

— И что же он сказал? — подталкиваю я.

— Это не просто удивило меня... Это... Мне трудно сказать, что я почувствовал. А сначала я именно почувствовал, а не подумал. Думать я стал потом. Он сообщил мне

два факта. Во-первых, что кредит Виталису дал тот, кто хочет купить только один цех, принадлежащий заводу, — цех по производству графита. А во-вторых, что покупатель вовсе не хочет лишить нас технологии: это побочный, так сказать, эффект от сделки. Дело в том, что наша технология производства особо чистого графита в корне отличается от мировой и, возможно, обгоняет технологию вероятного противника примерно на пятнадцать-двадцать лет. Он так и сказал: «вероятного противника». Он говорил очень тихо, подойдя ко мне вплотную. И говорил без эмоций, спокойно и коротко. Он не производил впечатления человека, которому поручили это передать.

— После этого он ушел?

— Сначала я сказал ему, что это невозможно. Наши технологии не способны обгонять Запад такими темпами. На что он ответил, что к такому заключению пришли эксперты, и он не может оценить вероятность этого лучше них. Я потребовал доказательств того, что Виталис действительно знает об этой технологии, и он показал мне этот глупейший блокнот в розовый цветочек. Я решил было, что он издевается надо мной. Он не сказал мне, где его взял. Но несколько строк, написанных почерком Виталиса, вполне убедили меня в том, что это серьезно. Я спросил, сколько он за это хочет. Он рассмеялся. Я бы хотел когда-нибудь услышать такой смех от своего сына. Мой сын тоже много смеялся... Меня поразило в тот миг их сходство. Виталис тоже смеялся надо мной с презрением. Я уже говорил, этот парень был похож на его негатив. И его смех тогда тоже показался мне чем-то вроде негатива. Он презирал меня. Возможно, я излишне драматизирую, но те минуты стали для меня чем-то наподобие перелома, и мои чувства были обострены до предела. Его смех порастил меня и взволновал. После этого он отдал мне блокнот и ушел, а я послал охрану проследить за ним, узнать, кто он такой и где живет.

— Хорошо сыграл, правда? — Моргот довольно улыбается.

— Неплохо, — соглашаюсь я. — Старший Кошев впечатлился.

— Я знаю. Я всегда знаю, какое впечатление произведу, — говорит он самодовольно. На самом деле, это не

так. Иногда он обольщается. Но Лео Кошев сам играл неважно и чужой игры не почувствовал.

— Послушай, а ты ему не соврал про то, что эта технология оказалась лучше западной?

Лицо Моргота меняется, черты лица заостряются, и на самом дне его взгляда появляется затаенная боль. Он думает, какую маску надеть, чтобы говорить об этом.

— Макс сказал об этом так, как будто это само собой разумелось, — он опускает голову, опирается локтями в колени и сцепляет руки замком — я не вижу его лица, только макушку и согнутую спину. — Как будто это было очевидно! А это не было очевидно, это было очень маловероятно. Но эксперт пришел именно к такому заключению. Потому что технология имела какое-то коренное, принципиальное отличие. Я не знаю, какое. Я не знаю, где они взяли этого эксперта. Я не знаю, насколько он был прав. Но я поверил. И... До этого я развлекался, я хотел посадить в лужу Кошева-младшего, и только. А после этого во мне что-то переломилось. Килька, ты можешь посмеяться надо мной, но я испытал чувство национальной гордости...

Моргот на секунду вскидывает смеющиеся глаза, только смех этот невесел.

И тут я со всей очевидностью понимаю: он мертв. Это для моего читателя он еще жив, и никто, кроме меня и него, не знает, что будет дальше. И смех в его глазах заставляет меня отшатнуться. Он сейчас смеется над своей смертью.

Может быть, тогда, встретив Лео Кошева ночью у ворот, он вовсе не играл? Может быть, Кошев увидел то же самое, что я увидел сейчас, — пророчество?

Когда Моргот позвонил Стасе в очередной раз, она ответила, что не может говорить: Виталис сейчас в кабинете отца, и она не хочет пропустить их разговор. Моргот не стал тянуть время и через полчаса уже стоял у входа в парк, хотя Стася не назначала ему встречи. Наверное, это было опрометчиво с его стороны: первым он встретил Виталиса.

— Какая неожиданная встреча, Громин, — Кошев легонько похлопал Моргота по плечу, но на это раз на лице его не было выражения паяца.

— Действительно, — кивнул Моргот, обернувшись. — Я начинаю думать, что ты не можешь без меня жить.

Кошев был одет в ослепительно белую тройку и выглядел в лучшем случае неуместно — на пыльном тротуаре, рядом с вереницей обычных прохожих. Он был символом вечного праздника на фоне будничного города, олицетворением благополучия, бьющего ключом, и на него оглядывались — с недоумением, завистью, неприязнью.

— Перестань. Остроты оставим на потом, для благодарных зрителей, — большие и изящные темные очки создавали ощущение непроницаемости, и обычная обезьянья мимика Кошева вдруг куда-то исчезла — лицо его стало неподвижным. — А ты, оказывается, дурак, Громин.

Моргот поддержал его игру: ему не составило труда переключиться на другую роль, и одного зрителя для этого было достаточно. Он не стал отвечать, даже не кивнул.

— Пока ты не продал блокнот моему папаше, я еще немного сомневался, но, поверь, два и два сложить нетрудно.

Моргот прикинул, стоит ли отнекиваться, и решил, что стоит: ничем, кроме совпадений, Кошев не располагал. А если у него в петлице спрятан микрофон, то эти совпадения превратятся в доказательства если не для суда, то для военной полиции точно.

— Кошев, я тебя не люблю и этого не скрываю. Но мне глубоко плевать, что ты там складываешь в уме.

Лицо Кошева осталось неподвижным.

— Я повторю еще раз: ты дурак, Громин. Я думал, тебе хватило рыбалки, чтобы разобраться, что к чему. Если я избавился от конкурентов, которые могли меня опередить и неплохо заработать, неужели ты думаешь, что мне трудно избавиться от тебя?

— И что же тебе помешало?

Неужели ученых, разработавших технологию, этот павлин счел конкурентами? Или он имеет в виду что-то, о чем Моргот не подозревает? Нет, он должен об этом знать, Кошев не дурак, он просчитывает, что Морготу известно, а что — нет. Но смерть ученых слишком не

похожа на дело рук одного человека, Морготу показалось, что тут потрудились организация.

— Я, к несчастью, сентиментален. Мне как-то не с руки взять и избавиться от тебя. Мне хочется увидеть твоё поражение, мне хочется, чтобы ты понял, какое ты на самом деле ничтожество. Как тщетна любая твоя попытка встать у меня на дороге. Ты камешек на моей дороге, понимаешь? Из тех, что, попадая в туфлю, мешают идти ровно до тех пор, пока не поленишься нагнуться и вытряхнуть его на дорогу.

— Кошев, ты красиво говоришь, но ты все нагибаешься и нагибаешься, а камешек все мешает и мешает. Я начинаю думать, что тебе нравится нагибаться.

— Мне нравится играть с тобой, Громин. Меня это развлекает.

— Ты же собираешься стать деловым человеком, Кошев, — Моргот укоризненно покачал головой, — деловому человеку не пристало отвлекаться, когда надо думать о деле.

— Я знаю, когда могу пожертвовать интересами дела, а когда этого делать нельзя. Ты все равно опоздал, информация, которую ты передал моему папаше, не имеет значения. Еще три дня назад имела, а сегодня уже не имеет. Собственно, это я и хотел сказать.

— Надеюсь, это все?

— Не совсем. Я хотел добавить то, чего ты еще не понял. Я не знаю, что тебя прельстило в этой игре, ты не похож на фанатика, готового рвать рубаху на груди, кричать «непобедимы!» и подставляться под пули. Или я не прав и ты изменил своим принципам?

Моргот не ответил.

— Тогда что ты лезешь в это дело? — продолжил Кошев. — Чего ты добиваешься? Ты жив только потому, что никто, кроме меня, не знал о существовании блокнота. Если через тебя пойдет утечка информации, ты не просто сдохнешь, Громин, — ты пожалеешь, что родился!

Кошев не знал о встрече с Игорем Пospelовым. И не знал о том, что Моргот побывал на юго-западной площадке. Это обнадеживало.

— Судя по твоим словам, ты продаешь родину, а, Кошев? — усмехнулся Моргот.

— Оставь эти бредни для романтических девушек, — фыркнул тот.

— Да ну? Значит, все же продаешь. Скажи мне, а что ты при этом чувствуешь? Как оно?

— Ты этого не поймешь. Потому что ты неудачник, Громин. Ты неудачник, ты свою зависть прикрываешь рассуждениями о морали. Ты же трезво мыслишь, ты всегда так гордился здравым смыслом! И куда он подевался? Где он, этот здравый смысл? Какая родина, Громин? Что ты несешь? Есть люди сильные, те, кто не рассуждает, а приходит и берет. По праву сильного. А есть придурки, для которых и создана эта глупая мораль. Специально, чтобы лопухи не расстраивались оттого, что они такие умные, но такие бедные.

— А, так ты, оказывается, умный и сильный... А я-то думал... — Моргот мотнул головой. — Тогда вперед и с песней. Брать по праву сильного все, что плохо лежит. Ты ведь даже не вор, Кошев. Ты не дорос даже до вора. Ты мародер, который после боя обирает убитых и раненых. И ты говоришь что-то о силе? Быть сильным и быть хитрожопым — две большие разницы.

— Громин, я бы обиделся на эти слова, если бы ты приехал сюда на машине, а не на автобусе. Твоя точка зрения ничем не подкреплена, ты не заработал ни гроша, чтобы рассуждать о силе и хитрости. О моей силе.

Моргот фыркнул.

— Давай, силач. Зови милицию. Военную полицию, папашину охрану, своих мордovorотов. Зови кого-нибудь! Потому что если я захочу дать тебе в зубы, ты сам мне ответить не сумеешь.

— Фу, Громин. Как узко ты мыслишь! Моя сила как раз и состоит в том, что я никогда не останусь один, я защищен со всех сторон. А ты — нет. И если тебе по зубам захочу дать я, то, можешь не беспокоиться, по зубам ты получишь. И не только по зубам.

— Не сомневаюсь. Как просто жить, когда твоя логика полностью аморальна.

— А ты хочешь, чтобы я рассуждал о чести? О благородстве? Не дожدهшься. Времена честных и благородных закончились лет сто назад. Об этом писали классики. Много ли ты получил на своем благородстве?

— А у тебя нет других критериев оценки, кроме денег? — Моргот достал сигарету.

— Других критериев человечество не имеет. Другие критерии канули в Лету, за ненадобностью. И если ты этого не понимаешь, я могу тебя только пожалеть. Да и смешно, право слово, слушать от тебя рассуждения о морали и аморальности. Что называется, кто бы говорил... Блокнотик-то папаше продал, а, Громин? Ты, наверное, и представить себе не можешь, как это мелко. Мелко, Громин! Вот в этом и состоит разница между тобой и мной. То, что можешь продать ты и что могу продать я.

В первый раз улыбка тронула губы Кошева — улыбка паяца.

Морготу нестерпимо захотелось врезать кулаком прямо по этой улыбке. Он щелкнул зажигалкой, не отрывая глаз от лица Кошева, и глубоко затянулся. Он редко задумывался о собственных убеждениях: его убеждения были для него, как правило, атрибутами той или иной роли. Максимум он говорил одно, Кошеву — другое, известной поэтессе Стеле — третье. Он играл в убеждения так же, как менял маски. И отсутствие убеждений, как и их наличие, его самого не волновало. Он ориентировался на мнение окружающих и по их мнению определял, хорошо у него получилось изобразить наличие принципов (или их отсутствие) или плохо. На этот раз роль, с одной стороны, предполагала твердое мировоззрение, но с другой... Моргот не хотел бы признаваться в этом, но это было именно так: его волновало, что о нем думает Кошев. Ему это было важно! Нет, он не искал любви и восхищения. Но он хотел победы и уважения. Победы в глазах Кошева, а не в масштабе собственных представлений о жизни.

И роль для этого совсем не подходила: она не соответствовала тому, что Моргот хотел Кошеву показать. Но она прямо вытекала из начала диалога, как будто Кошев нарочно навязал ему эту роль. Признать за Кошевым столь тонкое мастерство манипулятора Моргот не мог — не тот парень был Кошев. Сказать же самому себе, что ошибаясь в выборе роли, Моргот не хотел и свалил все на неудачное стечение обстоятельств. И теперь добиваться победы надо было в неблагоприятных обстоятельствах.

— Много ли надо ума, чтобы продавать то, что тебе не принадлежит? Особенно за бесценок, — сказал Моргот, выдыхая дым.

— Ты поучишь меня искусству ценообразования?

— Искусству? Красиво. Нет, Кошев, учить я тебя не буду. Думаю, в искусстве продавать награбленное тебе нет равных. Лучше тебя этим искусством владеют только твои покупатели. Как ты считаешь, что они думают о тебе? Мне кажется, они испытывают брезгливость.

— Да мне-то, в отличие от тебя, плевать на то, что обо мне думают, — лицо Кошева стало снисходительным, — ты можешь рассуждать о том, какое я дерьмо, сколько угодно твоей душе, меня это не задевает. Есть понятие «репутация», а есть никому не нужное самолюбие. Все равно единственным критерием оценки будет результат. Победителей не судят, Громин! И если ты этого еще не понял, то это дело твоей личной глупости!

— Победителей — не судят. Но ты-то не победитель, ты мародер. Победители тебя купили за бесценок. Они тебя даже не возьмут в свое проклятое буржуинство. Хватит с тебя бочки варенья и корзинки печенья. Или это ты и называешь победой?

— Громин, ты никогда не вылезешь из своей смешной системы ценностей! Расскажи мне еще о социальной справедливости. Победитель — это тот, кто может взять. А неудачник — тот, кто кусает локти и брюзжит о нравственности и безнравственности, потому что ему больше ничего не остается, кроме как брюзжать! Потому что взять он не может, не умеет!

— А тебе не приходило в голову, что кто-то не хочет брать?

— Это ерунда. И уж ты-то точно не относишься к полусумасшедшим альтруистам. Еще скажи мне, что ты брать не хочешь! Это сказка про лису и виноград, ей две с половиной тыщи лет.

— Я всего лишь соизмеряю цели и средства. Превратиться в паяца, подобного тебе, ради сомнительного удовольствия гнуть пальцы, рассуждая о победителях? Нет, Кошев, я не так сильно этого хочу. Обезьяна с легкостью слопает тот самый виноград, но это ее не сделает ни лучше лисы, ни хуже. Сомневаюсь, что лиса захотела бы стать обезьяной ради одной виноградной грозди, даже если бы и признавала ее спелость. Но я не лиса, мне себя обманывать не надо.

— Громин, о чем говорить, если для тебя деньги — всего лишь способ гнуть пальцы? В такой системе отсчета я мог бы с тобой и согласиться, но, видишь ли, деньги придумали вовсе не для этого. Ты когда-нибудь слышал о независимости, о власти?

— Не смейся меня. Много ли власти в твоей бочке варенья? Тоже мне, акула капитализма... Ну получишь ты этот заводик! И всю жизнь будешь лезть из кожи вон, чтобы подхапнуть еще немного, а потом еще немного, еще немного... Никакой реальной власти тебе это не даст, наоборот, всю жизнь будешь прогибаться под тех, кто имеет денег и власти больше, чем ты. Может, для тебя в этом и есть какой-то прикол, а для себя я в этом прикола не вижу.

— Громин, а в чем тогда прикол с продажей блокнотов, а? Какого черта ты тогда путаешься у меня под ногами?

— Кошев, иногда мне кажется, что у тебя паранойя. Сначала я угнал твою машину, потом продал какой-то блокнот. Путаюсь у тебя под ногами... Заметь, мы ни разу не встретились по моей инициативе, тебе попросту скучно жить без меня. Или я чего-то не понял?

— Ты все отлично понял. Ты можешь прикидываться дурачком, это твое право. Но мы оба знаем, о чем я говорю. И я повторю еще раз: не лезь не в свое дело. Лес рубят — щепки летят. Ты щепка, Громин. Ты мелкая сошка. Ты никому не можешь помешать всерьез, но за одну попытку помешать тебя раздавят, как муху. Это я с тобой играю, а больше никто с тобой играть не станет. Им не до игры.

— Надеюсь, теперь ты наигрался и сказал все, что хотел?

— Считаю, что так, и разреши откланяться!

Стася ждала Морготта, наблюдая за разговором из-за сиреневого куста, однако ее конспирация ей не помогла: Кошев, проходя мимо, потрепал ее по волосам и чмокнул в щечку, помахав Морготту рукой.

Она изменилась — в ее лице что-то изменилось. И в отношении к Морготту. Он заметил это сразу. В ней не было нарочитой холодности, она чувствовала себя раскованно, уверенно, гораздо уверенней, чем обычно.

Он нашел, что она немного похорошела: на ее бесцветном лице появилось подобие румянца, нежного, по цвету напоминающего чайную розу. Уверенность же в собственном очаровании к лицу любой девушке, даже откровенная дурнушка имеет шанс слыть красавицей, если не сомневается в этом. Моргот присмотрелся, что еще изменилось в ее лице, и едва не рассмеялся: она подкрасила ресницы! Почти незаметно, со вкусом настоящей художницы, всего лишь немного изменив линию верхнего века. Не иначе, на горизонте маячил кудрявый добрый молодец двухметрового роста!

Моргот на миг ощутил нечто похожее на ревность: ради встреч с ним Стася ресниц не красила. Впрочем, Макса он не считал соперником, и Стасю к интересующим его особам не причислял.

Она не сказала ему ничего нового, кроме того, что теперь точно уверена в том, что на заводе выпускали то самое ядерное оружие, и она даже знает, где: на юго-западной площадке. Моргот в заключение едва не похлопал ее по плечу и не сказал: «Родина тебя не забудет».

— Скажите, а получение вами блокнота действительно ничего не меняло? Моргот действительно опоздал? — спрашиваю я у Лео Кошева.

— Нет. Для меня такой поворот стал неожиданно. Я ведь тогда меньше всего думал об этом цехе. Да я и не вспоминал о нем с тех пор, как Лунич его законсервировал! Но это все поставило на свои места. Сразу стало понятно, где Виталис взял деньги на покупку акций. Я полагаю, он обменял акции завода на этот цех. Для него это была выгодная сделка, но с выгодой покупателя ее не сравнить. Они отдали за технологию каких-то два-три многоэтажных дома — по их ценам, не по нашим. Перекос наших цен по сравнению с мировыми на тот период был очень заметным, да еще игра на валютных курсах... Конечно, вывезти оборудование я уже не успевал, но я забрал чертежи и документацию в свой личный сейф. Разумеется, оборудование помогло бы если не восстановить технологию полностью, то сделать ее доработку делом считанных месяцев. Но документы, несомненно, ценились покупателями выше.

— Но ваш личный сейф стоял в управлении завода. Разве ваш сын не получал доступ к сейфу на законном основании?

— Здание управления завода юридически принадлежало сети супермаркетов, как и часть центральной площадки, в нем я оставался хозяином. Но я отлично понимал, что это не спасет документы от вывоза. Я всего лишь сумел оттянуть время. Я уже тогда понимал, насколько легко забрать оттуда документы: достаточно только выяснить, где они находятся. Я побоялся вывезти бумаги за пределы управления. Никакая охрана не защитила бы меня от вооруженного ограбления, если бы за дело взялась военная полиция. Я выиграл время на раздумья.

Он поднимает голову и рассматривает потолок, словно продолжает эти раздумья.

— И что же было дальше?

— Дальше? На следующий день было подписано решение собрания акционеров о назначении генеральным директором Виталиса Кошева, — он произносит это скороговоркой и нервно хмыкает, чуть надув губы. — Он хватился документов в тот же день, когда начал готовить вывоз оборудования. Сначала он потребовал их от меня, потому что считал их собственностью завода. Я предложил ему обратиться в суд. Одновременно с этим я сам подал иск о незаконном приобретении акций моим сыном и неправомерности назначения его генеральным директором. Разумеется, я бы проиграл это дело, оно было безнадежным, но моим адвокатам удалось наложить запрет на отчуждение имущества завода до решения суда. Виталис форсировал сроки судебных заседаний, а я оттягивал их, закон это позволял. Его сделка застопорилась, но все равно оставалась вопросом времени, трех-четырёх недель, не более: это все, что мне пообещали юристы.

— Почему же покупатели решили добраться до документов не дожидаясь совершения сделки?

— На то есть несколько причин. Во-первых, сделка была, что называется, «засвечена», ее не удалось сохранить в тайне, как они надеялись вначале. Во-вторых, документы могли уйти от меня в любую минуту. В-третьих, они не относились к неотчуждаемому

имуществу, их номинальная стоимость была ниже пороговой. Собственно, продажу документов Виталис мог осуществить несмотря на решение суда. Я бы, конечно, опротестовал ее в суде, я бы потребовал доказательств, что документы являются имуществом завода, но они это легко просчитали. Поскольку я всегда имел своих людей в фискальных органах, информация поступила ко мне за несколько часов до начала обыска, санкционированного налоговой инспекцией. Они собирались конфисковать у меня эти документы вместе с остальными, лишив меня возможности передать их кому бы то ни было. До решения суда. Я тогда еще не знал о ярлыке, который они планировали на них повесить: якобы эти чертежи имеют отношение к производству ядерных боеприпасов. Что ж, ход был беспроницаемым, он полностью развязывал руки военной полиции. При всей абсурдности этого утверждения, которое бы развеял любой инженер, это требовало экспертизы, которую никто не спешил провести.

На следующий день после поездки на дачу у Первуня поднялась температура, а ухо заболело к вечеру, когда в подвал вернулся Моргот. Его медицинских познаний хватило на таблетку анальгина и теплый платок на ухо, и выглядела его забота примерно так:

— Бублик, мля! Ну найдите уже что-нибудь шерстяное ему на голову!

— У меня только свитер... — пожал плечами Бублик.

— Да хоть носок! Завяжите ему это ухо! Черт бы вас побрал... навязались на мою шею...

На самом деле, он был растерян и озабочен, отчего раздражался. Салех, до этого несколько ночей исправно ночевавший в подвале, на этот раз как нарочно куда-то исчез.

Попытка накормить Первуню анальгином тоже закончилась печально: большая таблетка застряла у него в горле, Первуня кашлял, плакал, его едва не вырвало, но таблетку он в конце концов выплюнул.

— Мля, когда я был ребенком, анальгин почему-то мне давали в порошок... — проворчал Моргот, даже не подозревая о том, что в этом была единственно заслуга его матери.

— Может, ее на кусочки поломать? — предложил Бублик, с жалостью глядя на сопливого, несчастного Первуню.

— Лучше совсем растолочь, — сказал я, — чтоб была как порошок.

Попытка разделить таблетку пополам привела к тому, что половинки отлетели в разные стороны подвала. В воде анальгин тоже не растворялся. Только завернув таблетку в лист бумаги и хорошенько постучав по нему молотком, Моргот добился некоторого подобия порошка, но Первуня и им умудрился подавиться. Моргот выmaterился и сам отправился в аптеку, не доверяя нам с Бубликом.

Он любил смотреть в освещенные окна, особенно в окна длинных панельных домов, с проемами шириной почти во всю стену. Ему казалось, в них идет какая-то совсем другая жизнь, ненастоящая, игрушечная. А если он проезжал мимо домов на автобусе, развлечение это было для него еще более увлекательным: окна сменяли друг друга, он не успевал их как следует рассмотреть, отчего фантазии его перескакивали с места на место, превращаясь в нескончаемую вереницу ускользающих образов, похожих на сны, которые пытаешься вспомнить и не можешь.

Когда ему было лет пять, бабушка — мать отца — однажды привезла Морготу в подарок кукольный дом. Она была очень старой и умерла года через два после этого, Моргот не очень хорошо ее помнил и совсем не любил — она жила с тетей Липой, приезжала редко, не ладила с мамой и постоянно делала Морготу едкие замечания.

Кукольный дом был очень старым, сделанным еще до войны. И, видимо, очень дорогим. С него снималась настоящая черепичная крыша, в комнатах была расставлена самая настоящая мебель, на книжных полках хранились махонькие книжки, а в кухне стояла настоящая посуда. Окна прикрывали тюлевые занавески и бархатные шторы, на лакированном полу лежали ковры.

Конечно, бабушка не могла придумать ничего лучшего, чем подарить этот дом Морготу — маленькому варвару, как она его совершенно справедливо называла. Во-первых, он уже тогда однозначно считал, что в кукольные домики играют девочки. Во-вторых, его

тяга к знаниям в то время проявлялась исключительно в попытках «посмотреть, что внутри»: он разбирал и разламывал игрушки с безжалостностью средневекового анатома, потом жалел их и даже плакал над тем, что процесс разрушения необратим, но повторял «вскрытия» снова и снова — любопытство оказывалось сильнее и жадности, и жалости.

Разумеется, и стены дома, и крыша, и — особенно — мебель требовали самого тщательного изучения. Но кукольный дом неожиданно понравился маме, она играла в него — как будто бы с Морготом — часами, что не давало ему возможности подойти к проблеме самостоятельно, так, как он считал нужным. Но первая же попытка разобраться закончилась плачевно: дом был спасен мамой и убран на шкаф, где Моргот не мог до него достать. Отец провел в маленькие комнаты электричество, и много лет после этого кукольный домик служил Морготу роскошным ночником.

Ему так и не удалось добраться до его разборки; наверное, поэтому домик навсегда остался для него загадочным и манящим. Года через два Морготу уже не приходило в голову ломать все, что подворачивается под руку, но впечатление в подсознании не исчез. По вечерам, засыпая, он смотрел в освещенные окна, и ему представлялись движущиеся тени за тюлевыми занавесками, переходящие из комнаты в комнату: домик, укутанный тайной, жил своей игрушечной жизнью. Морготу всегда хотелось забраться на шкаф, снять крышу и увидеть наконец его обитателей. Но утром это желание к нему не возвращалось, и вспоминал он о своих задумках только следующим вечером. Как Моргот выдумывал роли себе, так и жители домика меняли свою сущность в зависимости от его настроения. То это были заколдованные волшебником обычные люди, то добрые гномы, исполняющие желания и оберегающие сон, то злобные карлики, по ночам спускающиеся по веревке на пол и шмыгающие по всей комнате.

Потом это прошло.

А потом кукольный домик исчез вместе с домом настоящим, и грустить о нем было бы по меньшей мере странно. Но, разглядывая чужие освещенные окна, Моргот видел за ними игрушечную жизнь: мебель, похожую на настоящую, книги на полках, посуду в кухне, абажуры

на маленьких лампочках. И это завораживало его, погружая в состояние, чем-то напоминающее дрему, но не сонливую, а восхитительно интересную, как детская фантазия. Он не был сентиментален, он продолжал давно начатую игру и не задумывался об этом.

Но в тот вечер, когда заболел Первуня, свет в чужих окнах почему-то вызвал давящую тоску: Морготу вдруг показалось, что все это он видит в последний раз — этот серый проспект с серыми девятиэтажками, по разбитому асфальту которого легкий ночной ветерок гнал тополиный пух, словно поземку, и свет в окнах, и кривые стволы тополей со спиленными сучьями, из култей которых торчали молодые побеги, и пыльную траву на вытопанных газонах, и пообтершиеся выбоины в поребриках. И хруст семян тополя под ногами тоже показался Морготу зловещим: словно он шел по останкам крошивших насекомых, и их тонкие хитиновые панцири крошились от каждого шага. Ему нестати вспомнилась картина «Эпилог», но на этот раз она не вызвала романтической грусти, напротив, Морготу захотелось отбросить это воспоминание: из-за него внутри зашевелилось что-то отвратительное, похожее на волосатого паука. Моргот еще в детстве придумал название этому нехорошему, сосущему предчувствию: волосатый паук, который копошится в груди, перебирает пощелкивающими лапами, похожими на члены робота-манипулятора, двигает челюстями, выставленными вперед, и раздувает свое круглое брюхо. Моргот так отчетливо представлял себе этого паука, что боялся прикоснуться к ребрам: если эта мерзость лопнет у него в груди и разольется внутри ядовитой белесой жижей, он умрет от отвращения.

Моргот всегда любил ночной город и ненавидел дневную суету, а тут ему захотелось увидеть солнце, захотелось, чтобы проспект заполнился прохожими и машинами.

Яркий свет в аптеке разогнал предчувствия и мрачные мысли. Сияющие пестрые витрины кричали о необходимости лечения и пугали множеством болезней, лекарства более напоминали коробочки конфет, на постерах бесстыже летали женские прокладки, помахи-вая крыльями, а рядом толпились упаковки презервативов: со вкусом вишни, клубники и персика. В последние годы аптеки всегда веселили Моргота, он и на этот раз

начал разговор с молоденькими провизоршами о том, нет ли у них схемы правильного надевания презерватива. Те долго кокетливо хихикали и с радостью показали ему скрученный трубочкой плакат. Моргот посоветовал им повесить его на окно, чтобы всяк проходящий мимо мог с ним ознакомиться.

— Моргот встречался со Стасей каждый день, — Макс почему-то усмехается, — у входа в парк, в семь вечера. А я ждал за углом, когда они расстанутся. Она честно докладывала ему о происходящем в управлении завода, а он делал вид, что его это вовсе не интересует, и притворялся, что все еще надеется на примирение. Он очень здорово притворялся, можете мне поверить. Я думаю, он окончательно заморочил ей голову, но со мной она говорить об этом боялась... Она не выдала его даже мне. Я сделал глупость. Я понимаю, что этого делать было нельзя, я не ребенок... Но нам негде было встретиться. Я... привел ее к себе домой. И дал ей свой телефон.

Он вздыхает и отводит глаза.

— А еще я познакомил ее с мамой. Я никого из своих девушек не знакомил с мамой, а Стасю я в выходной привез к нам на дачу... Да, это было глупо! — он едва не кричит и сжимает кулаки. — Я не думал, что это навредит Стасе, а за себя я не боялся! Но я не мог... Я не мог ее оскорбить, понимаете? Это было... ну... уважением к ней, что ли... Я хотел дать ей понять, как для меня это важно. И я хотел, чтобы мама тоже знала, как это важно.

— Она понравилась вашей маме? — я не хочу, чтобы он снова и снова винил себя в этом, и стараюсь перевести разговор на то, о чем ему приятно говорить.

— Да, — хмыкает Макс. Его настроение качается из стороны в сторону — в этих воспоминаниях и его счастье, и горечь, и чувство вины. — Мама сказала, что давно хочет стать бабушкой. Она сама очень боялась Стасе не понравиться. Ее даже не смутило, что мы знакомы всего несколько дней. Показывала Стасе альбом, где я маленький, еще до школы. Мы пили чай на веранде, на Стасе был летний сарафан, бежевый в мелкий цветочек. Окна были открыты, и на лампу летели мошки. У нее были очень тонкие руки, бледные и тонкие. Я все время боялся их сломать...

Он опускает голову, и плечи его вздрагивают. Я наливаю в рюмку коньяк и придвигаю на его конец столика, но он качает головой. Наверное, это глупо с моей стороны — предлагать моим ночным гостям коньяк.

— Расскажите мне о Сопротивлении, — прошу я, — я почти ничего об этом не знаю.

— О Сопротивлении? — Макс поднимает глаза. — Наверное, Моргот был прав. Да, в самом начале, когда у нас еще была регулярная армия, а у миротворцев не было здесь военных баз... тогда это называлось Сопротивлением. Очень трудно воевать и не верить в победу. Нас оставалось очень мало, но зато те, кто остались... мы воевали с отчаяньем зверей, загнанных в угол. Мы думали только о том, как подороже продать жизнь. Поэтому они продолжали нас бояться.

— А как вы там оказались?

— Я бросил институт и пошел в армию, как только было объявлено о вводе на нашу территорию «ограниченного контингента». А потом не стал присягать Плещуку. Я почти два года провел в лесах, и тогда мы действительно воевали и верили, что победим. Мы вели партизанскую войну по всем правилам, имели сеть лагерей. Зимой приходилось очень туго, нас искали с самолетов, по дыму, и забрасывали бомбами. Зимой нельзя без огня... Зато летом мы брали реванш. Второй зимы мы не выдержали, вернулись в город, на полулегальное положение. Я даже стоял на учете на бирже труда. Но такая жизнь расслабляет, заставляет задумываться. А так ли все это нужно? Рисковать собой, своими родными? Многие ушли, остались только отчаянные. Не забывайте: нам обещали три года на восстановление экономики, а за ними — рай на земле. И воплощенный пример этого рая — Запад. И ведь люди верили... Я сам едва не сломался, когда встретил Стасю. Когда есть чем рисковать... Я собирался жениться, я думал: что будет с ней, если она родит ребенка, а меня убьют?

Видимо, в аптеке Моргота просветили, как надо лечить детей с простуженными ушами, потому что вернулся он полный оптимизма, с растворимым аспирином, витаминами, каплями в ухо и колючей серой ватой. Первуня к тому времени ревел непрерывно.

— Мля, ты заткнешься когда-нибудь? — спросил Моргот как только мог ласково, доверив нам с Бубликом изучать инструкцию по применению шипучего аспирина. — Ложись на бок и не шевелись!

Первуня, конечно, лег не на тот бок, но Моргот не сразу это заметил, долго примеривался и капнул-таки в здоровое ухо.

— Моргот, а в больное ухо оно через голову протечет? — спросил Первуня, слегка успокоившись.

— Чего?

— Ну, если на этом боку лежать, то в больное ухо же протечет?

— Где у тебя больное ухо, балбес? Наверняка протечет, если мозгов нет! Поворачивайся на другой бок!

— Но если же протечет, зачем поворачиваться?

— Слушай, что говорят, и помалкивай, — прошипел Моргот.

Мы к тому времени растворили аспирин в кружке и подошли к кровати. Я помню, меня очень удивило, что у Моргота дрожат руки. Так сильно, что в ухо ему было не попасть. Первуня же снова заплакал, тихо и жалобно, отчего его плечи вздрагивали, делая задачу Моргота и вовсе невыполнимой.

— Ты можешь лежать и не дергаться? — рявкнул он, выругался и снова попытался поднести резиновый наколечник темного флакона к уху.

— Я лежу, — заревел Первуня в полный голос и ткнул-ся лицом в подушку.

— Мля... — Моргот выпрямился и вытер лоб.

— Моргот, ты не волнуйся, капли капать — это не больно совсем, — сказал я.

— Да пошел ты... — сквозь зубы пробормотал Моргот. — Сказали — три капли и не больше, а то ухо сожжешь. Сколько я уже капнул, ты считал?

— Наверно, одну... — вздохнул Силя — у него у самого ухо было синим и оттопыренным.

— Точно?

— Наверно, точно.

— Мля. Первуня, мать твою... Лежи спокойно, понял?

— Ага, — немедленно согласился тот и на секунду перестал плакать.

Ухо было благополучно заткнуто куском ваты, ватой же Моргот обмотал Первуне голову — безо всякой экономии,

отчего тот стал похож на головастика. Аспирин через полчаса сделал свое дело: Первуня поплакал еще немного и уснул. Моргот ушел в свою каморку, не дожидаясь, когда это произойдет, и со злостью хлопнул дверью.

Но часов в шесть утра все началось сначала. Первуня сперва плакал потихоньку, но, поскольку никто этого не замечал, постепенно все усиливал и усиливал громкость.

Как ни странно, Моргот проснулся первым. То ли наш детский сон был крепче, то ли он плохо спал. Во всяком случае, проснувшись от рева Первуня, я увидел Моргота сидящим на его кровати, что случалось очень редко. Почти никогда. Мы не болели, то ли назло судьбе, то ли подсознательно чувствуя опасность любой болезни в нашем положении.

Моргот ругался и скрипел зубами, Первуня ревел и держался рукой за ухо.

— Моргот, его надо к врачу отвести... — посоветовал Бублик, который тоже проснулся и сел на кровати.

— Сам знаю, — проворчал Моргот.

— Хочешь, я с тобой пойду?

— Нет. Килька пойдет. У него лицо умное.

Я воспрянул от похвалы и снова со всей серьезностью отнесся к возложенной на меня ответственности. Идти в поликлинику — это не на рынок, и врач — не торговка. Если он заподозрит, что мы живем в подвале, а не в интернате, он обязательно нас выдаст! Об этом Моргот говорил нам много раз. Я вымыл шею, чего обычно не делал, надел рубашку вместо футболки и долго причесывался перед зеркалом, стараясь сделать лицо еще умней. Бублик в это время утешал Первуню — безо всякого толку, — а Силя чистил Морготу ботинки, пока тот утюжил стрелки на брюках. Я бы непременно решил, что Моргот злится на Первуню, тем более что он очень хотел, чтобы мы так думали, но время от времени я замечал его растерянный взгляд: он вовсе не злился тогда.

Теперь-то я понимаю и его растерянность, и страх. Он ведь действительно вел себя безответственно, не выгоняя нас из подвала, не отправляя в интернат, не оформляя документов. И то, что в мире существуют тысячи семей, где родители относятся к своим детям еще более безответственно, его не оправдывает. Он

демонстративно отказывался от любых обязательств перед нами, он не желал заботиться о нас и не испытывал никакого чувства долга. Он хотел на все это плевать, но, конечно, понимал, что его демонстрация от ответственности его не освобождает.

В поликлинике он поругался со всеми: сначала в регистратуре, где мы обнаружили очередь из полусотни человек, потом, узнав, что лор бывает только два раза в неделю, — с заводделением, потом с очередью к педиатру, где нас не захотели пропускать вперед.

Мы проехали через весь город туда, где Первуня когда-то был прописан. Про медицинский полис Моргот соврал, что забыл его дома, и добавил, что сейчас задушит старушку, если она не даст ему карточку и номер к врачу. Старушка, закаленная в боях с нервными скандальными мамочками, не выдержала прессинга молодого безалаберного «папаши» — может, пожалела Первуню, а может, и самого Моргота.

Моргот был не в своей тарелке, чувствовал себя неуверенно, потому что к обществу женщин с детьми не привык. А когда кто-то из женщин посоветовал ему успокоить ребенка — а Первуня ревел во все горло, — Моргот выдал ей такую матерную тираду, что в коридоре замолчали все дети, кроме Первуня, и с ехидным любопытством уставились на нас, скашивая глаза на мамаш. После этого очередь бесновалась еще минут десять, предлагая в том числе вызвать милицию. Моргот снова скрипел зубами, смотрел в потолок, несколько раз порывался встать, чтобы уйти, но с места так и не сдвинулся.

Все наши перипетии закончились плачевно: педиатр посоветовала нам пойти домой и вызвать неотложку. Моргот снова орал, теперь на врачиху, которая слушала его с непроницаемым лицом, а потом хлопнул дверью так, что с потолка упал кусок штукатурки. Бабуля, сидевшая в очереди с великовозрастным внуком, поймала Моргота за руку, потому что он не откликнулся на ее вежливое: «Постойте, молодой человек». Моргот вырвал руку и хотел пройти мимо, но старушка встала и засеменила за нами следом.

— Ну? Что вы от меня хотите? — рявкнул он оглянувшись, но несколько бабулю не смутил.

— Сходите в Институт ухо-горло-носа, — сказала она, — отсюда три остановки на автобусе. Там вас примут сразу, и врачи там лучше, чем здесь. Без направления, конечно, деньги придется заплатить, но это лучше, чем ничего.

На крыльце поликлиники Первуня разрыдался еще горше, видимо решив, что теперь его вообще никто не спасет. Моргот присел перед ним на одно колено, встряхнул за плечи и прошипел:

— Перестань орать! Тебе семь лет, а не три года!

Первуня, вместо того чтобы обидеться, обхватил Моргота руками за шею и уткнулся мокрым лицом ему в плечо.

— Мля... — проворчал Моргот, — детский сад.

Но больше трясти Первуню не стал, поднял его на руки и понес к автобусной остановке.

Институт ухо-горло-носа оказался огромным зданием с колоннами снаружи и внутри, с высоченными потолками в вестибюле, где гулко отдавался каждый шаг, и узкими окнами, забранными частой решеткой, — я запомнил его величественным и полутемным, как замок злого волшебника. Рев Первуни в этом замке казался заунывным воем привидения.

Моргот сказал, что мы идем на прием за деньги, и через пять минут мы оказались у врача. Меня не пустили в кабинет, я прохаживался по пустому коридору, слушая, как кричит Первуня, и мне было его ужасно жалко: в детстве у меня тоже иногда болело ухо, и, пожалуй, ушного врача я боялся сильнее, чем зубного. Моргот выскочил на секунду, сунул мне деньги с запиской в кассу и велел лететь туда пулей. Я вернулся через минуту, но Моргот снова послал меня в кассу — заплатить за обезболивающий укол.

Первуня вышел из кабинета, молча хлюпая носом, шатаясь из стороны в сторону и глядя по сторонам пустыми глазами. Моргот появился вслед за ним и выглядел точно так же, разве что носом не хлюпал: он вытирал пот со лба трясущимися руками.

— Герой, — проворчал он, хлопая Первуню по плечу.

Я не понял, пошутил Моргот или на самом деле похвалил Первуню.

Домой мы ехали на машине, а вернувшись, все втроем завалились спать.

Край небоскребов и роскошных вилл,
Из окон бьет спящий свет,
Но если мне хоть раз набраться сил,
Вы дали б мне за все ответ!

Из записной книжки Моргота (тщательно замазано ручкой). По всей видимости, Морготу не принадлежит

Лео Кошев делает вид, что невозмутим, но голос его становится хриплым и тихим. Он не оправдывается. Руки его перестают мять подлокотники и вызывающе расслабляются.

— У меня оставалось несколько часов на вывоз документов из заводууправления, и я отлично понимал, что за каждым моим шагом наблюдают. И я, между прочим, не ошибся. Документы хранились в четырех папках, в основном это были кальки чертежей, и вынести их в гараж за пазухой я не мог.

— Вы считаете, кто-то стал бы осматривать ваш портфель? — я стараюсь не давить на него, но у меня это получается плохо.

— Обычно я пользовался дипломатом, и все четыре папки в него не помещались. В шкафу у меня лежала спортивная сумка, но со спортивной сумкой я бы выглядел по меньшей мере странно. Не забывайте, у меня было очень мало времени на принятие решения.

— Почему вы не поручили вынести документы кому-то из сотрудников? Просто вынести? Доставить в какое-нибудь безопасное место?

— В том положении, в котором я находился, у меня не могло быть ни одного безопасного места. Не зарывать же бумаги в саду, право слово... Тем более, что и это сделать незаметно мне бы не удалось. Я, скорей, склонился к мысли их уничтожить. А потом вспомнил того парня, который отдал мне блокнот с записями Виталиса. Я видел его после этого два или три раза, он встречал мою секретаршу после работы. В ту минуту у меня не было никаких сомнений, что со стороны Луничя эту сделку тоже пытаются контролировать. Если речь шла о привлечении экспертов международного класса, сделку взяли на заметку на самом высоком уровне. И этот парень, разумеется, не мог питать к моей секретарше никаких романтических чувств, для этого достаточно было взглянуть на него и на

нее. А вот она — напротив. Мне несложно было предвидеть, как развернутся события, если документы окажутся в руках у моей секретарши.

Кошев упорно называет Стасю «моя секретарша». Он словно отстраняется от нее этими словами, из живого человека превращает в «сотрудника», в папку с надписью «Личное дело» в отделе кадров.

— А если бы ее обыскали прямо на выходе?

— Любая попытка вынести документы из здания была рискованной. Любая! И, как выяснилось, обыскали в результате меня и мою машину, и я ждал чего-то подобного. Меня остановила дорожно-патрульная служба: якобы к ним поступил сигнал, что в мою машину заложена бомба. Просто и красиво, вы не находите?

Я соглашаюсь и спрашиваю:

— Скажите, а если бы вы все же отдали распоряжение кому-то из сотрудников вынести документы из здания, как вы считаете, вас смогли бы обвинить в пособничестве Сопротивлению?

Кошев отвечает быстро:

— Думаю, да. Впрочем, обвинить меня в чем бы то ни было довольно сложно. Я заметная фигура. Но все, что связано с производством ядерного оружия, разумеется, развязывает руки и прессе, и военной полиции.

Я киваю. Кошев не послал бы никого из сотрудников выносить бумаги из заводууправления, потому что обвинение сразу падало на него.

— И что вы сделали дальше?

— Я вызвал своего шофера, положил в сумку спортивную форму и попросил его отнести сумку в машину. Сказал, что поеду в зал. Шофер, конечно, удивился, но перед ним я отчитываться не стал. Обычно я не ездил в зал посреди рабочего дня. После того, как шофер ушел, я вышел в приемную и сказал секретарше, что отлучусь на пару часов. А потом сделал вид, что неплотно прикрыл за собой дверь. Мне нужно было, чтобы она сама догадалась, как действовать. Я сделал вид, что говорю по телефону, впрочем, она не была глупой, она должна была понять... Я говорил о том, что в моем сейфе лежат те самые бумаги, что через несколько часов они уйдут от меня безвозвратно и я ничего не смогу сделать. Папки с грифом «Секретно». Я говорил, что ключ от сейфа прятать бесполезно, они

взломают сейф. Я сказал, что эти документы могли бы пригодиться Луничу, но я не сумасшедший, чтобы искать с ним личной встречи. Я сделал вид, что телефонный звонок меня не удовлетворил.

— Послушайте, вы же на самом деле отдали ей распоряжение, — говорю я с горечью, — как еще она могла расценить это?

— Она могла бы расценить это как распоряжение, если бы я оставил ключ на видном месте. Но я положил его в верхний ящик стола.

Мне хочется встать и ударить его. Мне хочется сказать, что он обманул наивную девушку, попросту подставил ее, воспользовался ее порядочностью! Он, защищенный адвокатами, охраной, доступом к средствам массовой информации и огромными деньгами, не просто отвел от себя подозрения, он вынудил ее принять на себя всю ответственность! Его манипуляция была проста и беспрюграммна.

Я понимаю, что я наивен.

Моргот позвонил Стасе, как всегда, после обеда. Он не выпался, потому что ночью присматривал машины: деньги подходили к концу, и он снова чувствовал себя неуверенно.

Трубку в приемной Лео Кошева никто не снял. В этом не было ничего удивительного, Стася могла с обеда и опоздать, если ушла на перерыв позже, но Моргот ощутил беспокойство: в последние дни она ждала его звонков и знала, когда он может позвонить. Он набрал номер еще раз, перебирая в голове варианты: что могло произойти? События вокруг обоих Кошевых в последние дни развивались так быстро, что действительно что-нибудь могло и произойти. Может, в приемной отключены телефоны?

Первым желанием Моргота было позвонить Максу и сказать, что Стаси нет на месте. Но, рассудив здраво, он решил не поднимать паники и на всякий случай набрал ее домашний телефон. Трубку сняли сразу.

— Да! — крикнула Стася, как будто стояла возле телефона и ждала, когда он зазвонит.

— Это я, — как всегда невозмутимо ответил Моргот.

— Ты можешь сейчас приехать к мне? — она даже не поздоровалась с ним.

— Что-то случилось?

— Я расскажу, — ответила она. — Ты приедешь?

— Через полчаса, — ответил Моргот и положил трубку.

Снова появилось желание позвонить Макс, но Моргот отложил звонок на потом: сначала надо было узнать у Стаси, в чем дело, а потом уже говорить с Максом.

Он открыл дверь в телефонную будку и прикурил, стоя на ее пороге: беспокойство постепенно перерастало в предчувствие, давящее и отвратительное, похожее на волосатого паука. Солнце било в глаза, по пыльной улице вереницей спешили прохожие и летел тополиный пух, а Морготу вдруг стало холодно до озноба. Он тряхнул головой, вышел на край тротуара и поднял руку, останавливая машину.

Он доехал до Стаси за двадцать минут и всю дорогу не мог избавиться от неприятного ощущения — ему не хотелось встречаться с ней. Он попросил остановить за квартал до ее дома и прошелся пешком, выкурив две сигареты. Снова мелькнула мысль позвонить Макс, но Моргот не хотел его насмешек, поэтому, докурив возле подъезда, он со злостью бросил окурок в ящик с мусором и пошел наверх.

Она была бледной и растрепанной, не знала, куда деть руки, то вскидывая их к груди, то пряча за спину. У нее дрожал подбородок. Она закрыла за Морготом дверь на два замка и накинула цепочку.

— Ну? — спросил Моргот и прошел в комнату, не дожидаясь приглашения.

— У меня документы, которые очень нужны Луничу... — выпалила она и вздохнула со взхлипом.

— Чего? — Моргот повернулся к ней лицом — она стояла сзади, на пороге комнаты. — Какие документы? Где?

— Вот... — Стася нагнулась и подняла с пола тряпочную продуктовую сумку. — Они здесь. Четыре папки.

— Где ты их взяла?

— Я украла их из сейфа в кабинете дяди Лео... — она начала вытаскивать папку, под ее пальцами мелькнул гриф «Секретно». — Посмотри. Дядя Лео сам сказал, что они могли бы пригодиться Луничу...

У Моргота было только несколько мгновений, чтобы осознать происшедшее и сообразить, как себя вести. И он сначала не столько понял, сколько угадал, выбирая новую роль, роль, которая рушила в глазах Стаси его

предыдущий образ и рисовала новый, совсем другой. И этот образ был Морготу отвратителен, но он каждую секунду ждал звонка, а потом настойчивого стука в дверь. У него на лбу выступал пот, стоило ему подумать о том, что будет, если его застанут здесь, в одной квартире с этими пухлыми папками!

Он попятился и сел на кровать, а потом тихо спросил:
— Ты дура?

Стася расплакалась: не от его слов, просто ее нервное напряжение было слишком велико. И сквозь слезы начала рассказывать о том, что произошло в кабинете дяди Лео перед обедом.

Он орал на нее, не выбирая выражений. Ходил по комнате, натываясь на стулья, и пинал их ногами.

— Твой дядя Лео тебя подставил, ты это понимаешь?

— Нет, нет, это неправда, я сама! Я сама догадалась! — пищала она беспомощно и мотала головой.

— Догадливая, мля! Ты понимаешь, что ты сделала, или нет? Ты понимаешь, что теперь с тобой будет? Какого черта тебе это понадобилось?

— Я... я взяла их для тебя.

— Для меня? Да ты сдурела, милая! Зачем мне эта макулатура? Куда я ее дену?

— Но ты же... ты же...

— Я же? Я не имею к этому никакого отношения, ты поняла? Ни-ка-ко-го! Я знать не желаю ни о каких документах, особенно связанных с ядерным оружием! Я, в отличие от тебя, не сумасшедший!

— Но Сопротивление, ты ведь...

— Какое Сопротивление? Ты сама это придумала! Я никогда тебе этого не говорил! Никогда! Я не знаю никакого Сопротивления и знать не хочу! Тебя арестуют, как только обнаружат пропажу, это ты понимаешь? И твой дядя Лео мог бы об этом догадаться! А он и догадался, уверяю тебя! А ты мне рассказываешь сказку о том, что он тут ни при чем! Как ты их вынесла? Тебя что, никто не задержал?

— Я попросила... нашего сантехника... Он передал мне сумку через забор.

— Что? Еще и сантехника? Ты понимаешь, что теперь тебе вообще некуда деваться? Ты даже не сможешь толком соврать!

В том, что Стася не сможет соврать, не было сомнений и без сантехника, но прямой свидетель во много раз ухудшал дело. Без его участия на Стасю подозрение хоть и падало, но в гораздо меньшей степени, чем на самого Лео Кошева.

— Но... но ты... ты их возьмешь у меня?

— Разумеется, нет! — поморщился Моргот. — Мне они не нужны.

Он развернулся и направился в прихожую.

— Но что же мне делать? — она вдруг перестала плакать.

— Отнеси их обратно. Это самое лучшее.

— Подожди. Если ты боишься, что я выдам тебя... Я ничего им про тебя не скажу, честное слово! Ты можешь мне верить!

— А то они без тебя не догадаются! — фыркнул Моргот.

— Я все придумала. Я сейчас вернусь на работу и сделаю вид, что ничего не знаю. Они не подумают на меня, они подумают, дядя Лео их где-то спрятал!

— Они подумают на всех. И на тебя — в первую очередь, — Моргот откинул цепочку и открыл нижний замок. — Они профессионалы, а ты — идиотка!

— Моргот, не уходи. Подожди, дай мне немного подумать!

— Щас! Чтобы меня прихватили здесь вместе с тобой и с этими папками? Я тебе сказал: самое лучшее, что ты можешь сделать, — это вернуть их обратно. Больше я ничем тебе помочь не могу.

Он открыл верхний замок и толкнул дверь на лестницу.

— Моргот! Ты нечестно со мной поступаешь! Нечестно! — крикнула она ему вслед.

— Дяде Лео об этом расскажи, — ответил он и хлопнул дверью.

Моргот бежал вниз по лестнице и думал, что это ему несколько не поможет. Младший Кошев тут же укажет на него пальцем, как только узнает о пропаже документов. Ну кто же мог подумать, что эта глупая девчонка догадается их выкрасть? Кто мог предположить, что от бездоказательных и уклончивых разговоров дело дойдет до такого? Никто не даст документам уйти просто так, за них заплачены миллионы!

Моргот бегом добежал до ближайшего автомата и долго не мог найти в кармане монетку — почему-то плохо слушались пальцы. И номер в первый раз он набрал неверно, но успел это понять до того, как на том конце сняли трубку. И во второй раз уже не ошибся.

— Макс, звони ей немедленно, сейчас же, пока она не сделала еще какой-нибудь глупости!

— Что случилось?

— Макс, она украла эти документы! Я посоветовал ей вернуть их назад, но что-то я не верю, что она это делает! Ее надо увезти из города.

— Я понял, — ответил Макс и положил трубку.

Моргот ткнулся лбом в холодный металлический корпус телефона и перевел дух.

— Макс позвонил мне почти сразу после ухода Моргота. Я еще не успела прийти в себя, я не знала, что мне делать! Или вы и после этого скажете, что Моргот не подлец?

— Я промолчу, — отвечаю я.

— Он испугался! Я же видела, он испугался! Одно дело — вести разговоры, и совсем другое — делать что-то по-настоящему. Он, оказывается, мог только говорить! Я не знаю, почему не поняла этого раньше! Я не знаю! — Стася заново переживает те несколько минут, ее маленькие кулаки сжимаются, щеки розовеют, и выпрямляется спина. — Какой я на самом деле была душой! Как я могла так думать о нем? Он предал меня, он предал меня при первом же испытании! Мама говорила мне, что мужчины такого сорта чувствуют себя уверенно только в кабаках и чужих постелях. Как она оказалась права!

— А знаете, что сказал мне Лео Кошев? — спрашиваю я.

— Что?

— Он сказал: политика — не игра на скрипке. И вы, и Моргот были пешками, которые он отдавал в жертву. Вы с радостью согласились принести себя в жертву, а Моргот к роли жертвы был не готов.

— А Макс? Почему Макс не думал ни одной минуты?

— А Макса часто видели с вами у проходной? Кто-нибудь из ваших знакомых знал о нем? Знал его фамилию, где он живет?

Она качает головой:

— Так получилось. Я никому о нем не говорила. Он не просил меня, это получилось само собой. Это было нашей тайной, понимаете? Мне казалось, стоит кому-то об этом рассказать, и все рассыплется, все пойдет совсем не так... Но это ничего не меняет! Он приехал ко мне через пятнадцать минут. Он по голосу понял, что со мной что-то не так, и сказал, что сейчас приедет. Мне казалось, он читал мои мысли на расстоянии, я не знаю, как он догадался позвонить мне именно в ту минуту, когда мне было так плохо, когда я была в полном отчаянье! Между нами как будто была протянута ниточка, и он почувствовал! Макс почувствовал, как он мне нужен! Я бы сама ни за что не стала ему звонить, понимаете? Я бы, по выражению Моргота, подставлять его не стала...

— А Моргота вы подставили, не задумываясь об этом?

— Он сам в этом виноват! Он сам все время давал мне понять, что его это интересует! Я это сделала для него! Для него и для дяди Лео! Я хотела им помочь! Все складывалось одно к одному. У дяди Лео не было способа передать эти папки Луничу, а у меня был! Я тогда думала, что был...

— Да, и Лео Кошев об этом знал, — киваю я.

— Это неправда! Дядя Лео ни о чем меня не просил! Я все сделала сама! Почему вы тоже считаете, что я не могла сама до этого додуматься?

— Дядя Лео предал вас. Он не сделал для вас ничего, а мог бы сделать очень много.

— Неправда! Он наверняка хотел что-то сделать, но не смог! Я не сомневаюсь в этом!

Я не хочу рушить ее веру в людей.

— Хорошо. Пусть будет так. Так что вам сказал Макс?

— Ничего. Он пришел, и я ему все рассказала. Он заставил меня все рассказать. Я ведь ничего не говорила ему про Моргота, я понимала, что этого делать нельзя. Я, конечно, говорила о том, что у меня был мужчина, который мне изменил, но я никогда не упоминала ни его имени, ни того, что продолжаю с ним видеться. Макс просто забрал у меня папки. Он ничего не говорил, но я все поняла. Он казался мне спокойным, уверенным. Так действует человек, который привык действовать: без суеты, без нервов... Я увидела совсем другого Макса. Он набрал три телефонных номера и говорил очень

коротко. А потом отдал мне ключи от своей квартиры, велел ехать к нему домой и ждать его возвращения. И никому, кроме него, не открывать, и не отвечать на телефонные звонки. И обязательно ехать на автобусе. Если бы вы знали, как я гордилась им! Если бы я только могла подумать, что нужный мне человек давно был рядом со мной! Самый близкий мне человек! Я только тогда поняла, как глупо было с моей стороны верить, что Моргота ко мне кто-то подослал! Ни один человек, если он на самом деле делает нечто подобное, не станет кричать об этом на каждом углу, не станет этим кичиться! Ведь не кричал же об этом Макс! Если бы не эти папки, я бы так и не узнала об этом!

— Но ради всего святого, почему же вы не поехали к Максусу?! Зачем вы вернулись в управление?!

— Я подумала, если сбегу, всем сразу станет ясно, что это я взяла документы. И тогда меня начнут искать. Меня и того, кому я отдала эти папки. Я никому о Максе не говорила, но кто-нибудь мог видеть нас вместе, случайно. Я боялась, что они перекроют все выезды из города, и Макс не сможет вывезти документы. Я хотела вернуться и дожидаться конца рабочего дня. А потом ехать к Максусу. А на следующий день можно было уже не беспокоиться, мы бы с Максом что-нибудь придумали. Уехали бы к нему на дачу, например.

Я не хочу говорить ей, какую глупость она сделала. Наверное, она и сама это понимает.

— Вам не пришло в голову, что ехать из управления к Максусу было бы небезопасно? За вами могли проследить.

— Если бы я это заметила, я бы не поехала к нему.

— Вы бы не заметили, — я качаю головой. — Впрочем, о чем теперь говорить...

Она не была глупой. Она относилась к тому типу людей, которые, обладая острым умом, иногда до старости остаются наивными и беспомощными перед жизнью. Она представляла этот мир по-своему, представляла его гораздо лучшим, чем он был на самом деле. Ей было всего двадцать лет, она рассуждала со свойственным молодости максимализмом и честностью. Она не знала жизни, ей не хватало опыта; она судила о жизни по своим выдуманным критериям. Жертвенность составляла ее сущность; она не более чем за два часа

пережила и нервное потрясение, и сильнейшее разочарование, и возвращение к вере в людей. Я думаю, в те минуты она пребывала в некоторой эйфории, она была влюблена и хотела представить доказательства своей любви. Я не снимаю с нее вины за случившееся, я всего лишь поясняю, что двигало этой прекрасной девочкой.

Моргот вернулся в подвал с мыслью больше никогда из него не выходить, проклиная Лео Кошева, который мог бы найти другой способ избавиться от документов. Видимо, в семье Кошевых все были обезьянами: на этот раз Морготу они отвели роль кота, таскающего каштаны из огня. Лео Кошеву было нетрудно догадаться, зачем Моргот крутится возле его секретарши, и точно так же об этом догадаются все остальные заинтересованные лица, как только поймут, кто забрал из сейфа документы.

Да, он испугался. Он не скрывал этого даже от самого себя. Когда я смотрю на происходящее сверху вниз, я вижу: именно в этот день он впервые попробовал себя в той роли, которая стала самой убедительной ролью в его жизни. Самой убедительной и самой ненавистной ему самому. Никто не мешал ему забрать документы у Стаси и передать их Макс: он бы точно так же первым попал под подозрение, а Макс точно так же остался бы в тени. Но кто знает: если бы он поступил по-другому, смог бы он сыграть роль незадачливого любовника секретарши Лео Кошева, который всего лишь искал способа познакомиться с ее шефом, на деле не имея никаких связей с Соппротивлением? И как бы в этом случае повела себя Стася? Захотела бы она покрывать человека, который оскорбил ее лучшие чувства? В той игре профессионалы стояли только на одной стороне, действия же другой стороны основывались не столько на здравом смысле, сколько на непредсказуемых эмоциях и поступках.

Впрочем, это гипотетические рассуждения. Все произошло так, как произошло. И Моргот, вернувшись в подвал и запершись в своей камерке, перебирал в голове, кто может сопоставить его имя и место его жительства. Повалявшись на кровати, он поднялся и перевернул все свои записи на предмет причастности к графитному цеху: копии чертежей, переписанный блокнот Кошева,

тетрадь Игоря Пospelова, заметки на полях своей записной книжки, выписки из книг, взятых у Сенко, и сами книги.

Моргот собрал все это добро в таз и вынес наверх. Бумага горела до странности неохотно, а бензина у него не было. Пришлось вытащить из таза книги и тетради, а сложенные чертежи развернуть. Мятая тонкая миллиметровка вспыхнула неожиданно ярко, пламя взлетело вверх, и в воздухе закружились огненные хлопья. Моргот подбрросил в таз обрывки черновых записей, а потом рвал книги и кидал в огонь расправленные и разорванные брошюры. Он никогда не жег бумаг, и костер горел непредсказуемо: то радостно вспыхивал, то безо всякого воодушевления грыз картонные обложки, то опадал и еле-еле тлел синими огоньками на почерневших кромках тетрадных листов. Машины горели иначе. Моргот кашлял, отмахивался от дыма и прятал руки в рукава, потому что кружащиеся в воздухе хлопья обжигали пальцы и норовили опуститься на лицо.

Он раскрыл последнюю тетрадь на середине и собиравшись разорвать ее пополам, когда среди длинных химических формул увидел надпись греческими буквами: Игор Пospelов. Огонь в тазу, сожрав очередную порцию бумаги, съежился. Дунул ветерок, выплескивая на траву сухой серый пепел: прах сожженных книг. Зачем он взял их у Сенко? Чтобы сжечь?

Моргот сел на траву, бросил тетрадь Игоря Пospelова перед собой и сжал виски руками. Зачем он сжег книги? Чего испугался? Ему показалось, он совершил что-то чудовищное, какое-то гнусное святотатство. Сенко приплачивал алкашам, чтобы сохранить библиотечку какого-то переставшего существовать НИИ «Электроаппарат»... Моргот не хотел играть эту отвратительную роль — самую убедительную роль в своей жизни. Он чувствовал себя разорванным на множество кусочков и не мог собрать себя из этих кусочков. Он неожиданно запутался в собственных масках: циников, флегматиков, гордецов, конспираторов, здравомыслящих мерзавцев и романтических героев. Ему вдруг захотелось узнать, что он на самом деле думает: он сам, а не его маски. Кто он на самом деле? И Моргот не смог ответить на этот вопрос, его сущность распалась на две половины:

одна из них подняла с земли тетрадь Игоря Поспелова и отряхнула с нее пепел. А вторая — самая убедительная роль в его жизни — требовала сжечь тетрадь немедленно. Страх сжимал ему челюсти и мурашками бежал по спине, а желчная улыбка сама собой кривила губы, когда он вспоминал о том, что четыре папки с грифом «Секретно» ушли из сейфа в кабинете Кошева и проданы не будут.

Салех пролез через дыру в заборе, заметил Моргота и направился к подвалу гордой походкой пьяницы, притворяющегося трезвым. Он был так сосредоточен на этом нелегком деле, что забыл поздороваться.

— Салех! — окликнул его Моргот, когда тот хотел спуститься в подвал.

— А! Здорово! Ну как жизнь? — Салех упорно делал вид, что происходящее воспринимается им здраво и трезво.

— У тебя водка есть?

— Откуда? Ты чего?

Может, водка у него и была, но делиться ею он не собирался.

— Сбегай, возьми литруху, — Моргот привстал и достал из заднего кармана две сотни.

Салех обладал удивительной способностью мгновенно преодолевать расстояния, если видел деньги. Даже если только чувствовал их появление.

— Мы не гордые, — подмигнул он, выхватывая сотни из рук Моргота, — мы сбегаем.

— Только один литр нормальной водки, а не три литра жидкости для обезжиривания поверхностей, понял?

— А то я не знаю, какая ты цаца! — Салех захихикал счастливым смехом.

Пока он бежал в магазин, Моргот убрал тетрадь Игоря Поспелова в полиэтиленовый пакет, завязал его крепким узлом и спрятал на развалинах соседнего корпуса, здраво рассудив, что ощупать каждый кирпич на всей территории инженерно-механического института никому не удастся.

Мы возили Первуню к ушному врачу уже без Моргота, а когда вернулись в подвал, они с Салехом успели набраться так, что оба едва не падали со стульев и орали друг на друга, продолжая философскую беседу.

— Слушай, ты, философ! — Салех лег грудью на стол, пытаясь заглянуть Морготу в глаза. — Ты слишком много думаешь! Тоже мне, рефлексирующий интеллигент!

— И где ты это вычитал?

— Я тоже книжки читал, не надо песен! Не надо думать, что Салех — полное дерьмо. Я в армии поли-
тинформации вел.

— Что-то не помогли тебе эти политинформации. Наверное, без души их готовил, а? — Моргот рассмеялся.

— Я? Без души? Я все делаю с душой, если хочешь знать! Только кому она нужна, моя душа? Вот и про-
пиваю теперь душу... Потому что никому она не нужна.

— А, так вот оно что! А я-то думал, чего это Салех пьет? А он, оказывается, душу пропивает!

— А ты не издевайся. На себя посмотри. Ты-то кому нужен?

— Слушай, Салех, а мою душу хочешь пропить? — Моргот достал из пачки сигарету, хотя в пепельнице еще дымился большой окурочок.

— Пошел ты к черту, — Салех мотнул головой.

— Хорошая идея. Год пить можно, если захочешь. Ты сходи в военную полицию, спроси, сколько тебе запла-
тят, если ты им расскажешь, где живет Моргот Гро-
мин... — Моргот щелкнул зажигалкой, но Салех, пере-
гнувшись через стол, вцепился рукой ему в рубашку и ненароком выбил сигарету из рук.

— Ты думаешь, я сволочь? Да? — прошипел он, брыз-
гая слюной. — Думаешь, я такая сволочь? Думаешь, я
уже все мозги пропил?

— А еще скажи, что нет, — невозмутимо усмехнулся
Моргот, отрывая цепкую руку Салеха от рубашки.

— Нет. Я друзей не продаю, ты понял? Ни за деньги,
ни за водку, ни за собственную жизнь.

— Ух ты! — Моргот хохотнул. — Как это пафосно. Ты
только их шмотки продаешь, а самих друзей — ни-ни,
правильно я понял?

— Шмотки — это дерьмо, — Салех убрал руку от Мор-
гота.

— Ну да, водка значительно полезней золотых часов.

— Да ладно, вспомнил! Подумаешь — часы! Хочешь,
я тебе завтра новые принесу? Золотые?

— Спасибо, не надо. Будем считать, это мой вклад в покупку твоей души, — Моргот машинально забрал горящий окурок из пепельницы и затянулся.

Мы с Бубликом собрались разогреть макароны и жарить колбасу, пока Силя укладывал Первуню в постель: доктор велел ему лежать под одеялом и пить теплый чай. Конечно, Моргот с Салехом нам мешали, но мы привыкли не обращать на них внимания, когда они напиваются вдвоем. Правда, от этого они оба делались очень приставучими и не давали нам покоя. И на этот раз Моргот пристал ко мне с вопросом, прочитал ли я книжки вслух, и заставил Бублика и Силю что-то ему пересказать, но его педагогический порыв быстро сошел на нет, потому что Бублик и Силя на самом деле стали наперебой пересказывать книжку про разведчика, во всех подробностях, да еще и в лицах. Разумеется, слушать это Морготу было неинтересно.

— Силя! — Моргот оборвал темпераментный пересказ, развернул Силю лицом к себе и встряхнул за плечи. — Ну-ка быстро отвечай, ты Родину любишь?

— Чего? — у того вытянулось лицо.

— Я спрашиваю, ты Родину любишь?

— Моргот, отстань от него, — вмешался Бублик, — я Родину люблю, и чего?

— А тебя не спрашивают! — Моргот щелкнул Бублика по лбу. — Ты соврешь — недорого возьмешь. За что тебе Родину любить, скажи мне? Что ты от нее видел, от этой Родины, а? Воровские притоны?

— Чего надо, то и видел, — проворчал Бублик, — вот тебя, например.

— Ничего ты не видел, — фыркнул Моргот. — И ничего ты в этом не понимаешь.

Он вдруг поднялся рывком и, сильно шатаясь, быстро пошел к выходу. Он всегда ходил быстро, даже когда плохо стоял на ногах.

— Давай дальше рассказывай! — неловко махнул рукой Салех. — Про разведчиков.

Силя с Бубликом переглянулись: Моргот своими дурацкими вопросами сломал им азарт и вдохновение. Бублик промямлил что-то, стараясь вспомнить, на чем они остановились, но Моргот вернулся очень скоро, подошел к столу и швырнул на него горсть земли. Комья разлетелись

по стопкам и тарелкам, перепачкали столешницу с ободраным лаком и просыпались на пол; развести на столе такую грязь за одну секунду не удавалось даже нам.

— Ну и какого черта ты свинишь-то? — обиженно пробормотал Салех, пристально всматриваясь в дно своей стопки с налитой водкой: несколько комков земли осели на дно, а сверху плавала тонкая пыльная пленка и волосатый корешок какой-то травинки.

Моргот не обратил на Салеха внимания и рявкнул, брезгливо показывая пальцем на стол:

— А ну-ка быстро все на это посмотрели!

Мы замаялись и пожалы плечами: ничего интересного в этом безобразии не было.

— Ну? — Моргот обвел нас пьяным взглядом и вытер руку об штаны. — Видели? Знаете, что это такое?

— Земля, — ответил Бублик.

— Точно. Мать сыра земля, мать ее... Нравится? А? Вот эта грязьца на столе вам нравится?

Я не всегда мог угадать, какой ответ хочет услышать пьяный Моргот, верней — после какого ответа он успокоится и от нас отстанет. Бублик же неизменно оставался невозмутимым и не пытался ничего угадывать.

— Ты б еще в кастрюлю с макаронами ее вывалил, — проворчал он.

— Вот и объясните мне, за что это любить, а? Ну за что? Что в этой грязи такого хорошего, что я должен ее любить?

— Тебя что, кто-то заставляет? — Бублик намочил тряпку и начал потихоньку вытирать стол, собирая землю в ладонь.

— Никто меня не заставляет! — оскалился Моргот. — Попробовал бы кто-нибудь меня заставить! А ее, понимаешь, в узелки завязывали и на шею вешали!

— Моргот, это только когда уезжали куда-нибудь, — проявил я знание народных сказок, — а когда никуда не уезжаешь, то не нужно.

— Да я и не собираюсь! — выплюнул Моргот, повернувшись ко мне. — Я что, похож на ненормального?

— На неврастеника ты похож, — выдал Салех. — Сядь на место! Думаешь там чего-то про себя, думаешь... Смотри, додумаешься! Проще надо быть! Выпей лучше, глядишь, думать перестанешь. Насвинил тут...

— Салех, ты не понял? Вот это свинство — это и есть твоя гребаная Родина!

— И чё ты тут передо мной распинаешься-то? Мне эта Родина до лампочки! Выпей и уймись!

Моргот, вместо того чтобы разозлиться на Салеха, сел за стол, ссутулился и молча опрокинул в рот стопку водки.

— Через час после появления налоговой инспекции, когда стало ясно, что документов в управлении нет, к нам пожаловала военная полиция, — Лео Кошев покашливает в кулак. — Виталис присутствовал при обыске, его якобы пригласили как представителя завода, и об исчезновении папок они узнали сразу. Я не ожидал, что военная полиция вступит в игру так быстро: у них не было никаких оснований ни для обыска, ни для обвинений. Но, когда надо, фабриковать дела они умели. Ярлык «международный терроризм», да приправленный поисками ядерного оружия, развязывал им руки. Я вызвал адвокатов заранее, но они только развели руками: военная полиция имела широчайшие полномочия, почти любые их действия были санкционированы заблаговременно, в законодательном порядке. По их сведениям, источник которых они не намерены были раскрывать, в управлении завода хранились документы, указывающие места хранения ядерных боеприпасов. Я думаю, этим источником послужил какой-нибудь алкоголик, подписавший необходимое заявление, но для открытия дела этого оказалось достаточно. Ни один человек по этому делу не предстал перед судом, никому не было предъявлено вразумительного обвинения, зато допрошенных и задержанных оказалось достаточно. Они легко получили санкции на прослушку телефонов, на слежку, на установление видеокамер, на обыски, на контроль личных счетов и прочее, и ни один адвокат не мог доказать противоправности их действий. Они имели право на задержание человека без предъявления обвинения до двадцати восьми суток! При подозрении в любом другом преступлении этот срок измеряется часами! Впрочем, я думаю, если бы это право не закрепили для них законодательно, они бы нашли способ обойти закон. Сначала все списывалось на военное время,

потом — на борьбу с терроризмом. Они запугали весь мир сказкой о ядерных боеприпасах в руках фанатиков!

— Скажите, а вы сами были задержаны?

— Я был приглашен для беседы, — Кошев не опускает глаз, — и отказаться от этого приглашения не мог.

— Каким образом подозрение упало на Стасю Серпенку? Почему она оказалась первой подозреваемой?

— Она опоздала с обеда на полтора часа и приехала в управление, когда там уже была налоговая инспекция. Налоговики тоже не отличались деликатностью, разгуливали по управлению, как у себя дома, и первое, что Стасе сказал развязный майор милиции: «Вы, небось, черную бухгалтерию вывозили, а не обедали!» Он так шутил, понимаете? Но люди, которые принимали участие в обыске с другими целями, — их было трое — едва не подпрыгнули, услышав это. Она не умела врать и не знала, как и когда можно врать. На проходной тут же выяснили, когда она вышла из управления и сколько времени отсутствовала. Для предъявления обвинения — очень мало, но для логических предположений — вполне достаточно. А когда приехала военная полиция, была изъята запись с видеокамеры на проходной. Их ни в чем не убедило то, что она выходила с пустыми руками. С двери сейфа, с ключа, с ящичков моего стола были сняты все отпечатки пальцев, на следующий день для дачи показаний вызывали уборщицу, выясняя, когда и с какой тщательностью она протирает мебель. Они работали быстро и профессионально, у них хватало людей, денег и времени. Ни один рабочий не покинул площадки, пока они не закончили, а закончили они вскоре после полуночи. Вы же понимаете: люди, которые не имели к руководству завода никакого отношения, работники арендаторов в том числе, и сами арендаторы — все они в это время едва не штурмовали проходную! Пятнадцать человек было задержано при попытке уйти за территорию через дыры в заборе, одним из них оказался наш сантехник. Всех задержанных собрали в вестибюле у проходной, все они ругались и грозили солдатам, которые их охраняли, с каждым часом все громче. И кричали они что-то про чертовы папки, которые полиция никогда не найдет, а они из-за этого ночевать здесь не обязаны. Ну, вы, наверное, можете представить себе, как выглядят подобные протесты...

Я киваю.

— Разумеется, источник сведений о папках был найден за пятнадцать минут. Я думаю, сантехник испугался. Люди в камуфляже с автоматами наперевес не страшны, когда знаешь, что они не будут стрелять, и когда за твоей спиной в прямом смысле стоит четыре юриста, защищающих твои права. А когда ты не имеешь представления о законах, зато помнишь уличные бои, люди с автоматами не кажутся тебе безопасными. В общем, он сразу признался в том, что помог моей секретарше вынести документы. Его задержали, но, насколько я знаю, отпустили под подписку о невыезде через сутки. Его показания, отпечатки пальцев на двери сейфа, время выхода за территорию — этого было достаточно для задержания моей секретарши по подозрению в «пособничестве международному терроризму». И, самое удивительное, она верила в то, что эти документы на самом деле имели отношение к хранению и производству ядерных боеприпасов! Она этого не отрицала, вы понимаете? — рука Кошева отрывается от подлокотника. Он не любитель жестикулировать, но взмахивает рукой, то ли от отчаянья, то ли от возмущения. — Она призналась во всем тут же, в моем кабинете, в присутствии моих адвокатов. И ни слова не сказала о том, что сделала это по моему распоряжению, сказала, что подслушала телефонный разговор. На вопрос, куда она дела документы, она отвечать отказалась. Знаете, она была очень спокойна, очень уверенна...

— Почему вы не дали ей адвоката? Как случилось, что Стася оказалась там совсем одна?

— Я, разумеется, на следующее же утро отправил к ней адвоката. Но ему было сказано, что адвокат у нее уже есть, защитник предоставлен ей в соответствии с законом и вполне ее устраивает. Я думаю, если бы я сам оказался там в качестве задержанного, мне бы ничего не оставалось, как согласиться на их защитника. Вы же понимаете, что права человека — это миф. Даже когда доказательства злоупотреблений доходят до общественности, в виде фотографий или видеозаписей, общественность оправдывает их действия. Потому что речь идет о террористах, о фанатиках с ядерными бомбами в руках! Однажды я услышал фразу, сказанную на

самом высоком международном уровне: «Воздействия на людей, подозреваемых в терроризме, жестоки, но совершенно безопасны». Я не уверен в их безопасности, но в жестокости не сомневаюсь.

— Как они узнали о Морготе Громине?

— От моего сына, разумеется. Тогда я услышал его фамилию во второй раз. В первый раз Виталис говорил о нем, когда у него угнали машину, но я не сопоставил между собой человека, который отдал мне его блокнот, и угонщика. Я попросту забыл об этом угоне, мне показалось, что это какие-то личные и давние счеты моего сына с однокурсником. Тем более что машину нашли и угонщиками оказались какие-то подростки. Теперь я думаю, что Виталис был прав и блокнот попал к Громину именно этим путем. Но Виталис не вспоминал об угоне: я думаю, существование блокнота он хотел сохранить в тайне от военной полиции. Кстати, это сыграло Громину на руку: факт обвинения Громина в угоне всплыл через пару дней, и полицейские посчитали заявление моего сына о причастности Громина к Сопrotивлению очередной попыткой свести старые счеты. Они нашли немало подтверждений этой версии: заявление в милицию многолетней давности, показания однокурсников.

— Вы знали, где он живет, почему вы не сказали об этом полицейским?

Тонкая улыбка трогает губы Лео Кошева:

— Они меня не спрашивали. Им не могло прийти в голову, что я могу об этом знать.

— А откуда вы столько знаете об этом деле? Военная полиция отчитывалась перед вами? — я понимаю, что превращаю беседу в допрос. Но Лео Кошев согласен с моим правом на ведение допроса, он пришел сюда отвечать и оправдываться. И не пригласил адвокатов.

— Я имел осведомителей. И не только я. Насколько мне известно, Сопrotивление тоже получало оттуда сведения через своих агентов, только мои осведомители сидели немного выше и получали от меня гораздо больше. В военной полиции, несомненно, было немало представителей иностранных спецслужб, в качестве консультантов, разумеется, но и наших продажных полицейских хватало. Не удивлюсь, если

Соппротивление внедряло туда и преданных делу людей, но в деньгах оно не нуждалось.

— Вы считаете, Соппротивление имело какое-то финансирование?

— Вне всяких сомнений! Если бы Соппротивление его не имело, миротворцам следовало бы самим об этом позаботиться. Иначе чем бы они оправдали наличие военных баз на нашей территории?

На следующее утро Моргот проснулся с диким похмельем, он даже глаз открыть не мог, а попытка пошевелить пальцами тут же волной прокатывалась по всему телу, вызывая приступ тошноты и адской головной боли — не иначе, Салех брал водку не в магазине, а в каком-нибудь подвале, где подешевле.

Моргот сразу вспомнил события прошедшего дня, и к страданиям его добавились раскаяние и стыд: почему-то похмелье всегда обостряло в нем недовольство собой, до острой боли, до нежелания жить. И опасность оказаться в руках военной полиции уже не казалась ему столь серьезной, чтобы выставлять себя подлецом и последней дрянью. А также напиваться и изливать душу Салеху, пропившему и без того скудные мозги. Он перебирал в голове слова, которые успел сказать Стасе, и обмирал от мысли, как это было отвратительно, отчего головная боль билась в виски тупой тошнотворной зыбью. Тогда он не вполне представлял себе технологий допроса и способов отличить правду от лжи, и ему казалось, что этот разговор ничего не менял. Нет, его чувства мало походили на муки совести: его не беспокоило, что он сделал, — его волновало, как он выглядел и что о нем думают.

Было довольно рано, за длинным узким окном под потолком пересвистывались пташки, и сырой ветерок нес в каморку запах земли и мокрой травы. Звуки и запахи летнего утра — безмятежного и свежего — еще сильней притупляли ощущение опасности. За перегородкой слыпи пацаны и храпел Салех. Моргот очень хотел заснуть снова, чтобы проснуться без головной боли и тошноты, но стоило ему расслабиться, как в голову снова лезли мысли о происшедшем накануне, и сон слетал с него в один миг.

Он не мог слышать шагов возле спуска в подвал (его окно выходило на противоположную сторону), но ему показалось, что он их услышал. Ему показалось, что он вскочил на ноги за миг до того, как открылась дверь в подвал. Кровь отхлынула от головы, и пустота в черепной коробке сдавила виски стальным обручем, едва не ломая кости. Моргот еще секунду стоял, размышляя о бегстве через окно, но в глазах у него потемнело, пространство вокруг закружилось, словно лопасти пропеллера, и он навзничь рухнул обратно на кровать, обхватив виски руками.

Дверь в каморку деликатно скрипнула, и через порог переступил Макс: как он ни пригибал голову, все равно задел макушкой притолоку.

— Ну что ты еще мог сделать, как не нажраться... — сказал он безо всякого дружеского участия и сел на стул.

Моргот хотел послать его к черту, но выдал из себя только что-то короткое и нечленораздельное.

— Ее арестовали, — Макс вздохнул, скрипнул зубами, но лицо его осталось спокойным и деловым. — Я пришел предупредить. Лучше бы тебе уехать на время...

Моргот подтянул ноги на кровать и перевернулся на бок, продолжая держаться за голову. Ему хотелось спрятаться под подушку, он не был готов обсуждать это в таком состоянии. Куда, интересно, он мог уехать? Здесь, в огромном городе, он как муравей в муравейнике, а появившись он в любом другом месте, не столь густо населенном, он тут же окажется на виду, как любой новый человек. Снять жилье без паспорта слишком сложно и еще более рискованно, чем тихо отсиживаться в подвале. Родственники, конечно, паспорта не спросят, но у родственников будут искать в первую очередь, как и у старых знакомых, вроде Сенко или Макса.

— Кто-нибудь знает, где ты живешь? — спросил Макс.

— Нет, — слабо выдохнул Моргот.

— Я считаю, для них это дело времени, дней четырех-пяти. Я придумаю что-нибудь за три дня.

— Придумай, — Моргот хотел, чтобы Макс ушел и оставил его в покое.

Но Макс в покое его не оставил, вышел из каморки и поставил чайник, а через минуту принес Морготу шипучего аспирина в чашке.

— Лучше бы пива принес, — проворчал Моргот: единственное, в чем он увидел пользу от прихода Макса в этот час, — это появление пары бутылок холодного пивка.

— От пива тебя развезет, — ответил Макс, и лицо его стало каменным. Да, наверное, ему было больше нечего делать как бегать за пивом. — Поднимайся и пей. И чем скорей ты оклемаешься, тем лучше.

Моргот пошевелился, попытался приподнять голову, но тут же со стоном уронил ее обратно на подушку.

— Кончай притворяться, — недовольно сказал Макс, — мне некогда сейчас с тобой возиться, как ты не понимаешь?

— И чего ты тогда приперся? — огрызнулся Моргот. — Я, что ли, виноват в том, что она такая идиотка?

Макс поставил чашку на стол, ухватил Моргота под мышки, приподнял и швырнул на спинку кровати.

— Лучше молчи, — он сунул чашку в трясущиеся руки Моргота. — Для нее я уже ничего сделать не могу, мне остается только вытащить тебя.

— Спасибо, конечно, — Моргот кашлянул и поморщился от боли в затылке. — Заметь, это была твоя идея.

— А я с себя вины не снимаю, — Макс вскинул глаза. — Поэтому не жру водку и не бьюсь башкой об стену.

— Ну еще придумай причину, по которой мне нельзя водку жрать! Я ее не заставлял забирать эти папки! Она что, не понимала, как подставляется?

— Не смей... Она сделала то, что ни ты, ни я сделать бы не смогли. Даже не попытались бы.

— Ага! Родина ее не забудет! — Моргот скривился.

— Я не готов сейчас к твоему сарказму. Поэтому лучше помолчи, — лицо Макса оставалось серьезным и непроницаемым.

— Какого черта ты ее не увез из города, ты мне можешь сказать? Как она у них оказалась? Ты что, бросил ее там одну?

— Я не могу быть в двух местах одновременно. И я очень жалел, что ты меня не дождался.

— Ну да, конечно! — фыркнул Моргот. — Я во всем виноват!

— Ты ни в чем не виноват, успокойся. И тебя бы начали искать независимо от того, арестована она или нет. А я... я должен был сначала вывезти документы. Это было правильно, разумно, понимаешь? — Макс посмотрел на Моргота жалобно, словно искал подтверждения своим словам.

— Макс, разумеется, — на полном серьезе ответил Моргот, — я бы даже думать не стал на твоём месте.

— Я дал ей ключи от своей квартиры и велел ждать меня там. А когда вернулся, ее там не было... Я вернулся ночью, поздно...

— Кто тебе сказал, что ее арестовали?

— У меня есть осведомители, — ответил Макс уклончиво.

И тут Моргота прошиб пот:

— Ты что, сказал ей, где живешь?

— Она знала, — спокойно пожал плечами Макс, — она давно знала.

— И ты уверен, что пришел сюда один? Ты уверен, что за твоей квартирой еще не установили наблюдение? Ты сумасшедший... — жаркий пот сменился ледяным ознобом, и Моргот потянул на себя одеяло.

— Она ничего не скажет обо мне, — ответил Макс.

— Да ну? Ты в этом уверен?

— Я в этом, к сожалению, уверен. Лучше бы она рассказала им про меня. Меня бы они не нашли, а ее бы со временем отпустили. Это дело не тянет на международный терроризм, им было бы проще ее отпустить.

— А твоя мама, Макс? Куда бы ты ее дел? Отправил в лес, прятаться в землянке?

— Не знаю. Я бы придумал что-нибудь. Я хотел пойти сдать, но мне никто этого не позволит. Я слишком много знаю.

— Ты же у нас герой, — Моргот скрипнул зубами, — ты никому ничего не расскажешь!

— Я не знаю, что будет, если мне уколеть наркотик. Это очень рискованно.

— Ага. А Стася ничего про тебя не расскажет даже под наркотиками!

— Не расскажет. Ты не понимаешь. Она любит меня.

— Какую чушь ты городишь! — Моргот покачал головой — от аспирина в ней кое-что стало проясняться.

— Я говорил об этом со спецами. Они сказали, что человека нельзя заставить делать то, чего он подсознательно делать не хочет. Ни наркотиками, ни гипнозом.

— Чушь! Утюг на брюхо, и через три минуты ты подсознательно захочешь сделать то, чего только что не хотел.

— Не надо! — вскрикнул Макс. — Моргот, не надо, слышишь? Не говори мне... Я и так еле держусь...

— Да ладно, — пробормотал Моргот, — держись себе.
— Думаешь, мне не хочется напиться? — Макс опустил плечи и провел рукой по лбу. — Еще как хочется.

— И что тебе мешает?

— Ты! Тебя здесь найдут! Рано или поздно, но найдут. У тебя что-нибудь осталось из того, что может быть связано с цехом? Хотя бы косвенно? Книги у тебя были, выписки какие-то...

— Я все сжег. Вчера, — вздохнул Моргот, вспомнив о тетради Игора Пospelова.

— Точно все? Ты только мне не ври. Ты не видел, как они умеют искать, а я видел. В буквальном смысле: землю роют.

— Я точно все сжег, — повторил Моргот.

— Ты хочешь уехать за границу? Это можно было бы устроить.

Моргот покачал головой. Куда? Кем? А главное — зачем? Мирок, с таким тщанием выстроенный им на развалинах собственной жизни, оказывается, был ему дорог. Он не хотел его терять, он не хотел строить его заново!

— Я понимаю, — кивнул Макс.

— А пацаны? — спросил Моргот.

— Пацаны пойдут в интернат, как и положено. Ты и сам понимаешь, что это не дело. Дети должны учиться. Это же не игрушки, это дети.

— Макс, я что, должен уехать отсюда насовсем, что ли?

— Нет, я думаю, двух месяцев достаточно.

— Два месяца они без меня перекантуются. Они же у меня самостоятельные.

— А если кто-то из них заболит? Ногу сломает? Отравится чем-нибудь? К ним даже скорая не приедет!

— Перекантуются, — махнул рукой Моргот.

— Короче, я готовлю тебе деньги и документы, мне нужно дня три. Может, четыре.

— Какая заграница, Макс? Меня возьмут в аэропорту или на вокзале!

— Никаких вокзалов не будет. Пойдешь пешком.

— С ума сошел?

— Хорошо, поедешь на машине.

— Мля, что я там буду делать? На кой черт мне это сдалось?

— Будешь, точно так же как здесь, валяться на кровати и читать книжки в какой-нибудь гостинице. Или тебе больше

нравятся наркотики и электрошок? Сигарет там выдают десять штук в день, но тебе и этого может не обломиться.

— Я бы съездил куда-нибудь. На море... — примирительно согласился Моргот.

— Разбежался. На море! Я попробую найти что-то поприличней... Да, понадобятся твои фотографии на документы. Я завтра все тебе скажу. Только...

— Что?

— Ты мне пока не звони. На всякий случай. Да и дома меня не будет. Звони Сенко, хорошо? Я ему все передам.

— Чего? Кому?

— Сенко. Однокурснику твоему, — Макс невесело усмехнулся. — И никогда не звони ему с ближайшего автомата, и никогда не говори больше минуты, понял?

— Да ты с ума сошел! Сенко — их единственная зацепка!

— Не верю я, что они ему поставят прослушку. А если и поставят, то тебя не вычислят. Только звони обязательно, каждый день. Часов в семь вечера.

— Ладно, — пожал плечами Моргот.

— Тогда я пошел, — Макс поднялся, пригибая голову.

— Погоди... — Моргот попытался встать.

— Что-то важное?

— Погоди, говорю, — Моргот несколько секунд сидел на кровати, схватившись за голову. — Ну не могу я так быстро встать!

— Руку давай.

— Да толку от твоей руки, если башка раскалывается...

Он вышел из подвала вместе с Максом, босиком и в трусах, и, кряхтя и пошатываясь, направился к соседнему корпусу. Роса на малиновых кустах еще не высохла и обжигала тело бодрящей прохладой, мелкие обломки кирпичей под ногами кололи пятки; Макс молча шел сзади. Моргот вытащил спрятанную тетрадь, оглянулся и протянул ее Максу.

— Вот, возьми.

Макс узнал тетрадку и сквозь полиэтиленовый пакет и легонько толкнул Моргота ладонью в лоб:

— Чего не сжег-то?

— Не захотел, — ответил Моргот. — Верни мне ее потом.

— Зачем она тебе?

— Не твое дело.

— Морготище... Мне больше делать нечего, как прятать тетрадки, — Макс усмехнулся. — Имею я право хотя бы знать, для чего это делаю?

— Если эта технология действительно обгоняла западную, как ты говоришь, Игора Пospelова убили люди Лунича, ты это понимаешь?

— Это чушь, Моргот! Зачем? Если все равно существовали чертежи?

— Чертежи в результате ушли к Луничу.

— Да это же мелочь, это не тот масштаб! Ты представляешь себе, что такое операция по ликвидации человека?

— Во время уличных боев? Как видишь, технология стоила миллионов, миллионов в валюте. И, уверяю тебя, она миротворцам досталась очень дешево, можно сказать — за бесценок.

— Но мы бы ничего не потеряли, от нас не убудет, если кто-то еще начнет использовать эту технологию! — Макс покачал головой.

— У нас — не убудет, зато прибудет у них. Возможно, это была единственная наша технология, которая чего-то стоила. Лунич — политик. Где он взял этого эксперта в такой короткий срок? Я тебе скажу: эксперт у него был, давно был, еще когда Лунич законсервировал цех. Возможно, этим экспертом являлся кто-то из ученых, работавших в цехе, тот же Ганев, например. Лунич уже тогда знал, что это такое и насколько это дорого стоит. Он — знал, а ученые не знали. И смерть ученых никому выгодна не была, кроме Кошева, конечно. Но когда убили большинство из них, Кошев об этом еще не подозревал.

— Ты поэтому хочешь сохранить тетрадь? Чтобы это было не только у Лунича?

— Нет, — ответил Моргот. — Если я когда-нибудь умру, мне бы хотелось, чтобы от меня тоже хоть что-то осталось.

Тетрадь с пожелтевшими, хрупкими страницами лежит передо мной на журнальном столике. Ее мне отдал Первуня. Когда мать Макса нашла нас — а мы тогда держались в подвале из последних сил, — она забрала его к себе. Она не могла взять всех четверых и взяла

только Первуню. Но мы часто бывали у нее по выходным и ездили к ней на дачу, есть клубнику с молоком. И когда стали взрослыми — тоже.

Теперь содержание этой тетради ничего не стоит. Но я все равно храню ее, потому что так хотел Моргот. Потому что это след человека на земле. Рядом с тетрадью лежит его записная книжка. Не думаю, что его стихи и заметки чего-то стоят для человечества, равно как и моя книга о нем. Но это — его след. След Сенко — библиотека НИИ «Электроаппарат». След Стаси — картина «Эпилог». Кто знает, сколько следов еще они могли бы оставить? Я храню их следы, но когда меня не станет, они исчезнут.

Силя весь день был злым и неразговорчивым, все время огрызался на нас и убегал, а вечером не стал смотреть с нами мультяшки: ходил куда-то по темноте, а вернувшись, завалился на кровать лицом к стенке.

Моргот выбрался из подвала лишь к вечеру, но вскоре вернулся и снова собрался уходить. В последние дни он часто уходил на целую ночь и пропустил только тот день, когда напился вместе с Салехом. Мы думали, он собирался украсть машину. Но тогда мы не знали, что он торопился, и торопился, чтобы перед отъездом оставить нам денег.

Мы давно погасили свет, я, наверное, даже задремал, но проснулся, когда услышал тихие всхлипывания Силя и шепот Бублика. Я и так недоумевал весь день, что же происходит с Силей (даже дразнить его не хотелось), и встал не столько потому, что его пожалел, сколько из любопытства: может, он что-нибудь расскажет? Но он замолчал, стоило мне подойти поближе, и Бублик отчаянно замахал на меня рукой.

Через две минуты, так и не добившись от Силя больше ни слова, Бублик молча взял меня за руку и потащил в каморку к Морготу — там горел свет.

Моргот шнуровал кеды с замазанными гуталином подошвами — мы едва успели его перехватить.

— Моргот, надо поговорить, — шепотом, но очень серьезно начал Бублик.

— Чего? — протянул тот и посмотрел на Бублика, как на вошь.

— Надо поговорить, — повторил Бублик и кивнул.

Мы стояли перед ним в трусах, майках и босиком; не знаю, как я, а Бублик был взлохмаченным и сонным.

— Совсем обалдели? — Моргот поднялся, сунул в карман пачку сигарет и одернул черный свитер.

— Только давай выйдем на улицу, чтобы нас никто не слышал.

— Другого времени не нашел?

— Ты же все равно идешь на улицу, — непреклонно сказал Бублик.

Моргот закатил глаза, недовольно покачал головой и направился к выходу, игнорируя наше присутствие. Бублик потащил меня за ним. Если бы мы тогда знали, какие проблемы волнуют Моргота, мы бы к нему и не сунулись. Но он не посвящал нас в свои проблемы.

Моргот оглянулся, только когда мы прошлепали сзади него по лестнице вверх.

— Ну? Быстро. Что вам надо? — он торопился и был раздражен.

— Моргот, понимаешь, у Сили завтра день рождения. Он там плачет...

— О безвозвратно ушедшей молодости, что ли? — фыркнул Моргот.

— Нет. О папе с мамой. Когда он жил дома, у него была бабушка. Когда бабушка умерла, его отдали в интернат. Но ему каждый год справляли день рождения. Пока он не попал в интернат.

— Это здорово, а от меня вы чего хотите?

— Я не знаю. Он плачет, понимаешь?

— Ты хочешь, чтоб я тоже поплакал?

— Нет, — ответил Бублик, развернулся и пошел назад, в подвал. Он в первый раз обиделся на Моргота, больше я никогда не видел, чтобы Бублик обижался. Моргот пожал плечами и направился в противоположную сторону. Я постоял немного, глядя ему вслед, и спустился вниз, за Бубликом.

Силиа уже уснул, а мы с Бубликом еще целый час придумывали, как поздравить Силю с днем рождения. Денег у нас было совсем немного. Мы вытрясли наши кубышки, пересчитали все, что оставалось от денег на продукты, выданных Морготом, и пришли к выводу, что их могло бы хватить на маленький торт и бутылку

колы. Бублик думал про подарок, хотя бы очень маленький, какой-нибудь трансформер или фонарик, и мы отложили это до завтра, когда можно будет походить по магазинам и выбрать что-то подходящее.

Моргот вернулся часов в восемь утра, как всегда усталый и заспанный. Обычно он бывал весел и возбужден, когда возвращался с деньгами, но в тот день веселым я бы его не назвал. Мы с Бубликом собирались потихоньку от Сили бежать по магазинам и умывались, когда Моргот спустился в подвал, швырнув на стол палку колбасы — хорошей колбасы, не такой, как мы обычно покупали. Потом постоял немного и не пошел к себе, а сел за стол и включил чайник.

— Бублик, долго ты там еще плескаться будешь? — спросил он через минуту.

— Щас, — ответил тот, сорвал с гвоздя полотенце и подошел поближе.

— Раз у Сили день рождения, купите чего-нибудь. Ну, пирожных там... Лимонада. Мороженого.

— Может, лучше торт? — спросил я, радостно подсакивая к столу.

— Во, торт купите. Свечек каких-нибудь. В общем, чтобы все было как надо, — он выложил на стол пятисотенную купюру. — Подарок еще купите какой-нибудь. Только нормальный подарок. Книжку там...

Он подумал и добавил сверху еще две сотни. По сравнению с нашей мелочью это было целое состояние, и я едва не закричал «ура».

Моргот продал машину в другом месте, не там, где его хорошо знали, и денег получил меньше, чем рассчитывал, но торговаться не стал. Он не хотел уезжать даже на два месяца и понимал, что два месяца — минимальный срок. Что произойдет без него за это время? Возможно, ему некуда будет возвращаться. Деньги он собирался разделить: половину оставить нам, а половину взять с собой. Чтобы каждый день гулять по кабакам, этого было маловато, но чтобы не отказывать себе в маленьких радостях жизни — вполне достаточно. День рождения Сили немного спутал его планы, но Моргот легко расставался с планами, так же как и с деньгами.

Он не боялся разгуливать по городу, напротив, сидя в подвале рисковал гораздо больше, поэтому поход в «Детский мир» откладывать не стал. И долго раздумывал, какой подарок купить: велосипед или железную дорогу? Но велосипеды пришлось бы покупать всем четверым, от одного велосипеда толку мало, а покупка четырех велосипедов была ему не по карману. Железной дороги должно было хватить на всех, в том числе и на Салеха.

Она стоила сумасшедших денег. Хватило бы на два велосипеда. Но, увидев эту штуку, ни на какую другую Моргот бы уже не согласился. Он выгреб из карманов почти все, что взял с собой из дома, и долго чесал в затылке. Вежливая продавщица предложила ему купить вариант попроще и подешевле, но Морготу дешевая железная дорога не нравилась. Там нельзя было раскладывать рельсы по своему усмотрению — только по кругу, — и единственный паровозик на пластмассовых колесах развалился бы через три дня. Он перестал сомневаться, набросал на прилавок скомканных мелких купюр и брезгливо велел, немного подумав:

— И бантик какой-нибудь привяжите сверху...

— Это подарок? — улыбнулась продавщица. — Мы сейчас его упакуем, как положено подарку!

Моргот поморщился:

— Дорого?

— Нет, для такой покупки — бесплатно.

— Ну пакуйте... — Моргот посмотрел в потолок: почему-то он чувствовал себя неловко, как будто делал что-то предосудительное.

Проходя мимо книжного отдела, он приостановился. Силя и книга, конечно, были не очень-то между собой совместимы, но Моргот все равно купил несколько штук — на всех, включая Первуню. А чтобы Силю порадовать, взял в спортивном магазине отличный и недорогой фонарик — мальчишки любят такие вещи.

С почтальоном договориться оказалось нетрудно — он согласился своей рукой написать адрес, где вместо номера квартиры значилось: «Подвал», поставил почтовый штемпель и обещал принести подарок ровно в четверть пятого. Он хорошо знал всех нас (так же как нас знали в окрестных магазинах): мы иногда помогали ему разносить почту — за мелкую мзду, конечно, но не деньгами, а полезными (с нашей

точки зрения) вещами вроде гашеных марок, сургуча, пустых почтовых бланков и прочей ерунды. Моргот об этом даже не подозревал и очень удивился, когда почтальон не взял с него денег. Более того, он сильно забеспокоился: бескорыстие почтальона напугало его, заставило искать несуществующую подоплеку в его поступке. Ему не пришло в голову, что почтальон может попросту забрать железную дорогу себе; Моргот опасался, не побежит ли тот к телефону, едва за ним закроется дверь.

Мы накрыли потрясающий стол. Мы выдвинули его на середину и даже купили на него тонкую полупрозрачную клеенку, упрямо называя ее скатертью. Я радовался так, как будто это был мой собственный день рождения, и, наверное, Бублик разделял мою радость. Первуня, еще числившийся в больных, но уже забывший о своем ухе, скакал вокруг стола и поминутно спрашивал, когда начнется «день рождение». Только Сия сидел в углу, насупленный и нахохлившийся. Мы надеялись его растормошить, но понимали: ему нужен не день рождения, ему нужно совсем другое. Нам троим не на что было надеяться, и мы не надеялись, мы радовались тому, что у нас есть, и добра от добра не искали. Ребенок не может бесконечно упиваться своим горем, он не станет жить с ним, лелеять его каждую минуту — постарается о нем не вспоминать. Но если в конце этого черного тоннеля брезжит свет надежды, ей нельзя не отдаваться, хотя бы время от времени. Я не знаю, кому из нас было легче: мне, у которого никакой надежды на возвращение родителей не было, или Силе, который лелеял в себе эту надежду, возвращал ее, превращал в веру и опирался на нее, как на нечто почти свершившееся.

Салех, нюхом чуввший застолье за несколько километров, появился часа в три и, узнав, что мы празднуем, снова исчез, а вернулся со связкой воздушных шаров, рвавшихся в потолок, — более всего шары понравились Первуне.

Моргот прибыл в подвал, когда празднование было в самом разгаре, а на плитке подгорал дышленок — мы про него забыли. Добрый, только что поправивший здоровье Салех хлебал колу и закусывал ее сладкой ватой — это он уговорил нас не ждать Моргота, потому что тот мог вернуться когда угодно.

— Моргот! А мы как же? — спросил он, стоило Морготу перешагнуть через порог. — Будем давиться лимонадом? Может, сбежать?

— Ну сбегай, — усмехнулся Моргот, стаскивая сковороду с электроплитки.

— А денег дашь? — у Салеха вспыхнули глаза.

— С деньгами и дурак сбегает, — рассмеялся Моргот, но денег дал.

Сияя немного повеселел, но на его лицо время от времени набегала тень — я знал (или думал, что знаю), о чем он думает. Он вспоминал тот день, когда дома на белой скатерти его мать расставляла красивую праздничную посуду, и то утро, когда он открывал глаза и видел перед кроватью красивую коробку с самым главным подарком — от родителей. И нет на свете ни одного подарка, который помог бы ему вернуть те времена. Так же как и мне.

— Сияя, я тебе подарок принес, — Моргот хлопнул книжки на стол и достал из пакета коробку с фонариком, — вот, смотри. На аккумуляторе.

— Спасибо, Моргот, — Сияя сказал это совершенно искренне, — спасибо. И... и за колу тоже спасибо... За пирожные...

— Да ладно... — фыркнул Моргот.

Глаза Сии вдруг наполнились слезами, он поднялся, постоял немного и выскочил из-за стола, кинувшись к своей кровати.

— Чего это он? — через минуту спросил Салех, прислушиваясь к рыданиям, зажатым подушкой.

— Он родителей вспоминает. Грустно ему, — ответил Бублик.

— И я маму вспоминаю... — всхлипнул Первуня, — она хорошая была. Она на мой день рождение пирожных покупала. И еще... мандаринов. И игрушку какую-нибудь.

Губы его разъехались в стороны, и крупные слезы побежали по щекам.

— Ну, Первуня, — Бублик обнял его за плечо и потряс, — мы и твой день рождения отмечать будем, зимой. Когда мандарины появятся, тоже купим мандаринов, правда, Моргот?

— Купим, купим, не реви, — Моргот потрепал его по волосам. — И игрушку купим.

— Правда? — лицо Первуну осветилось улыбкой, и слезы высохли. — Скорей бы уж зима...

Моргот ничего не сказал Силе, кинул в рот два куска колбасы, ушел к себе в каморку и вышел оттуда, только когда с добычей вернулся Салех. Впрочем, Салех в компании не нуждался — ему хорошо пилося и в одиночку.

Сия успокоился сам и выбрался за стол, шмыгая носом и улыбаясь.

— Здорово все-таки, — сказал он, — как настоящий день рождения...

— Почему «как»? — возмутился Бублик. — Настоящий день рожденья! Давай, Сия, пить за твое здоровье.

Салех поддержал идею Бублика и плеснул водки Морготу в стакан.

— Давай, — вздохнул Сия, продолжая удерживать на губах улыбку.

— Чтоб ты, Сия, всегда был здоров! — я поднял кружку с колой.

Мы гремели кружками, пили шипучий лимонад и запихивали в рот по целому пирожному сразу. Моргот не любил сладкое, закусил порезанной наскоро колбасой и изучил содержимое сковородки: цыпленок сгорел только с одной стороны, с другой же был почти готов.

Стук в дверь раздался ровно в четверть пятого. Мы вскочили с мест: гости в подвал приходили редко и обычно не стучали. Салех посмотрел на дверь мутными глазами и тоже привстал, шатаясь: готовился отразить нападение. Я помню, как побелел Моргот, как медленно встал из-за стола и пошел к двери. Он всегда ходил быстро, а тут шел медленно! Теперь я понимаю: хоть он и ждал почтальона, все равно в глубине души опасался, что вместо почтальона придет кто-нибудь другой.

Он распахнул дверь, и наше удивление переросло в ошеломление: к нам пришел почтальон! И под мышкой он держал большую коробку! Такого с нами еще ни разу не случалось.

— Привет, ребята, — почтальон подмигнул Морготу. — Где тут мальчик, у которого сегодня день рождения?

Сия опешил и нерешительно вышел вперед.

— Это я... — сказал он, сглотнув.

— Тебе посылка пришла. Только без обратного адреса...

— Мне? — Сия сглотнул снова.

— Тебе. Вот, и адрес написан. Все как надо. Держи. Распишись вот на этом листочке, так положено.

Сия посмотрел на Моргота, а потом снова на почтальона.

— Давай, давай, расписывайся, — Моргот подтолкнул его в спину, — так положено.

Сия не умел расписываться, но вывел печатными буквами свое настоящее имя на каком-то официальном бланке. Мы заглядывали ему через плечо и не дышали.

— На, держи, это от меня, — почтальон сунул Сие в руки шуршащую золотинкой шоколадку, — расти большой и умный!

Стоило почтальону уйти, мы окружили растерянного Сию.

— Ну?

— Ну что там?

— Чего ты встал столбом! Открывай давай!

— Моргот, а может, это бомба? — Салех сделал два неуверенных шага в сторону Сии, но ухватился за стол и едва его не опрокинул.

— Две бомбы, — проворчал Моргот.

Сия поставил коробку на стул и начал осторожно развязывать ленточку, которой был перевязан подарок.

Мы выли от восторга. Мы скакали, как мячики, которыми стучат об пол. Только Сия смотрел на железную дорогу заворуженно, раскрыв рот.

— Моргот, — прошептал он наконец, — это же мои папа с мамой... Больше же мне никто такого прислать не мог, правда?

Моргот неопределенно пожал плечами и незаметно подхватил чек, который продавщица заботливо сунула в коробку, — Сия этого движения не заметил.

От рта, украшенного десятью свечками, мы не оставили ничего. Я думал, Сия зажметя, засунет коробку с железной дорогой под кровать и станет вытаскивать ее по ночам, как драгоценный фетиш, но ошибся: Сия оказался великодушней. И Морготу на вопрос, не жалко ли, ответил просто:

— Ну, им же никто железной дороги не пришлет... Пусть тоже радуются.

Моргот хлопнул его по плечу и улыбнулся. Салех, в одно рыло прикончивший водку, завалился спать, а Моргот часов в семь вышел куда-то, как всегда ничего нам не сказав. Вышел и не вернулся.

Антон сжимает зубы и морщит лицо.

— Кто, кроме вас и Сенко, знал об этой встрече? — повторяю я вопрос.

— Я не знаю! Может, они прослушивали телефон!

— И что бы они услышали? «Встретимся в пивной»? Кто, кроме вас и Сенко, знал, где эта пивная? Их десять тысяч в городе!

— Нетрудно предположить, что это где-то недалеко от университета!

— Возле университета два десятка пивных. Перестаньте! Скажите, зачем вы это сделали? Просто объясните мне, зачем? — я сам не замечаю, как перехожу на крик. И он не уходит. Он считает, что я имею право на него кричать.

— Меня просил Кошев, — неожиданно сдается Антон. — Я не знал, зачем! Я не знал! Я думал, это их прежние разборки! Если бы я знал, я бы не стал звонить!

— Вы нарочно подслушали их разговор?

— Нет. Сенко снял трубку в кухне, и я услышал голос Громина. У Сенко же телефоны были беспроводные, он их сам делал. Так вот, он встал и ушел в комнату вместе с трубкой. И я услышал, как он сказал: «Встретимся в пивной». Сенко после этого разговора тут же собрался и сказал, что скоро вернется. Такое часто бывало, чтобы он уходил, а гости у него оставались. Я позвонил Кошеву и сказал... Ну, я знаю, в какую пивную они обычно ходили...

Он замолкает и зыркает по сторонам, а потом кричит в полный голос:

— Я не знал, зачем это надо Кошеву! Я не знал! Я предположить не мог, что Громин хоть какое-то отношение может иметь к Сопrotивлению! Что им может интересоваться военная полиция! Я не знал! Я его не любил, но сдавать миротворцам я бы его не стал!

Макс пришел к нам на следующий день в обед. Мы, удивились, когда Моргот не вернулся утром, но мы привыкли, что он может уйти на два дня или даже на три. Он никогда нас ни о чем не предупреждал и ни о чем нам не докладывал.

Мы играли в железную дорогу, и на улицу нас не тянуло. Макс прижал палец к губам, когда мы хотели поприветствовать его криком, а потом долго вполголоса говорил с Салехом. Салех стучал в грудь кулаком, сопровождая это криками:

— Да я!.. Да мне!.. Что я, дурак?

После ухода Макса он ушел из подвала и появился только через три дня.

Я лишь теперь понимаю, как Макс рисковал, когда пришел к нам в подвал. Он рассадил нас на кроватях и сказал, что скоро к нам придет военная полиция, расспрашивать о Морготте. Он говорил с нами, как со взрослыми. Он понимал, что мы слышали и знали гораздо больше, чем это было позволительно в такой ситуации. Он сказал, что от нас зависит, вернется Моргот к нам или нет.

Но все получилось совсем не так, как он думал. Впрочем, он, наверное, исходил из самого худшего, когда давал нам четкие инструкции.

Миротворцы явились к нам на следующее утро, часов в шесть, как только стало светло. Они не ожидали увидеть здесь четверых детей, они начали операцию быстро и слаженно, распахивая двери и распределяясь по всему подвалу: в масках, камуфляже и с автоматами.

Я однажды видел такую операцию. Если бы я мог передать словами охвативший меня ужас! Да, наверное, со стороны это было смешно. Я вскочил с кровати с коротким воплем, прикрываясь одеялом, а потом попробовал бежать. Не к двери, конечно, я не очень-то выбирал направление. Я бежал и ничего перед собой не видел, и, наверное, убили бы о бетонную стенку, если бы кто-то из миротворцев не перехватил меня до этого. Я кричал и отбивался, меня держали чьи-то руки, много рук, кутали в одеяло, пытались уложить. Я чувствовал стекло стакана на зубах и воду на подбородке, чью-то твердую ладонь на щеке. Но я ничего не видел и не слышал. Мне казалось, что вокруг стреляют, мне мерещился запах пороха и крови. Я ни о чем не думал в ту минуту и не знаю, сколько прошло времени, прежде чем ко мне вернулось осознание происходящего. И первое, что я услышал, был голос Бублика. Он пробился через ропот множества мужских голосов, смешки, возгласы удивления и горький плач Первунни.

— Два года назад миротворцы у него — на глазах расстреляли родителей.

Бублик сказал это с ненавистью. Я в тот миг не был способен даже на злость и до сих пор благодарен ему за эту ненависть в голосе. И после этого я заплакал.

Я почти не помню того человека в штатском, помню только, что он говорил с акцентом. Они ожидали найти в подвале штаб вооруженного восстания, или воровской притон, или склад наркотиков — я не знаю. Но только не рыдающих детей. Силя не мог связать двух слов — он не испугался, он разволновался и даже начал заикаться, а потом тоже заплакался. Только Бублик был способен отвечать на вопросы, и это, наверное, спасло всех нас и Моргота.

Солдат убрали из подвала наверх, а к нам спустилось человек десять в штатском, которые методично переворачивали подвал вверх дном. Мы втроем сидели на одной кровати, сцепив руки и прижавшись друг к другу, а Бублик за столом разговаривал с миротворцем. Его допрашивали не меньше четырех часов, если не больше. Я в первый раз в жизни видел настоящий допрос и не совсем понимал его смысл: почему Бублика по десять раз спрашивают об одном и том же, почему задают какие-то дурацкие вопросы, которые к Морготу и не относятся вовсе? Это потом я понял, что поймать ребенка на лжи очень легко, да не только ребенка. Вот поэтому Макс накануне и не велел нам врать, лишь скрывать то, что можно скрыть. Бублик был очень серьезен, сосредоточен, отвечал коротко — как учил Макс. Я бы так не смог. И Силя тоже.

— Если тебя начнут спрашивать, — зашептал Силя мне в ухо, — реви громче, понял?

— А то я сам не догадался, — ответил я.

Первуня дрожал, и в том, что он в случае чего разревется, никто не сомневался.

Кто-то из солдат принес нам мороженого. Бублик его съел, а никто из нас троих так и не смог впихнуть в себя ни кусочка. Я почему-то боялся, что оно отравлено, хотя это было глупо: они хотели успокоить нас и расположить к себе.

Только однажды Бублику изменило хладнокровие, когда миротворец спросил его, как часто Моргот вступал с ним в интимную связь. Я не понял этого вопроса — честно, не понял. Я слышал о гомосексуализме и знал в общих чертах, что такое «интимная связь»: в

кино это часто показывали. Но объединить между собой Моргота, интимную связь и гомосексуализм мне в голову не приходило. Бублик же поднялся, у него дрогнул подбородок, и он громко ответил в лицо миротворцу:

— Моргот нам как брат. А ты — козел и извращенец, понял? Знаешь, что за такие слова на зоне бывает?

Миротворец рассмеялся и усадил Бублика на место.

Обыск внизу давно закончили, а Бублика спрашивали и спрашивали. Мне казалось, он спокоен, в то время как меня с каждой минутой все сильнее и сильнее охватывал озноб: я ждал и боялся, что сейчас на вопросы придется отвечать мне. И я не смогу сделать это так, как Бублик. А потом, выговорив ответ на какой-то глупый вопрос, вроде — откуда у нас в подвале телевизор, Бублик вдруг упал со стула. Взял и упал, даже не подставив руки, прямо головой на пол. Мы с Силей вскрикнули хором, а Первуня прижался ко мне и спрятал лицо у меня на груди. Миротворцы засуетились вокруг Бублика, ругались между собой по-своему, брызгали ему в лицо водой, вызвали кого-то сверху, с аптечкой, и уложили Бублика на кровать. Мы с Силей разревелись одновременно, как только на нас посмотрели повнимательней. Не потому, что так было надо, а потому что испугались.

Тогда я не понял, почему Бублик потерял сознание, а сейчас это болью сжимает мне сердце: в каком колоссальном напряжении он пребывал все это время, как мучительно обдумывал каждое слово, как боялся сделать что-то не так! Ему было всего двенадцать лет, и он сумел все сделать правильно.

Они убралась ближе к полудню. Бублик потом сказал нам: они не имели права нас допрашивать, вообще не имели! Только с разрешения опекунов в присутствии адвокатов и каких-то там представителей. Может быть, поэтому миротворцы не стали сообщать о нас в милицию и никто не забрал нас в интернат. Да, они нарушали законы, но делали это осторожно, когда были уверены, что никто их в этом не уличит.

— Я проклинал себя, — Макс закрывает лицо руками, — Я проклинал свою осторожность! Я никогда себе этого не прощу... Лучше бы я приехал за этими чертовыми фотографиями! Но прошло три дня, я не был уверен,

что за подвалом не наблюдают. Сенко отпустили через сутки, он их не интересовал, им и в голову не могло прийти, что он имеет к этому хоть какое-то отношение. По поводу фотографий и документов, которые Сенко якобы делал для Моргота, все сработало идеально — майор из паспортного стола не сразу, но признался в том, что иногда за деньги мог выдать фальшивый паспорт. Они все это делали, никто не удивился. Сенко ничего не знал ни о Стасе, ни о Морготе. У нас было два осведомителя, один — «наш», а второму мы платили. «Наш» сутки через двое дежурил на проходной, а тот, которому мы платили, служил кем-то вроде делопроизводителя. Через него проходили ордера, внешние бумаги, отчеты. Не все, конечно, но нам и это было очень важно. Кроме того, парень был не в меру любопытен, что тоже нам очень помогало. От него я знал, что Стася ничего обо мне не сказала. Ордер на обыск подвала появился через сутки после задержания Моргота. Обычно о месте жительства спрашивают сразу. Или он соврал, или промолчал — не знаю. Я даже не поговорил с ним, даже не рассказал, как надо себя правильно вести! Я не сомневался, что он расскажет им все, рано или поздно. Я увез маму к моим знакомым и не появлялся дома.

— Почему? Почему он должен был все рассказать? Вы так уверенно говорили о Стасе...

— Потому что Стася любила меня, — его лицо искажается, он криво закусывает губу и сжимает кулаки. — Она не могла этого сделать. Я не могу о ней говорить...

— А Моргот?

— А Моргот не выдержал бы и одного удара по почкам... Он... Я не осуждал его, не подумайте. Никто бы из наших его не осудил, а я — тем более. Я всю жизнь смеялся над ним, а он на самом деле чувствовал острее. Не только боль. Для него это было... это было невозможно. Все это, понимаете? Там даже помочиться нельзя без того, чтобы этого никто не увидел. Моргот же каждую секунду думал о том, как он выглядит. Это смешно, конечно, для меня смешно. А для него это было важно, эти его позы, маски... Он мог неделю не выходить из дома, если, получив по носу, запросил пощады. Он переживал такие вещи очень тяжело, он считал себя слабым, и был слабым, но он очень не хотел им быть,

и надеялся всех обмануть, и самого себя — в первую очередь. Мне это трудно объяснить. Это для любого человека было испытанием, и мало кто его выдерживал. Они у каждого находили уязвимые места, а у Моргота их и искать не пришлось. Я боялся, он убьет себя. Я не спал ни одной ночи, я не мог есть. Два самых близких мне человека... Ребята меня поддерживали, конечно, но что они могли? И все это случилось по моей вине!

— Вы ни в чем не виноваты. Не надо так думать.

— Да, мне повторяли это изо дня в день!

Сейчас, когда я знаю больше, чем все участники этой истории по отдельности, я могу представить себе происшедшее в некоторых подробностях и понять, что произошло на самом деле. Моргот наотрез отказался рассказывать о своем пребывании в военной полиции, и я не настаивал. Но я знаю, что он с самого начала выбрал единственно верную линию поведения, просчитал в деталях, что про него может быть известно, а чего о нем никогда не узнают. Это была самая убедительная роль в его жизни — роль незадачливого любовника Стаси Серпенки, того самого много о себе думающего слабака и пижона, в меру хитрого, чтобы обмануть девушку, но так и не сумевшего пробиться к ее шефу. Моргот спасал свою жизнь: если бы стало известно о том, сколько он знает о цехе и о сделке по его продаже, я думаю, он бы не вышел оттуда живым. Инстинкт самосохранения толкает людей и на более невероятные поступки, но меня до сих пор удивляет, почему Моргот не потерял голову, как сохранил рассудочность и хладнокровный расчет, полностью лишившись мужества и самоуважения? Да, он был актером, возможно, актером с выдающимся талантом, потому что жил в своих ролях и верил в них. И выбранная роль вписалась в ситуацию идеально, словно он задумывал ее заранее, с самого начала, когда в первый раз появился в «Оазисе». Но как он удержался в рамках этой роли? Он, как эквилибрист, прошел по тонкой, туго натянутой проволоке и ни разу не оступился.

Лео Кошев был поражен этим не меньше меня.

— Полиция в первый же день засомневалась в причастности Громина к пропаже документов. Во-первых, они не очень-то доверяли моему сыну. Во-вторых,

подпольщик не будет кричать на каждом углу, что он подпольщик. Это смешно. А о причастности Громина к Сопротивлению говорил и мой сын, и некоторые его друзья, и девица, с которой он тоже состоял в связи. Но у полиции не было других версий и подозреваемых, поэтому они проверяли эту версию со всей тщательностью. На вторые сутки после его ареста их сомнения превратились в уверенность. И я бы думал так же, как они, если бы не его появление ночью у моего дома. Это были два разных человека. У меня даже мелькнула мысль о двойнике. Мне говорили, что на допросах Громин расклеился сразу, к тому же оказался истериком, а такому человеку никто бы не доверил серьезной информации. Сначала его показания были сбивчивыми и противоречивыми, как это обычно и бывает с обычным человеком после первого потрясения, но по мере того, как электрошок излечивал его от истерии, полиции становилось ясно, что Громин не лжет: он с радостью рассказывал и о том, о чем его не спрашивали. Я не мог этого понять: то ли передо мной был профессионал высшей квалификации, то ли мне приснилось его появление возле моего дома. Этот человек не мог передавать информацию по заданию: никто бы, повторяю, не доверил ему информации! Но о ночном приходе ко мне и о блокноте он не сказал ничего.

— Они пробовали разговорить его при помощи наркотиков?

— Да, но, во-первых, он оказался слишком чувствительным к интоксикации и едва не отдал концы, а во-вторых, современные исследования опровергают существование «сыворотки правды». Все эти препараты всего лишь развязывают язык, но правду ли человек начинает говорить — неизвестно. Равно как и детекторы лжи хороши только в определенных случаях, их чаще применяют для научных опытов, чем для допросов. Язык же Громину они развязали безо всяких наркотиков.

Когда я был совсем маленьким,
я хотел быть космонавтом,
меня всегда тянуло к звездам.
Чем я должен заплатить
за счастье иметь столь блестящую мечту?

*Из записной книжки Моргота. По всей
видимости, принадлежит самому Морготу*

Моргот вернулся через две недели, утром, мы только-только собирались завтракать. Он зашел неслышно, тенью, и мы заметили его, только когда скрипнула дверь в каморку. Мы даже не успели его толком разглядеть: он проскользнул внутрь не то чтобы поспешно, а именно стараясь остаться незамеченным — ссутулившись, пожалуй даже чуть пригнувшись, быстро оглядываясь по сторонам. В нем не было обычной нарочитости, он словно хотел раствориться в воздухе, исчезнуть, стать невидимкой.

Он был до того не похож на самого себя, что мы не столько обрадовались, сколько испугались, переглянулись и замолчали. Мы так хотели, чтобы он вернулся, мы строили планы его возвращения! Мне казалось, мы повиснем на нем все вместе и расскажем, как его ждали! Но когда я увидел его, я понял, что это невозможно.

В каморке скрипнула его кровать, и тоже не как обычно — медленно, словно нехотя.

Бублик первым подкрался к дверям — посмотреть в щелку. Моргот лежал лицом к стене и не шевелился. Мы боялись войти к нему. Прошло часа полтора, а мы так и не решились переступить порог его каморки. И лишь когда пришел Салех — только что поправивший здоровье, в добром расположении духа, — мы испуганно зашептали ему, что вернулся Моргот. Салех еще не напился настолько, чтобы не соображать, но ему почему-то страшно не стало. Он похлопал нас по плечам и направился в каморку, бесцеремонно распахнул дверь и громко спросил:

— Жив?

Мы толпились за его спиной и выглядывали с обеих сторон.

Моргот ничего не ответил и не шевельнулся.

— Перестань, — Салех скривился. — Вот цаца-то...

Салех обрадовался, обрадовался искренне; я думаю, он вообще не верил, что Моргот вернется. Он даже не предложил выпить по этому поводу.

— Главное — жив. Все остальное — ерунда, слышь, ты, цаца...

Тогда Моргот оглянулся и вдохнул. Лицо его было бледным, опухшие глаза метались из стороны в сторону, как у безумца, воспаленные губы с синюшным оттенком выделялись безобразным размазанным пятном под многодневной щетиной. От него дурно пахло — хуже, чем от Салеха, когда он был в запое. Моргот силился заговорить и не мог. Он был жалок и страшен одновременно. Я никогда не видел его жалким и не хотел таким видеть, мне хотелось отвернуться, убежать, закрыть лицо руками. Я думаю, если бы он мог, то никогда не появился бы перед нами в таком виде: само по себе показаться нам жалким еще две недели назад стало бы для него очень тяжелым испытанием. Но ему больше некуда было пойти: он, как зверь, забился в свою нору — зализывать раны.

Он заговорил наконец, но очень сильно заикался: голос его был хриплым, каркающим, словно пересошим. Он и сказал-то только два слова, послал Салеха подальше, но мы не сразу поняли, что он говорит.

— Давай-ка ванну тебе согреем, — вздохнул Салех, — от тебя же воняет...

Моргот попытался снова послать его к черту, но так и не смог выговорить двух слов. Мне казалось, он сейчас расплечется, и я очень этого боялся — увидеть плачущего Моргота. Но он только зажмурился, сжал губы и снова отвернулся к стене.

Ванна грелась долго, и все это время мы сидели за столом, не смея смотреть друг другу в глаза. Салех даже не прикладывался к бутылке, которую принес с собой.

— Вот так, ребятки, — сказал он почти трезвым голосом. — Вот такое с человеком сделать можно. Да...

Бублик выключил кипятильник, когда над ванной начал подниматься пар, добавил холодной воды из бака и вопросительно посмотрел на Салеха. Тот кивнул и пошел к Морготу в каморку.

— Разденешься сам?

Ни одного звука не раздалось в ответ.

— Давай, давай! Нельзя так! Ты ж не алкаш какой. Щас помоешься, побреешься, и потом лежи себе хоть неделю.

Моргот выдал из себя несколько нечленораздельных звуков и снова замолчал. Салех позвал нас с Бубликом ему помочь: раздеваться сам Моргот не стал, но не сопротивлялся. Я боялся смотреть ему в лицо, на нем была какая-то странная обреченность. Не равнодушие, а именно обреченность. Мне показалось, он боится нас, боится наших прикосновений. Его одежда воняла потом и мочой, чего мы не могли даже представить: Моргот был чистюлей. Салех безо всякой брезгливости бросал ее на пол, а потом велел Силе оттащить ее в корб для грязного белья.

На теле Моргота — под мышками и по внутренней стороне рук и ног — гноилось несколько круглых ожогов; даже я понял, что это от сигарет. А на ребрах и на животе остались черные синяки. Мне было невыносимо представлять, как Моргота бьют дубинкой или жгут его тело сигаретами. Мне не хватило сил даже на жалость, настолько мне это показалось ужасным, невозможным. Я гнал от себя эти воображаемые картинки и не мог прогнать. Я не хотел, чтобы так было! А потом на запястьях Моргота я увидел какие-то странные темные пятна с синевой по краям, я не знал, что это, но когда их увидел, мурашки пробежали у меня по спине — я понял, что это из-за них Моргот не может говорить.

— Ток? — спросил Салех, поднимая руку Моргота и всматриваясь в его запястье.

Моргот ничего не ответил, но тело его содрогнулось вдруг, и лицо исказилось гримасой ужаса. До этого я никогда не видел ужаса на его лице.

— Ничего, ничего... — Салех закинул руку Моргота себе на плечо, — пошли мыться.

Моргот вдруг вырвал руку, легко поднялся с кровати, оттолкнул Салеха и вышел из каморки безо всякой помощи — со спины синяков и ссадин на нем было еще больше. Он шел, странно переваливаясь с боку на бок, и по дороге наткнулся на Первуню.

— Моргот... — Первуня вздохнул и собрался заплакать, — Моргот, миленький... Ты же не умрешь, правда? Ты только не умирай, Моргот...

Тот приостановился, повернулся к Первуне, посмотрел на него удивленно и выговорил:

— Б-б-б... б-б-брысь.

Первуня замер с открытым ртом.

Моргот потрогал воду локтем, подумал о чем-то и попытался шагнуть в ванну. Оказывается, Салех умел быстро преодолевать пространство не только когда видел деньги — он подхватил Морготта за локоть, когда тот едва не упал, запнувшись о ее край.

— Ничего, ничего... — повторил Салех, помогая ему залезть в воду. Моргот застонал жалобно и сморщил лицо, когда вода коснулась ожогов.

Я включил рефлекторы и направил их на ванну, чтобы Моргот не мерз.

— Хочешь, помогу тебе помыться? — спросил Салех.

Моргот покачал головой. Он лежал в ванне долго — пока она совсем не остыла. А потом терся мочалкой, закусив губы, — с остервенением, как будто хотел смыть с себя следы побоев. В некоторых местах пошла кровь.

— Я ничего не буду об этом рассказывать, — Моргот качает головой, и лицо его искажается, а взгляд уходит в пол.

— Я только хотел узнать, как тебе это удалось.

Он качает головой, не поднимая глаз.

— Послушай, неужели тебе до сих пор так тяжело это вспоминать? — спрашиваю я, стараясь совместить в голосе мягкость и непринужденность. — Ведь столько лет прошло.

Он поднимает на меня удивленные глаза.

— Лет? — переспрашивает он растерянно, на лице его — непонимание и напряженная задумчивость, как будто я сказал что-то, требующее немедленного осмысления. А потом во взгляде вспышкой мелькает боль, как будто до этого ему не приходило в голову, что прошли годы. И я вижу перед собой Морготта без маски и понимаю, что невольно тронул то, что трогать нельзя. Я не знаю, что за сущность сидит сейчас передо мной, я не сомневаюсь в том, что это Моргот, но что есть этот Моргот? Откуда и почему он пришел ко мне? Что он знает о себе?

— Да, конечно, лет... — медленно произносит он, и глаза его мечутся по сторонам, словно он хочет убежать.

— Моргот, — говорю я с отчаяньем, — я не хотел!

— Не, Килька, все нормально, — он сбрасывает с себя замешательство, словно паутину, прилипшую к

лицу. — Но если ты действительно хочешь знать, как мне это удалось... Ты мне не поверишь. Никто не поверит.

Я киваю, давая понять, что моя вера ничего не меняет.

— Я представил себе, что ничего не знаю, и поверил в это. Я представил себя бывшим любовником Стаси Серпенки, который пудрил ей мозги с целью сойтись поближе с Лео Кошевым. И я поверил, понимаешь? Я думал, я сумасшедший. Для меня это был единственный способ спасти жизнь; может быть, поэтому подсознание сыграло со мной эту шутку. Ты не представляешь, как я жалел, что знаю так мало! Я жалел, что не выследил ее нового любовника! Я... — он замолкает ненадолго, чтобы справиться с лицом, — я действительно словно сошел с ума. И, Килька, не надо, не заставляй меня это вспоминать!

Мне хочется сказать ему что-нибудь теплое, что-нибудь, что поможет ему не судить себя столь безжалостно. И понимаю, что никакие слова не помогут, и чем искренней я буду, тем скорей он примет их за желание его утешить. Но все же говорю:

— Ты — удивительный человек.

— Я знаю, что я удивительный человек! — отвечает он раздраженно. — Но дело, к сожалению, не только в результате. Все, проехали!

Он молчит несколько секунд, а потом все же добавляет — хрипло, с болью в голосе:

— Мне казалось, я играю самого себя...

Ночью неподвижность Моргота стала особенно заметна: в полной тишине не скрипела его кровать. Я не спал — прислушивался к каждому шороху. Я очень боялся, как маленький Первуня, что Моргот умрет, что он уже умер, поэтому из каморки и не слышно ни одного звука. Эта мысль заставляла меня вздрагивать — по телу прокатывалась волна, от кончиков пальцев ног до подбородка, я зажимал эту волну зубами и чувствовал, как вместе с моим телом дрожит кровать. А потом я услышал, как скрипит зубами Бублик, и понял, что он тоже не спит, и тоже прислушивается, и переживает. Я почему-то побоялся его окликнуть, мы так и лежали молча друг напротив друга, понимая, что не спим оба.

А потом Моргот уснул — сначала его дыхание стало громче, а потом он заметался во сне и начал стонать, сперва тихо, но все отчетливей и отчетливей.

— У него, наверное, что-то болит... — сказал мне Бублик шепотом.

Я ничего не ответил: мне было страшно.

Сначала слова Моргота были неразборчивы, как и бывает с человеком во сне, и мы с Бубликом замерли, непроизвольно прислушиваясь. Голос Моргота был охрипшим, неестественным, я бы не узнал его. Он просил. И это тоже было на него не похоже, и это пугало. Моргот, насмешливый, гордый, бесстрашный — с точки зрения маленького Кильки — просил, просил жалобно и отчаянно. Голос его становился все громче, мы с Бубликом начали разбирать слова, и лучше бы я тогда не прислушивался.

— Не надо, ну не надо, ну зачем? Ну зачем? Я же все рассказал... Не надо, я умоляю, не надо больше...

Это «я же все рассказал» прозвучало для меня подобно грохоту, с которым небо могло бы упасть на землю. Я лежал и боялся вздохнуть. Что значит «все рассказал»? Про Макса, про Соппротивление? Я ничего не знал об украденных документах и представлял себе дело по-книжному. Значит, Моргота отпустили потому, что он все рассказал? Стал предателем? Я не хотел верить в то, что Моргот предатель и поэтому его отпустили. Он же сам дал нам те книжки про войну, про героев, которые умирали, но не выдавали товарищей! Он же сам! Неужели он мог? Неужели он оказался слабаком и трусом? Иллюзия рушилась, оползала, как замок из песка. Я метался между желанием оправдать Моргота и теми идеалами, которые сидят в голове почти каждого мальчишки: идеалы силы, мужества, дружбы. Неужели он выдал Макса? Своего лучшего друга? А иначе почему его отпустили, а не убили? И вместе с тем я был счастлив, что его не убили, я не хотел его смерти. Я в ту минуту совсем не любил Макса и думал, что смерть Макса — это гораздо лучше смерти Моргота, хотя, конечно, и Макса мне было жалко тоже. Но не так, не так! Эти мечущиеся мысли разрывали меня на куски, я не знал, как надо думать правильно. Я все равно любил Моргота, и мысль, что я люблю предателя, убивала меня. Я думал о том,

что он спас Первуне жизнь, о том, как мы с ним сожгли машину миротворца, о том, как он водил нас в ресторан «У Дональда» и как мы были счастливы: все это не вязалось с образом предателя.

— Надо его разбудить, — Бублик поднялся и поставил босые ноги на пол, — ему плохой сон снится, ему плохо. Надо его разбудить.

Меня в ту минуту волновало не это: я даже не подумал о том, что снится Морготу, хорошо ему или плохо в этом сне. Но я вдруг представил, как мы с Бубликом будим его, и Моргот все понимает: он понимает, что мы слышали эти его слова.

— Нет, Бублик, погоди! — я сел на постели. — Не надо. Он не хочет, чтоб мы знали. Не надо его будить, он еще сильней будет переживать. Не надо!

— Килька, ты чего? Не понимаешь? Его надо разбудить! Тебе кошмары снились когда-нибудь?

— Нет, это ты не понимаешь! Он же переживает! Он не хочет, чтобы мы знали, что он... что он... — я так и не смог выговорить этих слов — «что он предатель».

Бублик посмотрел на меня как на дурачка: он был очень взрослым тогда, он понимал все это гораздо лучше меня, он уже делил мир не на черное и белое, а на своих и чужих. Бублику не было дела до чужих, до мужества и предательства, до жизни Макса. Он не думал, какой ценой Моргот остался в живых, он считал это нормальным. Он только жалел Моргота, и больше ничего!

Но он послушал меня, усмехнулся — по-взрослому, снисходительно, — приподнял стул, а потом с грохотом обрушил его на пол. Гулкие стены усилили звук в несколько раз, Силя и Первуня подскочили на кроватях, а в камерке Моргота стало тихо. В другой ситуации он бы спросил, какого черта мы тут грохочем среди ночи, а тут не спросил ничего. И это еще сильней убедило меня в том, что я прав. Он боится, что мы узнаем о его предательстве, он стыдится самого себя. Через минуту в камерке несколько раз щелкнула зажигалка...

Салех, убедившись, что с Морготом все в порядке, снова запил и исчез. Моргот говорил во сне каждую ночь, а я зажимал уши и забивался под одеяло, чтобы не слышать этого. Смесь жалости и неловкости измотали

меня. Я не испытывал презрения к Морготу, нет. Это была скорее неловкость, стыд, как будто не он, а я оказался предателем. Как будто это была моя слабость. Человек, которого я любил, которому я поклонялся, оказался вдруг не заслуживающим моего поклонения. Но при этом я не мог перечеркнуть того, чем Моргот был для меня, — я продолжал его любить, я целыми днями искал ему оправданий. Будь мне лет четырнадцать или пятнадцать, и я бы осудил его со всей серьезностью, а лет в двадцать даже не стал бы мучиться над этим, однозначно сделав вывод в пользу Моргота. Но мне было почти одиннадцать, я еще слишком зависел от взрослых, их мнений и представлений о жизни и не имел своих. Моргот спас Первуне жизнь. Я вспоминал, как он бежал к воде с перекошенным лицом, и не мог поверить, что такой человек может быть плохим, что его надо презирать или даже ненавидеть. Я боялся говорить об этом с Бубликом: он бы меня не понял.

Днем Моргот неподвижно лежал на кровати, глядя в потолок. Мы звали его хотя бы поесть, но когда кто-то из нас заходил к нему, он не только не поворачивал головы — даже не двигал глазами. И был похож на покойника. Мы приносили ему чай — Бублик нарочно делал его послаще и говорил, что так Моргот точно не умрет от голода. Чай Моргот выпивал, но не ел ничего, что мы ему приносили. Поскольку денег у нас почти не было, мы довольно много времени проводили на улице, выклянчивая их у прохожих. Наверное, тогда Моргот все же вставал — ему же надо было хоть иногда выходить по нужде. Но мы ни разу этого не видели, только ночью. Он выходил очень тихо, на цыпочках, и даже не скрипел дверью.

На четвертый день мы всерьез стали бояться, что он умрет. У него снова отросла щетина, еще сильнее ввалились щеки, а он все лежал, глядя в потолок... И каждый раз, заглядывая к нему, я боялся, что он уже умер. Я знал, что покойники не всегда закрывают глаза. Почему-то мысль о смерти Моргота разрешила мои противоречия, я перестал думать о слабости и предательстве, я не хотел, чтобы он умирал, я боялся за него до дрожи в коленках.

И мы отправились искать Салеха: нам казалось, он один может помочь. И мы его нашли — не так много

мест он избирал для того, чтобы выпить в компании. На этот раз он пил во дворе, куда выходила служебная дверь мясного магазина: двое грузчиков и Салех расположились на перевернутых ящиках, четвертый ящик был накрыт клеенкой, а на нем расставлены бумажные стаканчики, бутылка водки, лежали хлеб и сухая рыбешка на закуску.

Мы говорили наперебой, мы кричали ему, что Моргот умрет от голода, что он уже четыре дня ничего не ест и что у нас нет денег. Не знаю, что понял Салех из наших объяснений, но он встал, пошатываясь, пробормотал что-то своим собутыльникам и зашел в открытую дверь магазина. Через минуту оттуда донеслась женская ругань и возмущенные возгласы Салеха: о голодных детях и бесчувствии некоторых особ. Похоже, за него вступился мясник: его бас оборвал женские вопли, и вскоре Салех появился на пороге, держа за шею тощего куренка.

— Во, бульона ему сварите, — Салех победно передал цыпленка Бублику, — бульон полезно.

Мы постарались сбежать побыстрее, пока цыпленка у нас никто не отобрал, но по дороге Бублику пришло в голову, что бульон, конечно, полезно, но щи — еще полезней. И Моргот щи любит больше бульона. Мы пересчитали мелочь в карманах и зашли в овощной магазин. Продавщица выбрала нам самый маленький кочан, мы попросили взвесить нам три картофелины, одну морковку и одну луковицу. На луковицу денег не хватило, мы попросили выбрать морковку поменьше, но продавщица сжалась над нами и отдала луковицу просто так.

После четырех дней переживаний и бездействия разработанный план казался нам выходом из положения — мы испытывали волнение и подъем. Щи варили все вместе, поминутно заглядывая в кастрюлю, и кромсали капусту до изнеможения. Первуня поминутно спрашивал Бублика:

— Как ты думаешь, это уже порядок или еще нет?

— Нет, наверное, еще не порядок, — Силя впибался ножом в гору капусты снова и снова.

— Да не «порядок» должен быть, а «на порядок меньше!» — фыркал я. Я хорошо запомнил, что «на порядок» — это в десять раз.

Мы по очереди заглядывали в кастрюлю, надеясь определить готовность куренка, потом снимали пробы, отталкивая друг друга, советовали Бублику посолить еще или добавить воды до края. Мы не так уж плохо умели готовить, но супы варили редко, чаще разводили концентраты.

А когда щи наконец сварились, мы растерялись вдруг: а что если Моргот не выйдет? Нам не пришло в голову, что щи можно есть в постели.

Мы с Бубликом вошли к нему смело, собрав все свое мужество.

— Моргот, пожалуйста. Мы щи сварили. Ты иди, поешь, пожалуйста, — вздохнул Бублик.

Моргот не шевельнулся.

— Моргот, ты же от голода умрешь, — продолжил Бублик.

Тот покачал головой.

— Пожалуйста. Ну выйди на десять минут.

— Мы мелко капусту порезали, честное слово, — сказал я зачем-то.

— На порядок мельче, — вставил Первуня, и в его голосе зазвенели слезы. Я и сам готов был расплакаться: план, казавшийся таким удачным и так благополучно претворенный в жизнь, на деле оказался полной ерундой.

— Моргот, ну не умирай! Ну пожалуйста! — выкрикнул Первуня и разревелся.

Тут и я почувствовал, как щиплет в носу, и Бублик — спокойный и взрослый Бублик! — стоял рядом, хлюпал носом и жмурился. Силя не выдержал первым — слезы побежали у него по щекам, он начал тереть глаза, делая вид, что в них что-то попало, Бублик к нему присоединился, и мне показалось, что плакать всем вместе не так позорно, как в одиночестве или на пару с Первуней. Мы стояли перед открытой дверью и ревели вчетвером.

И тогда Моргот неожиданно начал подниматься. То ли он пожалел нас, тронутый нашим вниманием, то ли попросту хотел есть, то ли решил потихоньку начинать жить дальше.

Бублик выскочил из каморки, на бегу вытирая слезы, и кинулся к кастрюле — наливать щи. К тому моменту, как Моргот подошел к столу, мы все вчетвером забились

в свой угол и раскрыв рты смотрели — будет он есть или нет? Моргот сел за стол, подвинул к себе тарелку и взял в левую руку кусок хлеба. А потом рванул его зубами — как-то злобно, отчаянно. Ложка в его руке дрожала, и щи проливались обратно в тарелку. По-хорошему, нам стоило оставить его одного, но мы не догадались.

Он выхлебал половину щей, покашливая и замирая время от времени, а потом встал и, ни слова не говоря, ушел обратно в каморку, тщательно прикрыв за собой дверь.

На шестой день после возвращения Моргота к нам пришел Макс. Он осунулся и словно стал ниже ростом за это время. Мы не видели его с тех пор, как он инструктировал нас перед обыском, и, по нашим расчетам, он не должен был приходиться. Я не знаю, обрадовался я или нет, но подумал, что если Макс жив, значит, он успел сбегать и его не убили! Это меня немного успокоило. Он не поднимал кулака в приветствии, и нам не пришлось в голову кричать «Непобедимы».

Моргот к тому времени выходил из каморки поесть без наших слез и уговоров, брился и умывался каждое утро, иногда даже что-то говорил, а однажды выложил на стол полторы тысячи и подвинул в сторону Бублика.

— К-купи п-пожрать... — он заикался гораздо меньше, чем с самого начала, и глаза его уже не были такими безумными. Я считаю, он не думал о деньгах до этого, иначе бы давно дал их Бублику.

Макс пришел вечером, когда стемнело, и именно в это время Моргот сидел за столом и медленно хлебал щи. При виде Макса лицо его побелело, он открыл рот, но, пока он силился начать, Макс успел пройти полдороги до стола.

— У-уб-уббирайся! — выговорил наконец Моргот и вытянул вперед трясущийся указательный палец. От волнения он снова начал сильно заикаться.

— Морготище, — Макс пожал плечами, присаживаясь на край стула напротив него, — Морготище, наблюдение сняли три дня назад. Я только что узнал... Я бы сразу пришел, но я не знал...

— В-в-вон! У-у-убирайся! — Моргот оттолкнул тарелку со щами, и они расплескались по столу. — С-с... с-с ума сошел. В-вон от-от-от... в-вон от-отсюда!

— Морготище... Ну перестань. Мама тебе пирожков прислала. С печенкой. Ты же любишь с печенкой... Я выпить тебе принес. Вот.

Макс выставил на стол литр водки и сделал нам знак достать стопки.

Бублик сообразил мгновенно, и через секунду они стояли на столе. Макс вытер стол и убрал тарелку на плитку.

— Выпей, Морготище, тебе надо. Ну?

Моргот попытался сопротивляться, нелепо и неловко взмахивая руками, но Макс влил в него полную стопку водки почти насильно.

— Что с тобой сделали, Морготище... — Макс скрипнул зубами. — Ты... Ты как? Сейчас как? Тебе врач нужен, наверное?

— Д-думаешь, я не знаю, з-зачем т-ты п-пришел? — злобно выдавил Моргот. — О-очень т-тебя ин-инте... интерес-сует, что с-со мной? Н-наплевать т-тебе, ш-што с-с-со мной. Т-ты п-про н-нее п-пришел с-спросить...

— Морготище, это неправда. Ты — мой друг. Ты преданный друг, мой самый верный друг, понимаешь? — на глазах Макса выступили слезы. — Я всю жизнь буду тебе благодарен.

На секунду во мне шевельнулась надежда: раз Макс так говорит, значит, Моргот его не выдал, значит, я ошибся! Но реплика Моргота снова повергла меня в уныние:

— Ч-чушь...

Я подумал, что Макс не знает о предательстве Моргота, не верит, как не хотел верить я.

— Это не чушь. Прости меня. Я не верил в тебя. Я сомневался в тебе. А ты... ты не сломался.

Макс налил водки себе и быстро выпил, а потом снова наполнил стопку Моргота и сунул ему в руки.

— Выпей. Не говори ничего.

Моргот долго рассматривал стопку, потом выпил — маленькими неудобными глотками, — поперхнулся и снова уставился в пустую стопку.

— Я с-сломался... — наконец сказал он: с вызовом, безо всякого чувства вины.

Сердце мое оборвалось: значит, я был прав?

Макс поднялся и подвинул табуретку так, чтобы сидеть рядом с ним.

— Это все ерунда, Моргот. Ты же ничего не рассказал, правда? Значит, не сломался. Остальное — неважно.

Моргот закрыл лицо руками и хотел встать, рванулся в сторону каморки, как будто собирался спрятаться, но Макс обхватил его за плечи, усадил и прижал к своему плечу.

— Перестань. Все кончилось, Морготище. Все прошло. Не надо так. Выпей еще. Я перестреляю их всех, слышишь? Я убью их всех! У меня есть снайперская винтовка. Я их перебью по одиночке.

Я не знал, что мне думать. Я хотел верить Максу, но Моргот каждым своим словом рушил эту веру. Может быть, Макс все же ошибается и ничего не хочет слушать? Не хочет верить?

— Т-ты г-городишь ер... ер...

— Нет, это не ерунда. Выпей. Ну что ты трясешься? Выпей.

Макс налил Морготу водки, тот взял стопку обеими руками — они дрожали так, что водка проливалась на стол. Как у Салеха, когда он выпивал утром свой первый стакан.

— Давай, давай, не смотри, — подбодрил его Макс. — Самое лучшее для тебя сейчас — как следует напиться.

Моргот поднес стопку к губам, хлебнул, кашлянул и глотнул еще.

— Вот, — протянул Макс, — закуси пирожком. С печенкой.

Моргот кивнул, откусил кусок, но поперхнулся и долго кашлял. Макс замахнулся, чтобы ударить его по спине, но вдруг осекся и не стал этого делать.

Мы сидели так тихо, как будто нас в подвале и не было.

— Не надо, не переживай так. У тебя болит что-нибудь?

Моргот покачал головой.

— Я врача приведу, к вечеру. Пусть посмотрит на всякий случай.

Моргот замотал головой, пытаюсь что-то сказать, но так и не смог ничего выговорить.

— Да что ты, Морготище, — Макс шумно сглотнул и налил водки себе, — что же... что же сделали-то с тобой...

Он взял руку Моргота и провел пальцами по запястью, с которого еще не сошли темные пятна. Моргот вырвал руку и сунул ее под стол.

— Ос-с-тавь м-меня в... в... в покое! С-самое г-гнутое т-там — не на ч-чем п-повеситься! И нечем п-перерезать себе г-г-глотку!

— Не надо так. Ты же все выдержал, ты молчал.

— Я н-не молчал! Я г-говорил н-не останав.. налива... ваясь.

Я слушал их и не понимал: что же все-таки произошло? Рассказал Моргот про Макса или нет?

Когда от литра водки осталась треть, Моргот перестал заикаться и размяк, а Макс, совсем пьяный, все пытался его успокоить.

— Макс, я н-ничтожество. Я п-полное ничтожество! — язык у Моргота заплетался не столько от заикания, сколько от водки. — Ты... ты п-представить с-себе не можешь...

— Да ты герой, Моргодище, пойми ты!

— Я с-сломался сразу, Макс. Меня еще б-бить т-толком не н-начали, а я уже с-сломался. Макс, они с-смеялись н-н-на-надо мной...

— Перестань. У тебя низкий болевой порог, ты же сам говорил.

— К-кого это интересует?

— Это меня интересует. Я... я думал, ты не выдержишь, — Макс всхлипнул, и голос его задрожал. — Моргодище, я по ночам все булочки вспоминал, которые у тебя отбирал на переменах. Я спать не мог. Если бы можно было все вернуть, я бы... я бы никогда... я бы никогда тебя не обидел. Даже если бы ты не выдержал, я бы тебя не осуждал, понимаешь? Я ночами все представлял, как эти булочки тебе отдаю. Я тогда еще не знал, что ты ничего не сказал. И все равно... Ты самый верный друг, Моргодище...

— П-перестань. Я с-себя с-спасал, не т-тебя... Если бы я х-хоть п-полс-слова... М-меня б-бы не выпустили...

И эти слова Моргота я тоже не знал как истолковать. Если он спасал себя, а не Макса, значит, он Макса выдал? И за это его выпустили? Я не понимал Макса, его уверенность в Морготе.

Макс взял его за запястье, пристально посмотрел и осторожно опустил руку Моргота ему на колени. Потом взял бутылку и отхлебнул прямо из горлышка.

— Надо врача, обязательно, — сказал он, выдыхая.

— Н-не надо. Я н-не хочу. Я не хочу, чтобы кто-нибудь видел... с-следы еще остались... Я их мочалкой тру, а они не с-смываются...

— Зачем?

— Я не хочу... чтобы кто-нибудь в-видел.

— Я убью их всех, ты понял? Я их всех убью! Они больше никогда не будут смеяться! Никогда! — Макс лил пьяные слезы и стучал кулаком по столу.

Только когда от литра осталось всего ничего, Макс наконец решился спросить Моргота:

— Послушай, не сердись на меня... Скажи, ты видел Стасю?

— Д-да, — нехотя ответил Моргот и опустил глаза.

— Как она? — Макс спросил это шепотом и замер с открытым ртом.

— Я... Я не знаю... Я не помню... Я п-почти ничего н-не помню...

Моргот вдруг снова закрыл лицо руками. Я думал, он плачет, но я ошибся. Когда он, примерно через минуту, опустил руки на колени, лицо его было покрыто красными пятнами, нездоровыми, неестественными.

Стася вздыхает в ответ на мой вопрос.

— Да, я видела его там. Я не знаю, зачем они это устроили. Это не выглядело, как очная ставка. Мне кажется, они хотели мне этим что-то сказать, как-то задеть меня, что-то шевельнуть во мне. Они не знали, кому я передала документы, и, наверное, подозревали и Моргота тоже. Может быть, они думали, будто он что-то значит для меня. Я не знаю.

Она отводит глаза, и по ее плечам пробегает дрожь. Они проверяли, не его ли она покрывает, — по ее лицу они, я думаю, определили это очень быстро.

— Мне неприятно об этом говорить. Они превратили его в ничтожество. Он плакал и умолял, плакал и умолял... Он ползал на коленях. Он упал в обморок на пороге камеры для допросов, я даже не сразу поняла, что это он. Да, конечно, то, что с ним делали, было очень жестоко, меня они так не мучили: боялись, что у меня не выдержит сердце. Но... Он совсем потерял человеческий облик. И он непрерывно говорил. Он надеялся, что этим может вымолить у них снисхождение. Они

заставляли его вспоминать наши встречи по минутам, и он вспоминал их по минутам. Они проверяли его показания по нескольку раз — не собьется ли он. И он не сбивался, я даже не думала, что человек может запоминать такие подробности. Он выложил им про меня все: и что знал, и о чем догадывался. Он дословно повторял наш разговор о документах, о том, что я хочу передать их Сопротивлению. И разговор о секретном цехе, самый первый разговор, после ссоры Виталиса с дядей Лео...

Я молчу, и она смотрит на меня так, словно я ее осуждаю. И хочет как-то оправдаться.

— Он предал меня, понимаете? Он предал меня, он снова думал только о себе! Я понимаю, я не имею права его осуждать. Кто я для него? Почему он должен был молчать ради меня? Но я не могу ему этого простить. У меня не хватило сил его жалеть, он был отвратителен, мерзок, он оказался настолько слабым, настолько бесхребетным существом, что не заслуживал даже жалости! Если бы он знал хоть что-нибудь о Максе, если бы он хоть раз встретил меня с ним, или услышал телефонный разговор, или... Я приходила в ужас от этой мысли: а вдруг Моргот подглядывал за мной? Вдруг он видел Макса? На мое счастье, он никогда его не видел... Он догадывался, что у меня кто-то появился, и об этом говорил тоже. Но он не знал, кто это. И, наверное, сожалел, что не знает.

— Моргот учился с Максом в одном классе, — помолчав, тихо говорю я. — Он был его лучшим другом...

Стася смотрит на меня и не понимает, о чем я только что сказал. Она моргает глазами и вглядывается в мое лицо. А потом рот ее открывается, и на губах замирает короткое «как?», больше похожее на вздох.

— Он первым узнал о том, что Виталис хочет продать цех, — продолжаю я, испытывая некоторое злорадство, — он знал о цехе больше Макса, потому что сам раскапывал подробности.

— Этого не может быть, — уверенно отвечает она и улыбается столь простому разрешению противоречия. — Это неправда.

— Вы полагаете, я лгу? — я тоже улыбаюсь в ответ. — Мои слова легко проверить.

Мне становится слегка не по себе, когда я пытаюсь представить, как она может проверить мои слова. Я

ничего не хочу знать о том, откуда она пришла... Верней, не так: я очень хочу знать, откуда она пришла, но стоит мне только выдать свое желание неосторожной мыслью, и она это сразу поймет. И уйдет, чтобы никогда больше здесь не появиться.

— Но как же тогда... Почему же он тогда говорил про меня?

Она еще не успела осознать до конца, что я ей сообщил. Она еще не связала воедино Моргота и свое знакомство с Максом. Она не поняла, что Макс использовал ее точно так же, как Моргот. И, может быть, ей не стоило это понимать.

— Потому что доказательство вашей вины не требовало его показаний. Потому что они и без него знали, кто взял документы и в чьи руки они, в конечном итоге, попали. Он никого не предавал... — я говорю это с облегчением и, в некоторой степени, с гордостью. Я столько лет сомневался в нем, я столько лет боялся думать о том, что Моргот стал предателем, и столько лет верил, что это не так! Да, с годами я понял: никто не смел бы осудить его за это, и я бы не стал его осуждать или думать о нем хуже. Но маленький мальчик Килька этого еще не понимал, разделяя мир на черное и белое, правильное и неправильное. Маленький мальчик Килька хотел гордиться Морготом, а гордиться предателем, пусть и прощенным в глубине души, — не очень удобно.

И теперь я понимаю Моргота, всю тяжесть его переживаний, его страх, его невозможность оправдаться даже перед самим собой. Он не смог сохранить чувства собственного достоинства, не сумел устоять «в позе», его гордость была растоптана на глазах множества людей, на глазах девушки, которую он ни во что не ставил, но мнение которой почему-то считал важным для себя. Над ним смеялись, его презирали, а этого он боялся больше всего.

Но это спасло ему жизнь. Ему не смогли не поверить.

После появления Макса Моргот стал приходить в себя быстрее, но прежним так и не становился, из подвала никуда не выходил, да и из каморки выбирался нечасто. Он снова начал читать и за два дня прочел все детские книги, которые принес на день рождения Сили. Мы подумали, что читать детские книги ему неинтересно,

и решили — раз уж он сам не ходит в магазины — купить ему нормальную взрослую книгу. В книжном магазине книги стоили гораздо дороже, поэтому мы выбирали ее на лотке у вокзала. Народу вокруг лотка толпилось много, и нам никак не удавалось посоветоваться с продавцом. Мы и в детских книгах разбирались не очень хорошо, а о взрослых и вовсе не имели понятия, поэтому выбирали по картинкам на обложке, заранее отказавшись от тех книг, на обложках которых картинок не было.

— Вот, смотри! — Сияя ткнул пальцем в черный силуэт с пистолетом. — Здорово! «Убей его первым»!

— Дурак ты, Сияя, — проворчал Бублик. — Только Морготу сейчас не хватает про пистолеты.

— А вот это? — на обложке была нарисована аккуратная английская деревенька. — Вполне так ничего, а?

— Ага, — я презрительно сморщился, — «Смерть в зеленой лошине»!

— Не, не надо про смерть, — покачал головой Бублик, — и про убийства не надо. Надо с другой стороны посмотреть.

Мы оставили в покое боевики и детективы и подобрались к книгам более мирным.

— Во! С драконом! Давайте с драконом возьмем! — обрадовался Сияя.

— С драконом — это для детей, а мы хотим взрослую книгу, — назидательно сказал я.

— А взрослые книги про что? Если не про убийства?

— Ну, про любовь, наверное. Фильмы же взрослые всегда про любовь, — я пожал плечами.

Бублик со мной согласился, Сияя же поскуучнел. Посоветовавшись, начали искать книгу с самой красивой девушкой на обложке — если уж покупать книгу про любовь, то не к уродине же какой-нибудь? Самая красивая девушка нашлась на книге в мягком переплете, которая называлась «Сладкие объятия любимой». Никакой смерти, никаких пистолетов, девушка, похожая на принцессу, — в роскошном платье с широким вырезом. Да и цена нас сильно порадовала: раза в три меньше, чем на книги в блестящих твердых обложках. Мы были довольны выбором. А на сэкономленные деньги взяли Морготу две бутылки пива.

Он, как всегда, валялся на кровати в своей каморке и курил, но на этот раз мы несколько не боялись к нему заходить.

— Моргот, Моргот, — начал Первуня с порога, — мы тебе книжку купили!

— Какую еще книжку? — мрачно спросил он и посмотрел на нас с недоверием.

— Ну, книжку, чтоб читать! — пояснил Первуня.

— Нормальную, взрослую! — поддакнул я.

— Да ну? — презрительно выговорил Моргот.

— Вот, смотри, — Бублик протянул книгу Морготу, — настоящая взрослая книжка.

Моргот взял ее в руки, повертел, разглядывая со всех сторон, а потом расхохотался. Он даже не улыбался ни разу с тех пор, как вернулся, а тут хохотал — и утирал слезы, от смеха выступившие на глазах. Я не понял, что его так рассмешило, но все равно обрадовался. Потом смех его резко оборвался, и он сказал без улыбки, совершенно серьезно:

— Я тронут. Но в следующий раз, когда захотите купить мне книжку, спросите у меня. Я вам скажу название, автора и дам денег.

Сила подтолкнул Бублика в бок и прошептал:

— А я говорил, что про любовь не надо! Надо было с пистолетом!

— А мы еще пива тебе купили, — добавил Первуня, и я поспешил выставить бутылки на письменный стол.

— Пиво — это здорово, — равнодушно ответил Моргот.

— А чего тебе еще купить? — спросил Первуня.

— В смысле?

— Ну, чтоб ты обрадовался?

— Спасибо, я уже обрадовался, — холодно сказал Моргот и повернул голову лицом к стене.

— А чего ты тогда такой грустный, если ты обрадовался? — продолжил Первуня. Похоже, он решил добить Моргота окончательно. Я думал, он сейчас заорет, чтобы мы убирались отсюда, но Моргот неожиданно потрепал Первуню по волосам.

— Я не грустный. У меня плохое настроение. И это... оставьте меня в покое, а? Я регулярно ем и каждый день бреюсь, что еще вам от меня надо?

— Это потому что мы тебя любим, — сказал Первуня. — Мы тебя очень любим.

— Толку-то от вашей любви, — проворчал Моргот.

— Толку от нашей любви есть, — Первуня не намерен был так просто отстать, — вот когда к нам сюда солдаты пришли, Бублик тебя не выдал. Он со стула упал, а тебя не выдал.

— Чего? — Моргот вдруг сел на кровати. — Что ты сказал?

Первуня испугался, что выболтал что-то не то, и отшатнулся.

— Бублик, что он несет, а? Они что, вас допрашивали? — я первый раз в жизни видел на лице Моргота такое непритворное, ничем не прикрытое участие. — Они не трогали тебя?

— Нет, Моргот, все нормально. Они нас не трогали. Они даже мороженого нам купили, — нехотя ответил Бублик.

— А почему ты со стула упал?

— Я устал просто.

— Здрасьте, приехали! — Моргот посмотрел на Бублика недоверчиво. — Что-то я никогда от усталости со стульев не падал! Тебя кто-то ударил?

— Он в обморок упал, — пояснил я, гордый своим другом. — Он четыре часа продержался, а потом упал.

— Сколько? — еле слышно спросил Моргот.

— Четыре, — я пожал плечами.

— Уйдите, — вдруг сказал он резким, надтреснутым голосом и отвернулся от нас. Я не понял, что мы сделали плохого и почему он вдруг решил нас прогнать, но он повалился на кровать лицом к стене и добавил: — Ну пожалуйста, ну уйдите! Я сейчас к вам сам выйду, только уйдите!

Я думал, он плачет. Я не очень-то в это верил, но по-другому не мог объяснить, зачем он выгнал нас. Но Моргот действительно вышел из каморки минут через десять и растерянно посмотрел на нас — мы сидели за столом и пытались играть в карты. Он не умел быть благодарным, он боялся чувства благодарности так же, как любого другого, поэтому надеялся поскорей от этого чувства избавиться.

— Рассказывайте. Что тут было без меня? — он подсел к нам за стол и достал сигарету.

И мы рассказали. И о приходе Макса, и о том, как на следующее утро к нам пришли миротворцы, как мы ревели, а Бублик за нас отдувался. Моргот слушал опустив голову.

— Я не мог не сказать, где я живу, — пробормотал он, когда мы закончили.

До этого он никогда не говорил с нами всерьез, как со взрослыми.

— Да это же понятно, Моргот, — пожал плечами Бублик.

— Бублик, ты спас мне жизнь, — Моргот сказал это как-то очень просто и очень быстро, пряча глаза, тут же нервно и коротко затанулся и выдохнул дым себе на колени. Но уже через секунду он вскинул глаза и поцедил сквозь зубы: — Ссуки...

И тут я почувствовал — я именно тогда это почувствовал, а не понял сейчас, — что Моргот, несмотря на его позу, на его безответственность, защищал нас от внешнего мира, как это и положено взрослому. Он создал этот маленький мирок и стоял на его страже, как старший. Он никогда и никому не позволял нас обижать! Вторжение в его мирок, невозможность противостоять этому вторжению, невозможность отомстить за него он принял совсем не так, как собственные злоключения. Наверное, это был какой-то дремучий инстинкт самца, защищающего свое логово.

Моргот услышал, распознал этот инстинкт в то время, когда не мог надеть на себя ни единой маски, — мне кажется, миротворцы убили в нем лицедея и оставили его нагим перед самим собой и перед миром. Возможно, он бы со временем оправился и вернулся к своим ролям и позам — на другом уровне, гораздо более глубоком. Но в тот миг он был не способен к игре, и это позволило ему расслышать нечто на самом дне самого себя. То, что раньше иногда прорывалось из-под спуда, не вполне осознаваемое, лишнее, мешающее, теперь пробило дорогу наружу, как защита от беспомощности и безысходности: ненависть.

Я не буду судить, прав он был или не прав, но человеческая психика защищается от самой себя, ищет выходов из тупиковых ситуаций. Человек не может обвинять себя бесконечно, ему гораздо проще найти врага вовне, чем внутри. Моргот же никогда не был к этому склонен, ему — при всей его слабости — хватало силы отвечать за себя перед собой. Может быть, поэтому он не терпел, когда его призывают к ответу другие: он казнил себя

сам, и зачастую гораздо сильнее и болезненнее, чем это мог сделать кто-то другой. Ему не пришло в голову обвинять миротворцев в том, что случилось с ним самим, можете мне поверить, хотя он имел на это полное право; почти каждый на его месте ненавидел бы своих мучителей. Нет, обвинение Моргота против них созрело только тогда, когда он понял, что не может защитить нас. Так же, как он не смог отомстить за своих родных.

Конечно, маленький Килька не мог рассуждать подобным образом: я увидел лишь ненависть на его лице, я увидел, как полыхнули его глаза, и я понял — он ненавидит их из-за нас. Из-за того, что не может призвать к ответу того миротворца, говорящего с акцентом, который напугал нас и четыре часа подряд допрашивал беззащитного беспризорного мальчишку, зная, что никто его за это к ответу не призовет. Я увидел, как последняя капля переполнила чашу. Именно тогда, а не потом, не позже.

— Ты тоже спас мне жизнь! — гордо сказал Первуня — мы множество раз ему это повторяли.

— Тьфу на тебя, — поморщился Моргот. — Кто бы тебе позволил утонуть на глазах у всех в десяти метрах от берега?

— Стася Серпенка так ничего и не сказала о том, кому она отдала документы, — на лице Лео Кошева не двигается ни один мускул, словно со мной говорит маска. Его кожа похожа на воск. Он смотрит поверх моей головы, и глаза его тоже неподвижны. Мне становится жутко. — За двадцать четыре дня они ничего не смогли с ней сделать. У нее было слабое сердце, это вынуждало их быть аккуратными, но, уверяю вас, они знали множество вполне безвредных для здоровья методов. Они быстро нашли ее слабое место, но, видимо, не настолько слабым оно оказалось. Она прошла через все это на едином эмоциональном подъеме, она приносила себя в жертву и была счастлива этим. Да, поверьте мне, счастлива!

— Мне кажется, вы преувеличиваете, — замечаю я. — Я немного по-другому представляю себе счастье.

— Вы не верите в счастье бабочки, которая летит на огонь?

— Ваша аналогия не вполне корректна. Бабочка не приносит себя в жертву, — я пожимаю плечами. — И потом: много ли мы знаем о счастье бабочки?

— В любом случае, возведенный Стасей барьер был непробиваем, а такое возможно только благодаря сильным эмоциям. Не забывайте: это наивная и совершенно бесхитростная девочка. Я не говорю, что у нее отсутствовала логика, она не была глухой. Но ее незнание жизни позволяло манипулировать ею практически как угодно, сама же она была неспособна выстроить хоть какую-то защиту, основываясь на логике.

Я вздыхаю и не говорю вслух о том, что сам Лео Кошев этим и воспользовался. Ему тяжело говорить и без моих замечаний.

— Поэтому она просто молчала. Даже под действием наркотика, даже под гипнозом, когда, казалось, она должна говорить о своем возлюбленном во всех подробностях. А, уверяю, с ней работали отличные психологи, которые знали, как вывести ее на нужные воспоминания. Нет, она возвела такой барьер, что и это им не помогло. Они добились только поэтических реминисценций, которые не проливали света на личность ее любовника. Мне бы не хотелось вспоминать о той грязи, которую они обрушили на нее, надеясь ее сломать. Она не сломалась.

— А ее родные? Они предпринимали какие-нибудь попытки помочь ей? Добиться правды?

— Я знал ее мать, но не очень хорошо. Она приходила ко мне, — на этом месте лицо Кошева едва заметно искажается, но всего на миг, и взгляд переходит мне на грудь. — Я и так делал все, что мог. Мои адвокаты заваливали суды ворохом бумаг, я безуспешно пытался пробиться сквозь стены, которые возводила военная полиция вокруг своих дел. Но я не мог взять их приступом! Уверяю вас, если бы такое случилось с моим собственным сыном, я не мог бы сделать большего!

— С вашим сыном этого не случилось! — обрываю я его — и тут же начинаю корить себя за несдержанность.

— Да, конечно, — тут же соглашается он и переводит глаза ниже, на мои ботинки, — я не снимаю с себя вины. Более того, мне кажется, если бы не моя кипучая деятельность, все могло бы закончиться не столь трагично. Они не могли предъявить ей обвинения в терроризме, ее преступление не дотягивало даже до сколь угодно серьезного уголовного дела, если не вспоминать

о стоимости украденных документов. Ни один суд не продлил бы срока задержания без предъявления обвинения. Я, как бы смешно это сейчас ни звучало, был серьезным противником. Я мог привлечь прессу, я мог довести это дело до международного скандала.

— Но не довели?

— Нет. Не довел, — он вскидывает глаза и на этот раз смотрит мне в лицо. — Я был серьезным противником, но победить мне бы никто не позволил. Они знали, что на выходе из следственного изолятора Стасю Серпенку встретит толпа адвокатов, независимых экспертов, журналистов и фотографов. Никто не позволил ей выйти оттуда.

Он снова сделал ее заложницей в своей войне. Возможно, на этот раз невольно. Исходя из тех самых благих намерений, которыми мостят дорогу в ад.

Стася Серпенка улыбается — искренне и открыто.

— Дядя Лео совершенно прав. Вы напрасно ему не верите. Я действительно была счастлива. И если в первые дни на меня иногда накатывало отчаянье, то с каждым днем я боялась самой себя все меньше и все сильнее верила в себя. Неужели вы не понимаете, что отдать жизнь за любимого человека — это прекрасная участь? Я победила, понимаете? Я их победила!

— Послушайте, вы же никогда не интересовались политикой, вы не считали себя защитницей правого дела.

— Мне хватало того, что таким защитником был Макс. Если он за что-то боролся, это не могло быть неправым делом. Если он считал, что эти документы должны уйти к Луничу, значит, это было правильно! Я чувствовала себя счастливой, я знала, что он переживает за меня, я в глубине души верила, что он спасет меня. Это наивно, конечно, но я верила. Мне нужно было верить во что-то такое, очень хорошее... Я боялась только одного: что я никогда больше его не увижу. Я жила в какой-то беспрерывной грезе, в осязаемой мечте. Возможно, это от наркотиков, от перенапряжения, от боли. Я научилась отключаться от реальности, слишком быстро научилась, мне это было необходимо, чтобы все это выдержать. Я представляла себе, что Макс держит меня за руку, и я чувствовала тепло его руки. Мы бродили по цветочным

полям, купались в прозрачном море, говорили и целовались. И умерла я счастливой. Я не разглядела собственной смерти, мне сделали какой-то укол, и я не понимала, что происходит. Я из одной грезы попала в другую, только и всего...

Она лжет. То ли мне, то ли самой себе. Она продолжает цепляться за иллюзию, за грезу, потому что без этой иллюзии ей придется смотреть на неприкрытую грязь этого мира, видеть которую она не готова даже теперь; ей придется вспоминать чужие потные руки на своем теле и несвежее дыхание на своем лице, отчаянье и ужас зверька в руках живодеpa, струйку слюны на безвольно упавшем подбородке, режущую веревку, стягивающую горло, и бесконечную невозможность вздохнуть. А может, вода реки Леты избавила ее от этих воспоминаний и в подарок оставила цветочные поля и прозрачные морские волны?

Макс спустился в подвал, когда Моргот наливал чай, — он редко пил чай за столом, обычно забирал кружку к себе в каморку. Мы еще не легли, но уже умылись на ночь и скакали на кроватях — угомониться сразу нам всегда было трудно.

Дверь скрипнула, Моргот оглянулся и замер с кипящим чайником в руке, мы же, не очень разглядев лицо Макса, вытянулись по стойке «смирно» и подняли кулаки. Наше «непобедимы» на этот раз прозвучало осмысленно и гордо: после признания подвига Бублика Морготом мы считали себя непобедимыми. Макс обвел нас мутным взглядом и тоже поднял кулак — нехотя и неуверенно.

Моргот грохнул чайник на стол, потрянул рукой и выругался шепотом. Макс прошел к столу, сел, чтобы не подпирать головой потолок, и, посмотрев на Моргота снизу вверх, сказал:

— Ее убили.

Моргот отодвинул чайник в сторону, достал из кармана пачку сигарет и молча закурил.

— Ты слышишь? Ее убили, — повторил Макс.

— Ты хочешь, чтобы я что-нибудь сказал? — я бы не назвал голос Моргота сочувствующим. Впрочем, утешитель он был неважный.

— Да.

— От глупости нет лекарства.

— Спасибо.

— На здоровье, — Моргот затянулся и помолчал, медленно выдыхая дым. — Макс, то, что я вышел оттуда, было чудом. А вообще-то чудес не бывает.

— Я знаю. Но она же ничего не знала! Совсем ничего! За что, Моргот? Зачем они это сделали?

— Я полагаю, Лео Кошев подготовил толпу экспертов с фотоаппаратами, призванных подтвердить применение пыток консультантами западных спецслужб. А также толпу адвокатов, убедительно доказавших, что это дело не имеет отношения ни к международному терроризму, ни к доморощенному.

— Почему он не сделал того же самого, когда отпустили тебя?

— Потому что у меня на лбу было написано, куда я его пошлю. И потом, мои фотки не тронули бы до слез международную общественность, — Моргот снова медленно затянулся.

— Они сказали, что она сама... Что она повесилась ночью в камере.

— Они тебе соврали. В камере нельзя повеситься. Иначе я бы обязательно это сделал.

Макс помолчал, опустив голову, а потом спросил, совсем тихо:

— Моргот, скажи, как мне жить теперь?

— Я надеюсь, это риторический вопрос.

— У меня от нее вообще ничего не осталось. Ничего. Я даже не могу пойти на ее похороны!

— Да, я надеюсь, на это тебе ума хватит, — Моргот почему-то оглянулся на дверь.

— Послушай, ты знаешь знакомых младшего Кошева? Хоть кого-нибудь? — неожиданно спросил Макс.

Моргот опешил от этого вопроса и взглянул на Макса с подозрением.

— У Кошева очень много знакомых. Тебе какого?

— Она продала картину какому-то знакомому Кошева. Я обещал найти его и выкупить картину, сколько бы она ни стоила. Я... я не знаю, что еще я могу сделать... Но мне надо хоть что-то для нее сделать!

— Не думаю, что в этом есть хоть какой-то смысл, — Моргот затушил длинный окурочек в пепельнице, поднялся из-за стола и направился в каморку. Я думал, он

хочет уйти совсем, бросить Макса одного, но из каморки послышался звук выдвигаемого из-под кровати чемодана, и через минуту Моргот вышел к столу с картиной в руках.

— На, возьми, — он положил картину на стол, прямо перед глазами Макса.

— Что это?

— Это ее картина. Называется «Эпилог». Посвящена мне, — равнодушно сказал Моргот, усаживаясь за стол напротив Макса.

— Так... так это ты ее купил?

— Я тоже в какой-то степени знакомый Кошева, — брезгливо усмехнулся Моргот.

— Где ты взял столько денег?

— Украл, — Моргот вызывающе поднял голову и смотрел Макса взглядом.

Макс ушел часа через два, унося под мышкой картину. Я так и не уснул, прислушиваясь к их разговору. Сначала мне казалось, что Моргот напрасно говорил с Максом так грубо, но потом, когда они сидели за столом и держались за руки, я понял, какие они на самом деле близкие друзья и как хорошо понимают друг друга. По моим детским представлениям, Макс должен был биться головой об стол, а Моргот обнимать его за плечи и утешать. Но они сидели и разговаривали, взявшись за руки, даже не пили водки. Я не думаю, что горе Макса стало хоть сколько-нибудь меньше, но он приходил не за этим.

Моргот собирался погасить свет над столом и уйти в каморку, когда над входом раздались громкие голоса, смех и топот, а потом дверь распахнулась от пинка ногой и ударилась ручкой об стену.

Бублик проснулся и поднял голову, а я от испуга сел на постели — я думал, сейчас сюда вбежит целый взвод автоматчиков. Моргот вздрогнул и замер, глядя на дверь. Но это были не автоматчики, хотя в полутьме разглядеть пришедших было трудно: я увидел только светлые брюки на одном из них.

— Громин, ну и темнотища тут у тебя! — раздался от порога веселый голос. Я даже обрадовался сначала, что это пришли какие-то знакомые Моргота, а не солдаты.

Но Моргот, похоже, этому рад вовсе не был. Напротив. Его лицо, хорошо освещенное лампой над столом, стало вдруг растерянным, не испуганным даже, а несчастным.

Сейчас я могу сказать: он искал маску, которую надо на себя надеть. Он не умел быть самим собой, без своих ролей и масок он был беспомощен и безоружен. Он не умел вытаскивать на свет истинные чувства, перетасовывать их и выбирать нужные, он всегда прятался за чужими, выдуманнными эмоциями и взглядами. Он — при всей зависимости от чужого мнения — не умел оборачивать себя к людям лучшими своими сторонами, предпочитая выдумывать эти «лучшие» стороны.

Впрочем, выход он искал всего несколько секунд. У него не хватило времени вернуть себе способность к перевоплощению. Его лицо перекошилось и оскалилось:

— Что, Кошев, пришел поискать здесь свою законную бочку варенья, которую умыкнули у тебя из-под носа?

Я никогда не слышал, чтобы Моргот говорил таким голосом. Обычно презрение или даже ненависть он выражал по-другому — флегматичней, равнодушной. Сейчас же он едва не брызгал слюной. Если бы он заговорил так со мной, я бы испугался, я бы решил, что через секунду он порвет мне глотку.

Щелкнул выключатель — кто-то из пришедших нащупал его на стене у двери.

— Спокойней, Громин, спокойней! Что-то ты занервничал.

Пришедших было четверо. Вперед вышел тот, кого Моргот назвал Кошевым, — в кремовых брюках, темной коричневой рубашке и — что меня очень удивило — в сапожках на каблучке. Его светлая челка закрывала лоб, падала на глаза и на очки в маленькой тонкой оправе, отчего кончики волос загибались вверх, придавая лицу бесхитростное и глуповатое выражение. За спиной Кошева стояли три парня, словно сошедшие с экрана любимых нами боевиков: широкие в плечах, высокие и мускулистые. Моргот неизменно называл таких «плоские затылки», а мы недоумевали, с чего он это взял и чем ему не нравятся эти сильные и важные парни.

Мы привыкли спать в шуме и при свете, но тут проснулись и Силя, и Первуня. Первуня натянул на голову одеяло и зажмурил глаза, а Силя подскочил и уставился

на пришедших с любопытством. Бублик протер глаза и насторожился, как будто собирался в любую секунду совершить молниеносный бросок.

Некоторое время пришедшие разглядывали нас с удивлением; первым опомнился Кошев.

— Ух ты! — воскликнул он. — Детский садик! Громин, ты любишь мальчиков?

На эти слова вскинулся Бублик:

— Сам ты... — остальные его слова я здесь приводить не буду. Я не думал, что Бублик умеет пользоваться столь крепкими выражениями.

Кошев рассмеялся в ответ и даже смахнул с глаза воображаемую слезу.

— Заткнись, Бублик, — коротко бросил Моргот. — Сидите и помалкивайте.

— Громин, может, мы все же войдем? Как-то негостеприимно ты нас встречаешь... И детишки у тебя ругаются... У кого только научились?

— Я бы сказал, куда вам лучше пойти, но детишки таких выражений еще не слышали, и лучше им такого пока не знать, — Моргот катал желваки по скулам и скалился.

— Какой ты стал смелый, Громин, — укоризненно покачал головой Кошев, проходя к столу. За ним двинулись и остальные.

Моргот машинально взял со стола пачку и со злостью выбил из нее сигарету.

— Мне рассказывали о тебе в военной полиции, — продолжил Кошев, разворачивая к себе стул и усаживаясь. — Надеюсь раздобыть видеозапись. Ты знаешь, что они все фиксируют на видео? Я готов любые деньги заплатить, чтобы своими глазами увидеть, как ты льешь слезы и ползаешь на карачках.

— У тебя нет таких денег, — выговорил Моргот. Мне показалось, ему было очень трудно сказать это не заикаясь. — У тебя скоро вообще не будет денег, только долги.

Он продолжал стоять и смотреть на Кошева сверху вниз.

— Вот об этом я и пришел с тобой поговорить! — радостно воскликнул Кошев. — Именно о моих деньгах, Громин! И если ты обвел вокруг пальца солдафонов из военной полиции, то мне полоскать мозги бесполезно. Я-то знаю, откуда мой папаша взял блокнот.

Тут Моргот широко и радостно улыбнулся — улыбкой, сквозь которую проглядывал оскал:

— Только денег-то тебе это не вернет, Кошев! Тю-тю, поздняя метаться! Или ты хочешь заработать на новую бочку варенья? Так за это варенья не дают, тридцать серебренников — твой потолок в этом начинании.

— Ну, Громин, если я не верну денег, у меня останется удовлетворение от того, что ты все же раскаялся в своих поступках. А раскаянья я пока не чувствую. Опять же: его пример — другим наука.

— Раскаянье, Кошев, — штука добровольная.

— А ты раскаешься добровольно и искренне. Разве ты не искренне каялся в военной полиции?

Моргот щелкнул зажигалкой, но у него дрогнули руки, и огонек погас. Он не боялся, я могу поклясться. Он нервничал, злился, ненавидел, но не боялся. Кошев бил его в самые больные места и в ту минуту, когда у Моргота не осталось возможности защититься.

Кошев же неожиданно повернулся в нашу сторону.

— Дети! Сейчас я расскажу вам сказку про вашего доброго папочку, — он скосил глаза на Моргота. — Громин, они тебя зовут папочкой?

Бублик сжал кулаки и раскрыл рот, но Моргот его опередил:

— Цыц! Молчать всем и не двигаться!

— Ух как ты с ними строго... — покачал головой Кошев. — Не иначе, в авторитете. Так вот, дети, папочка ваш пару недель назад целовал ботинки злобным миротворцам и вываливал все секреты, которые знал, только чтоб ему больше не делали больно. Я не преувеличу, если скажу, что от страха он горько плакал и писался. Говорят, от его визга у миротворцев закладывало уши; я думаю, это была его месть иноземным захватчикам за поруганное отечество.

Конечно, мы ему не верили, отлично понимая, что он хочет вывести Моргота из себя, побольней его обидеть. Но слушать это было невыносимо, у меня сами собой сжались кулаки, я готов был кинуться на этого лощеного уroda и разорвать на клочки. Тогда я не стал себе признаваться в том, что в этих словах присутствовала доля правды, которую я уже знал; я с легкостью откинул свои собственные размышления на тему слабости и

предательства Моргота. Более того, этот хлыщ развеял мои сомнения: я словно назло ему решил, что он врет от первого до последнего слова.

Кошева же лишь раззадоривали наши злые лица и сжатые кулаки, и он продолжал:

— Но добиться того, чтобы у миротворцев лопнули барабанные перепонки, папочка так и не сумел. Что поделаешь, человек слаб, и один в поле не воин. Я хочу предоставить ему возможность попробовать еще раз. Мы ведь тоже враги коммунистического отечества, правда, Громин?

— Вы мародеры. Вы до врагов не доросли, — глухо и как-то устало ответил Моргот. Он был очень бледен и почти не дышал.

— Что-то вяло ты реагируешь. Я все жду, когда ты наконец бросишься на меня с кулаками, а ты все стоишь и мямлишь чего-то. Или ты упадешь на колени и попросишь пощады? Это тоже вариант. Я все жду, когда ты сделаешь хоть что-нибудь!

— Все, что я могу сделать, это попытаться дать тебе по зубам. Но, боюсь, моя попытка обречена на провал.

— Зато ты будешь выглядеть героем хотя бы некоторое время! — широко улыбнулся Кошев. — Сделай хоть что-нибудь, Громин, не стой столбом!

— Ты стесняешься начать первым? Тебе неловко отдавать своим товарищам приказы? — Моргот казался в этот миг неподвижным, расслабленным. Может быть, способность к лицедейству, к смене масок он на время и потерял, но, видимо, талант актера никуда не исчез: его неподвижность распространялась на прошлое, настоящее и будущее, словно он был статуей, которая не шевельнется, которая не может, не должна шевельнуться! — Мне не хочется тебе помогать.

Кошев открыл рот, чтобы ответить, и тут Моргот сделал молниеносный выпад, вышибая из-под него стул. Моргот не отличался силой, но в ловкости и быстроте ему было не отказать. Я до сих пор горжусь этим ударом, будто он принадлежит мне, а не Морготу: Кошев не успел даже взмахнуть руками — прокатился по полу, опрокинул помойное ведро, стоявшее под рукомойником, и сшиб деревянную ножку умывальника, в результате чего эмалированная раковина с грохотом осела ему

на голову. По полу поплыли чайники и картофельные очистки в мутной, мыльной воде.

«Помощники» Кошева, конечно, только этого и ждали, в одну секунду кинувшись на Моргота, но, наверное, этого ждали и мы тоже, с воплями выскочив из кроватей и бросившись в драку. Однако наше вмешательство оказалось на редкость бесславным: я запомнил лишь один очень сильный удар в живот, который отшвырнул меня к стене. Я ударился головой так сильно, что у меня потемнело в глазах. Я не мог дышать и боялся, что я сейчас умру: в темноте, без воздуха, не в силах ни шевельнуться, ни закричать и позвать на помощь. Мне казалось, прошло полчаса, прежде чем перед моими глазами появился свет, а легкие судорожно втянули в себя воздух. У меня бешено кружилась голова, и я ничего не мог разглядеть, только слышал бессвязный шум драки. Когда же картина начала проясняться, я увидел Силю: он скорчившись лежал на полу, скулил и мотал головой, держась за коленку. Вывести из игры Бублика оказалось сложней — его замотали в простыню и ничком бросили на кровать, откуда он пытался и не мог подняться, извиваясь и надеясь освободиться. Первуня не ревел, как обычно, а сидел на полу возле кровати и смотрел перед собой широко открытыми глазами. А Моргот все еще сопротивлялся. Я хотел подняться, как положено герою, и кинуться ему на выручку, но едва пошевелился — все вокруг снова завертелось и к горлу подступила тошнота, даже слюна стала соленой и вязкой. Я не испугался: мне не пришло в голову, что меня тут же снова отшвырнут на эту стенку, как щенка.

Моргота уронили на пол, выкрутив за спину руки, один из «помощников» Кошева сел ему на спину, а другой ударил в лицо ногой. Видимо, удар оказался сильным, потому что Моргот обмяк и больше не дергался. Его подняли с пола и кинули на стул: он не потерял сознания, как мне показалось, но посмотрел вокруг мутным, бессмысленным взглядом, как пьяный. Ему связали руки проводом от чайника, закинув их за спинку стула, а потом плеснули в лицо водой.

— Громин... — елеино протянул Кошев, — ты меня слышишь?

Выглядел он неважно — в мокрых брюках с прилипшей жирной грязью и чайниками. Но, похоже, это его нисколько не смущало.

От воды взгляд Моргота прояснился, но он ничего не ответил. У него была рассечена бровь, и по мокрому лицу бежала быстрая струйка крови, сползая на шею и просачиваясь под воротник.

— Ты, помнится, сетовал, что я не могу дать тебе в зубы, — пропел Кошев. — Так вот, могу. Своей собственной рукой.

Он размахнулся — неловко, как девчонка, — и ударил Моргота по носу, снизу вверх. Моргот не удержал короткого вопля, у него из глаз хлынули слезы, но уже через несколько секунд он встряхнул головой и сказал:

— Кошев, ты настоящий мужчина. Ты это на самом деле можешь. Теперь я в этом убедился, хоть в зубы ты и не попал.

Из носа побежала кровь.

Он не испугался. Я не знаю, о чем он думал в ту минуту, на что надеялся, но он не испугался! Может быть, это из-за нас? Из-за того, что мы смотрели на него и ожидали отваги и непобедимости? Прикройся он маской, и маска бы давно с него слетела. Но, видимо, его собственное лицо было не так просто втоптать в грязь: готовность кидаться в драку, не думая о последствиях, и сумасшедшую гордость, иногда приводившую его на грань безумия. Моргот никогда не анализировал своих чувств, он не умел ими пользоваться и, наверное, не подозревал, что ненависть и страх плохо друг с другом совместимы.

— Теперь, Громин, когда ты это понял, — невозмутимо продолжил Кошев, — сделаем для тебя небольшую паузу. Который из твоих мальчиков самый хорошенький, а? Кого из них ты пользуешь с большим удовольствием? Я в таких вопросах готов доверять тебе целиком и полностью.

Кошев прошел по подвалу, делая вид, что внимательно нас разглядывает. А потом присел на корточки перед Первуней и показал ему козу.

— Вот этот, самый маленький, правда, Громин? Очень аппетитный. Иди ко мне, детка, не бойся.

Я не понимал, о чем говорит этот гад, но мне показалось, что он хочет сделать с Первуней что-то ужасное. Изуродовать его или даже убить. Я слышал про маньяков, которые охотятся на детей: все они делали с детьми

какие-то страшные вещи перед тем как убить — резали на кусочки, например. Крик Бублика только подтвердил мои опасения. Первуня же прижался к стенке еще сильнее и спрятал руки за спину.

— Не бойся, детка. Снимай штанишки. Дяденька добрый, он купит тебе мороженого.

Моргот выругался громко и грязно, попытался встать, дернул руки в стороны — на лице его было самое настоящее отчаянье. Но один из «помощников» Кошева ногой сбил Моргота на пол вместе со стулом, к которому тот был привязан.

— Громин, что ты так разнервничался? — улыбнулся Кошев, оглядываясь. — От мальчика не убудет.

Дверь в подвал распахнулась неожиданно, никаких шагов по лестнице мы не слышали. И я едва не заорал «ура», когда увидел на пороге Макса. Я думаю, он давно стоял под дверью и слушал, что происходит!

— Хватит, — сказал Макс то ли присутствующим, то ли самому себе. — Поиграли и будет.

Первого же «помощника», попытавшегося оказать ему сопротивление, он одним ударом отправил в глубокий нокаут.

Это была очень красивая драка. Я после этого видел немало боксерских поединков, но никогда они не производили на меня такого впечатления. Макс, боксер в тяжелом весе, расправился с двумя крепкими парнями, как с кутятами. Он, похоже, не пропустил ни одного удара! Я попытался крикнуть от восторга, но от этого меня едва не стошнило.

В это время Сила, который еще не поднялся с пола, но уже успокоился, быстро-быстро подобрался к Морготу — как санитарка к раненому на поле боя — и принялся развязывать ему руки, помогая себе зубами. Моргот вскочил на ноги прыжком в ту секунду, когда Кошев выбежал за дверь.

— Стой, сука! — взревел Моргот и кинулся за ним следом.

— Куда? — крикнул Макс ему в спину. — Ну куда, придурок!

Мне очень хотелось, чтобы Моргот догнал этого гада! Мне так этого хотелось! Но Макс оставил в покое и без того слабо защищавшихся «помощников» и побежал

догонять Моргота. «Помощники», оставшись без предводителя, переглянулись, похлопали по щекам своего товарища и ретировались — это произошло очень быстро. Или у меня кружилась голова, отчего происходящее то растягивалось во времени, то сжималось? Потому что я не помню, кто развязал Бублика, — помню только склонившееся надо мной его лицо.

— Килька, — голос Бублика дрожал, — Килька, ты чего? Ты не умирай, Килька...

Я хотел расхохотаться и щелкнуть его по носу, но вместо этого меня-таки стошнило.

Макс буквально затолкал Моргота в подвал, пихая его в спину, — Моргот оглядывался и огрызался. Все лицо у него было в крови, он время от времени вытирал глаз рукавом рубахи и шмыгал носом, запрокидывая голову.

Меня к тому времени Бублик перетащил на кровать и заботливо поставил рядом тазик. Сила совсем не мог ходить, и пол вытирали Бублик с Первуней.

— Развоевался, — ворчал Макс. — Хочешь теперь в обычной тюрьме посидеть пару лет? Он тебе это быстро устроит!

— Да я бы его убил! — рыкнул Моргот.

— Тоже неплохо, — кивнул Макс, усаживая его на стул. — Посиди, я на детей сначала посмотрю.

— Килька головой ударился, — тут же поднял лицо Бублик, возивший тряпкой по полу, — его даже вырвало!

— Это нехорошо... — покачал головой Макс.

— Его в живот ударили! — поддакнул Первуня. — И он упал и головой ударился.

— А Сила ногу сломал, — добавил Бублик.

— Посмотрим, — кивнул Макс.

— Какого черта ты там так долго стоял? — спросил Моргот, когда Макс сел на мою кровать и потрогал мне лоб.

— Завтра тебя снова потащат в военную полицию и спросят, кто это был. Тебе это очень понравится? Я надеюсь, ты сам справишься.

— Ага! Надеюсь он! — фыркнул Моргот. — А на прилет инопланетян ты не надеялся? Прилетят и побегут мне на выручку!

— Килька, каким местом ты ударился? — Макс сунул руку мне под голову. — Затылком?

— Я не знаю, — промямлил я.

— Затылком. Вот шишка. Ты сознания не терял?

— Неа, — неуверенно ответил я.

— Ты бы еще на божественное провидение надеялся, — злобно шипел Моргот за столом.

— Будем надеяться, это только сотрясение, — Макс не обращал на Моргота внимания. — Лежи в кровати, не скачи, и все пройдет. Моргот тебе завтра таблеток купит. Но если утром станет хоть немножко хуже, сразу скажи Морготу, он покажет тебя врачу.

Макс погладил мне лоб, убирая волосы назад, и пересел на кровать к Силе.

— Показывай свой перелом.

Сияя с готовностью откинул одеяло.

— Как ты вообще здесь оказался? — Моргот не желал прекращать разговор с Максом.

Макс соединил ноги Силе вместе и долго смотрел на них с разных сторон. Потом зачем-то потрогал щиколотку, хотя синяк был под самой коленкой.

— Я думаю, это сильный ушиб, не перелом. Ну, или трещина. Бублик, у вас в морозилке лед есть?

— Я с тобой разговариваю! — рявкнул Моргот. — Что ты здесь делал, а?

— У нас есть мороженая курица, — отозвался Бублик, — и еще дрожжи Салеха.

— Давай сюда и курицу, и дрожжи. Курицу в полотенце заверни, а дрожжи положи в пакет. Много дрожжей?

— Шесть пачек.

— Одну оставь Морготу на нос, парочку Кильке на шишку. Курицу Силе на ногу.

— Макс! Какого черта! — Моргот поднялся. Он был похож на пьяного, ненормально возбужден, суетлив и зануден. Я думаю, это от потрясения.

— Да сиди! — улыбнулся Макс натянуто и грустно. — Минуту подождать не можешь. Сейчас и до тебя доберусь. Как ребенок!

— Доктор хренов, — процедил Моргот, сел и прижал к переносице пачку дрожжей, выданных Бубликом.

— Я их встретил на проспекте, — Макс поднялся и направился к столу. — Трудно было не узнать красный кабриолет. Да и Кошева ты описал неплохо.

— Какого черта ты там чего-то ждал, объясни мне?

— Да ладно. Подумаешь, получил пару раз по морде, вот беда-то... — пожал плечами Макс. — Я пришел, когда вы уже дрались. Я их далеко отсюда встретил.

Он снял с веревки полотенце и намочил его край водой из чайника.

— Мог бы сразу войти, — проворчал Моргот.

— Глаз закрой.

— Макс, ну пару раз я ему все-таки врезал, а?

— Да, — снисходительно, как ребенку, ответил Макс, вытирая Морготу лицо, — пару раз врезал.

— Моргот его еще со стула уронил, — вставил Первуня, подобравшийся с тряпкой Максу под ноги. — Он головой в помойку упал!

— Первуня, тут же сухо, чего ты трешь? — Макс снова грустно улыбнулся.

— Тут кровь с Моргота накапала.

— Макс, ну скажи мне, ну почему ты не дал мне его убить? Одной бы мразью стало меньше, честное слово! — я не знаю, всерьез ли говорил Моргот, и чем дальше, тем сильнее его эйфория казалась ненормальной, нездоровой, как истеричный смех вдовы на похоронах мужа.

Макс, похоже, тоже чувствовал это.

— Бублик, у вас валерьянка есть?

— Есть только в таблетках, остальное Салех выпил.

— Давай сюда.

— Макс, да я спокоен, как стадо слонов! — Моргот шмыгнул носом.

— Конечно, — издевательски протянул Макс. — Оттого и трясешься, как мокрая мышь.

— Мне холодно. Я замерз, могу я замерзнуть?

— Можешь, можешь... — Макс зачихнул Морготу в рот две или три таблетки и сунул к губам стакан с водой.

— Я сам могу стакан в руках держать! — рявкнул Моргот на это, выхватил стакан, выплеснув половину воды Максу на колени. — Что ты пристал ко мне, а? Это же он, сука, он во всем виноват! Почему ты сам не убил его? Это ведь он виноват! Какого черта ты его отпустил? Ты же собираешься мстить, я же по глазам твоим глупым вижу, что ты собираешься мстить! Так какого же... ты его отпустил, а?

— Во-первых, он не стоит того, чтобы ты или я за него сидели, — спокойно и трезво начал Макс. — Если бы я и убил его, то не возле твоего дома. Во-вторых, мне есть кого убивать и без Кошева...

Макс ушел от нас на рассвете. Больше мы никогда его не видели.

— Мой сын обратился в военную полицию по поводу этого инцидента в подвале, где жил Громин. Над Виталисом посмеялись и сказали, что не рассматривают заявления о нанесении легких телесных повреждений, это в компетенции милиции. Громин их к тому времени уже не интересовал, они вернулись к этому заявлению позже. И опоздали с выводами. Всего на несколько часов опоздали, — на лице Кошева появляется некоторый оттенок злорадства, а я не знаю, радоваться мне вместе с ним или нет. Я не знаю, чем бы все это закончилось, если бы военная полиция не опоздала.

— Ваш сын действительно не получил денег за эту сделку? Или контейнеры с законсервированным оборудованием тоже чего-то стоили?

— Мой сын, по сравнению с его покупателями, был щенком и недоучкой. Он не умел торговаться, он представлял себе этот процесс, как продажу семечек на базаре. Его прижали к стенке, он оказался должен астрономическую сумму. Впрочем, его кредиторы были щедры. Они боялись, что он, испугавшись, прибежит ко мне и попросит помощи. И я помог: куплю у него часть акций и посодействую в продаже остальных. У него был еще один вариант: продать завод, но по частям, естественно. Покрыло бы это его долг или нет — я не знаю. При его знании рынка и умении вести дела — нет. Я до сих пор удивляюсь, как он сумел влезть в эту игру. Я думаю, его покупателям было все равно, кто станет владельцем завода, лишь бы это был наш соотечественник, готовый плясать под их дудку. В общем, они оценили контейнеры в сорок процентов от первоначальной суммы, хотя любой мало-мальски знающий рынок ноу-хау экономист довел бы эту цифру до восьмидесяти процентов, а то и до девяноста. Речь шла не о продаже двух предметов, вроде мясорубки и руководства по эксплуатации к ней. Речь шла о продаже принципа работы этой мясорубки.

— Вы не стали помогать своему сыну?

— У меня было две цели, и первая из них — сохранить завод, не допустить его продажи по частям. Вторая цель — не выпустить из страны технологию — хорошо сочеталась с первой. Как только расстраивалась сделка Виталиса, так сразу он становился вынужденным превратить акции в деньги, и первым его покупателем становился я. Вздумай он выбросить эти акции на рынок, они бы упали в цене вдвое, если не втрое. Кроме того, я мог использовать относительно долгосрочные кредиты в банках, а Виталис бы не получил там ни гроша.

Я часто думал: а зачем Лео Кошев так хотел сохранить завод? Что это: альтруизм, забота об Отечестве, тщеславие? Или все же какая-то выгода, выгода в отдаленной перспективе? Он ведь был деловым человеком — деловые люди редко следуют «зову сердца», а если и следуют, то тратят на это не капитал, лишь доход с капитала. Я так и не спросил его об этом. Я знаю, что бы он на это ответил, и мой вопрос ничего не прояснял. Сейчас я рассуждаю так: какая разница, что двигало Лео Кошевым? От этого результаты его поступков не меняются.

О гибели Макса Моргот узнал от Сенко. Макс застрелил из своей снайперской винтовки какого-то очень важного миротворца из военной полиции, когда тот садился в машину, а пока на крышу, откуда он стрелял, бежали солдаты, успел сделать еще пять выстрелов, три из которых попали в цель. Его собирались взять живым, но он открыл огонь из автомата, и солдатам ничего больше не оставалось, как стрелять в ответ. Сенко сказал, что в перестрелке Макс убил и ранил не меньше восьми человек. Он дорого продавал свою жизнь и поэтому был непобедим.

Его личность установили за сутки, хотя он не брал с собой документов. Как полицейским это удалось, осталось их тайной: они знали много методов.

Моргот позвонил Сенко и, не возвращаясь в подвал, поехал к матери Макса, к нему домой. Ему не следовало вообще появляться там, но он почему-то наплевал на это. Моргот эти дни жил как-то странно, не задумываясь о последствиях, как будто снова стал мальчишкой, каким его описывала мать. Он сам занимался похоронами и заплатил за них большую часть денег. Он хотел,

чтобы все было красиво, чтобы пришло много людей, и сам звонил одноклассникам и однокурсникам Макса и тем, с кем тот вместе служил. Он заказал море живых цветов и придирчиво выбирал гроб; он не доверял работникам морга и совался к ним с проверками и советами. Он дал взятку, чтобы Макса похоронили в городе, на старом кладбище, где за несколько дней до этого похоронили Стасю. Моргот словно пытался отдать все, что не успел отдать живому Максусу, словно таким образом хотел что-то сказать, что-то выразить, излить. И... это был не последний долг. Это было гораздо больше, чем долг, но Морготу все равно этого не хватало.

Он не хотел брать нас на похороны, но Бублик настоял, сказал, что мы не маленькие. Только Первуню мы оставили дома с Салехом. Моя разбитая голова к тому времени совсем меня не беспокоила, и я забыл о том, что должен болеть, да и Силу хромать перестал.

В тот день шел дождь — мелкий, почтой осенний. Людей около морга действительно собралось очень много, в один автобус все не влезли, и Моргот тут же заказал второй, переплатив за него вдвое: ребятам из его класса пришлось насильно затолкать деньги за автобус ему во внутренние карманы — он был в костюме. До этого он костюм не надевал, только брюки от него, я даже не знал, что у Моргота есть и пиджак.

Я помню цветы — очень много самых разных цветов — с каплями дождя на лепестках. И серое-серое небо, совсем не летнее, и даже не осеннее — никакое. Я не ходил на похороны своих родителей, у меня тогда случилось нервное потрясение, и я провел тот день в больнице. Это были первые похороны в моей жизни.

Когда мы подошли к вырытой могиле, оказалось, что внизу собралось очень много воды — наверное, мне по колено. Рядом стояли равнодушные могильщики, в меру пьяные и в меру гордые проделанной работой. Моргот, увидев воду на дне ямы, неожиданно вышел из себя, хотя до этого если и не был спокоен, то по крайней мере себя не выдавал. А тут он просто взбесился, подбежал к могильщикам и рявкнул:

— Какого черта, а?

— Наше дело — яму копать. А если в нее вода налилась — мы тут ни при чем, — пожал плечами могильщик.

Моргот смерил его взглядом, скрипнул зубами и плюнул ему на сапог.

— Чтобы через пять минут воды там не было, ясно?

— Делать мне больше нечего, — фыркнул могильщик, но не успел договорить, как Моргот схватил его за воротник:

— Я сказал: через пять минут. Или я вызываю не вашего администратора, а милицию для составления протокола. Я лучше им заплачу за быстрый приезд.

Я тогда не понимал, что могильщики вымогают деньги, я думал, что если они откажутся вычерпывать воду, придется ставить гроб прямо так. И почему Моргот хочет вызвать милицию, я не понял тоже. Все прояснилось, когда они вытащили на свет полиэтиленовую пленку, положенную на взрыхленную землю, — воды там оказалось совсем немного. Как Моргот догадался, что это подстроено, я не знал. Наверное, он с таким уже сталкивался.

Мы стояли в сторонке, и никто не обращал на нас внимания. Моргот держал под руку маму Макса: она плакала, но держалась хорошо, спокойно. На ней была черная полупрозрачная косынка, очень стянутая на висках; до этого я видел ее с копной вьющихся, немного поседевших волос, и теперь ее лицо показалось мне обнаженным. Плачущие на похоронах матери представлялись мне почему-то в черных шляпках с вуалями и черными носовыми платками — наверное, я это видел в кино. А эта косынка напоминала работниц на заводах в старых книжках с картинками, и когда я смотрел на нее, мне почему-то захотелось заплакать. Я знал, что такое смерть, и гораздо больше жалел маму Макса, чем его самого.

Какая-то тетенька дала нам в руки бумажные стаканчики с лимонадом и по бутерброду с колбасой, всем остальным налили водки. Моргот, я думаю, не очень-то хотел говорить речи над гробом, но он хорошо знал — и теперь я это понимаю, — что такое приличия. Он всегда презирал их, он вел себя иногда вызывающе неприлично, но даже когда он показывал на что-то пальцем, всем было ясно: он знает, что это некрасиво, и делает так именно поэтому.

Надо сказать, в костюме он чувствовал себя свободно, как будто носил его каждый день. Мне же все время

казалось, что это не Моргот вовсе, а какой-то совсем другой человек. В костюме.

— Макс был моим лучшим другом, — сказал он с бумажным стаканчиком в руке, — мы были неразлучны много лет...

Я не помню всей его речи. Она была гладкой, как будто он придумывал ее заранее, и очень правильной. Когда он заканчивал, женщины плакали, а мужчины прятали глаза. Так и положено на похоронах — чтобы все плакали. Это мне сказал Бублик. Мы тоже плакали, и нам казалось неудобным жевать бутерброды и пить лимонад, когда хоронят Макса. Но все пили. И закусывали, и никто этого не стеснялся, поэтому потихоньку начали кусать хлеб с колбасой и мы. Потом кто-то еще произнес речь, короче, чем Моргот, а потом сказала несколько сбивчивых слов его мама.

Прощались долго. Я помню, как сам нагнулся над лицом Макса и поцеловал его в лоб, — он гладил меня по голове всего несколько дней назад. Лоб был холодный, словно камень, словно стена. И даже холодней. Это потрясло меня. Моргот же стоял возле гроба с широко открытыми, бессмысленными глазами и тяжело дышал. Мне показалось, он впитывает в себя ужас произошедшего, он только теперь пытается поверить в то, что произошло.

Когда гроб начали закрывать, мама Макса разрыдалась и выговорила:

— Подождите! Подождите еще минуточку! Я не могу!

Моргот обхватил ее за плечи и сделал знак не опускать крышку. Все вокруг плакали, и мы плакали тоже. Она справилась с собой, она первая бросила гость земли в могилу, когда в нее опустили гроб. Я видел, как Моргот нагнулся, поднял горсть земли и внимательно посмотрел на нее в руке, словно хотел что-то осознать. Земля упала на крышку гроба с пустым стуком, я никогда не забуду этот звук, он словно отрезает мертвого от живых. И страшно представить себе, что там, под тяжелой крышкой, лежит Макс. И мы засыпаем его землей.

Бублик тоже поднял горсть земли и толкнул меня в бок.

— Помнишь? Мать сыра земля, — сказал он серьезно, показав мне ее на ладони.

Я кивнул и последовал его примеру, хотя мне очень не хотелось кидать землю в могилу.

Я запомнил могилу Макса целиком заваленной цветами, на лепестках которых дрожали дождевые капли.

А после были поминки, где все сначала плакали, а потом пели пьяными голосами, и песни становились все веселей и веселей по мере того, как голоса делались все более пьяными. Я этого не понимал, но умный Бублик объяснил мне, что на поминках так положено. Для этого и пьют, чтобы забыть горе и веселиться. Веселиться мне так и не захотелось.

Мы не прислушивались к разговорам, но, как это обычно бывает, они вскоре перешли на политику. Взрослые спорили, ссорились даже, кричали друг на друга, доказывая собственную правоту, а потом вдруг тихо заговорила мама Макса. Ее слова были неожиданными и вызвали ропот среди остальных. Ее слова были совсем не женскими — или, напротив, слишком женскими; даже сейчас я содрогаюсь, вдумываясь в их смысл.

— Мой сын воевал, когда все сложили оружие. Он был убит в бою, — она подняла глаза и обвела собравшихся взглядом, словно оценивая, как они к этому относятся. — Я рада, что в это время матери наших врагов плачут над гробами своих сыновей, убитых моим сыном. Он забрал с собой семь человек. Я рада, что он оказался непобедимым.

Я не знаю, что случилось с нами, как нам это пришло в голову и кто из нас стал первым. Мы вскочили, вытянулись и почти одновременно выбросили вверх кулаки.

— Непобедимы! — гаркнули мы от всей души, со слезами на глазах, вспоминая, как приветствовали Макса у нас в подвале.

— Непобедимы, — ответил кто-то из гостей вполголоса и поднялся.

— Непобедимы! — повторил другой, погромче, отодвигая стул.

И по мере того, как вверх поднимались кулаки, гости делилась на две части: те, кто не хотел принимать в этом участия, старались отмежеваться от остальных, бросали

по сторонам косые взгляды — осуждающие, непонимающие, испуганные, возмущенные.

Моргот не встал и не поднял кулака. Он никогда этого не делал. Он смотрел на остальных равнодушно и думал в это время о чем-то своем.

Лео Кошев пришел к нам в подвал вечером следующего дня. Мы вначале испугались — он был одет в темный плащ и шляпу, что само по себе не могло означать ничего хорошего. Моргот валялся у себя на кровати, а мы вяло играли в железную дорогу.

— Здравствуйте, дети, — сказал Кошев очень официально, как проверяющий, пришедший в интернат. Это нас напугало еще сильнее: мы со дня на день ждали, когда кто-нибудь придет нас забирать.

— Здравствуйте, — ответил Бублик и поднялся с коленок.

— Мне нужен Моргот Громин, я знаю, что он здесь живет, — он говорил, как баба Яга из сказки, которая хочет обмануть глупых ребятишек.

Моргот давно его услышал и шаркал тапочками, стараясь надеть их на ноги. Он тоже не ждал этого появления и тоже занервничал. Он видел Лео Кошева только однажды, в полутьме, и не узнал его по голосу.

— Что вам надо? — спросил он с сигаретой в зубах, высунув голову из каморки.

— Мне нужно с вами поговорить, — Кошев вежливо снял шляпу, коснувшись рукой потолка.

— Ба! Кто к нам пришел! — Моргот распахнул дверь в каморку настееж. — Какая неожиданная встреча! Какие люди!

Он издевался без улыбки, ему вовсе не было весело или смешно.

— Я понимаю, что вы вовсе не рады меня видеть. И тем не менее на этот раз я хочу поделиться с вами информацией.

— Меня не интересует информация. Никакая! — Моргот презрительно поднял верхнюю губу.

— Я все же войду... — Кошев снял плащ и поискал глазами вешалку. Вешалки у нас не было, только гвозди на дюбелях в стене. Покосившись на гвозди, Кошев перекинул плащ через руку и прошел в каморку. Моргот

посторонился, пропуская его вперед, и захлопнул дверь. Кошев, наверное, думал, что мы ничего не услышим, он и не догадывался, какая тонкая там стенка.

— Бублик! — через полминуты крикнул Моргот.

— Чего?

— Налей дяденьке чаю, что ли... Только завари свежий, понял?

— Ага.

Лео Кошев начал без предисловий.

— Я знаю, что вы имеете связи с Соппротивлением.

— Да ну? — протянул Моргот. — Откуда бы?

— Не притворяйтесь. Я же ничего не сказал военной полиции о блокноте, который вы мне передали.

— И что?

— Это определенная гарантия того, что я не выдам вас и в этом случае.

— Это ерунда, а не гарантия, — фыркнул Моргот.

— Хорошо. Считайте, вы мне в этом не признавались, я догадался сам. Я очень рисковал, появляясь здесь. Личность вашего товарища, который убил консультанта из известной спецслужбы, не сегодня-завтра свяжут с вами. Вы ведь одноклассники, не так ли? И это он здесь бил морду моему сыну?

— Вы пришли меня шантажировать?

— Нет. Мне нужен выход на Соппротивление, сегодня, немедленно, и я не знаю ни одного человека, кроме вас, кто бы мог мне помочь, — голос Кошева оставался ровным и бесстрастным.

— Если вам удалось установить личности моих одноклассников, может, вы и на Соппротивление выйдете как-нибудь без меня?

— У меня нет времени на поиски. Я не играю в политические игры. Я деловой человек, и до недавнего времени мои связи меня вполне устраивали. Собственно, мне и выходить на Соппротивление не нужно, мне нужно передать им информацию, срочную информацию.

— Очень хорошо. А при чем здесь я? — Моргот громко выдохнул сигаретный дым.

— Я уже понял, что вы будете паясничать до последнего.

— Паясничает ваш сынуля. А я так, погулять вышел.

— Хорошо. Через три дня контейнеры с оборудованием небезызвестного вам цеха будут погружены в самолет и улетят за океан.

— Наконец-то! — не удержался Моргот.

— Это же вы сообщили мне, что эта технология обгоняет западную на двадцать лет. Вы прошли через такие допросы, которые выдержит не каждый человек, и не сломались. Вы потеряли друга. Вы потеряли всю семью. Неужели вы не чувствуете ненависти?

— Что я чувствую, вас не касается.

— Я не лезу к вам в душу, — невозмутимо продолжил Кошев, — я всего лишь пытаюсь понять: неужели вы не завершите начатого?

Моргот громко хмыкнул. Теперь я знаю, что Соппротивление не предприняло ни малейшего усилия к вывозу контейнеров с юго-западной площадки завода, — Морготу было отчего рассмеяться.

— Я знаю точное местонахождение контейнеров, — Кошев понизил голос. — Вывезти их оттуда невозможно, но, по моим сведениям, Соппротивление имеет большой опыт диверсионных операций, взрывать оборудование вам не впервой.

— Нам? — переспросил Моргот.

— Как вам будет угодно, — церемонно ответил Кошев. — Я всего лишь хочу, чтобы вы передали этот план людям, которые могут организовать взрыв. Контейнеры находятся на грузовом складе аэропорта, но в той его части, к которой можно подобраться снаружи. Я вам все равно оставляю эту бумагу, вы вольны ее сжечь после моего ухода, но я ее все же оставляю.

— Хорошо, хорошо... А вам-то от этого какая польза? Вы что, патриот? — в слово «патриот» Моргот вложил слишком много сарказма.

— Я патриот, — ответил Кошев не смутившись. — Я хочу, чтобы сделка моего сына с миротворцами не состоялась. Это позволит мне сохранить завод от распродажи с молотка.

— Если они вывезли контейнеры с завода, разве сделка еще не состоялась?

— Нет. По условиям договора, право собственности переходит к покупателю при погрузке в самолет. Они облапошили моего сына, повесив на него все риски на нашей территории.

— Какие нехорошие миротворцы, — Моргот цыкнул зубом.

В это время Бублик, вручив мне чашку на блюдце, открыл передо мной дверь в каморку.

— Вот. Чай, — сказал я и поставил чашку на письменный стол. Моргот сидел на кровати, а Кошев — на стуле за столом.

— Спасибо, мальчик, — сказал Кошев вежливо, но равнодушно.

— Килька, я не понял: а мне? — спросил Моргот.

— Ты же сказал — дяденьке! — искренне возмутился я.

— Мало ли что я сказал. И где сахар?

— В чашке, где же еще! — фыркнул я. — Не на блюдце же его сыпать!

— Действительно, — качнул головой Моргот и, посмотрев на Кошева, пояснил: — Сахар — в чашке.

— Благодарю, — кивнул Кошев, взявшись за ложечку. — Откуда у вас эти дети? Они ваши родственники?

— Не ваше дело.

— Простите. Меня это не касается, я спросил из любопытства.

Бублик уже тащил чашку для Моргота, и я не стал сразу закрывать дверь.

— Вы на чем-то остановились, — помог Моргот, но Кошев лишь подозрительно посмотрел на меня и медленно отхлебнул чай. Он так и не продолжил, пока мы не закрыли дверь.

— Я остановился на том, что контейнеры — в аэропорту, на грузовом складе. Между бетонной оградой и двухэтажным зданием службы энергоснабжения. Это здание закрывает их от посторонних взглядов с трех сторон, оно построено буквой «П». Бетонная ограда имеет высоту три метра, на ней установлена сигнализация. Кроме того, на территории аэропорта несколько степеней защиты. Бетонная ограда может помешать вывезти контейнеры, но не взорвать. Ее толщина — не более десяти сантиметров.

— А что, вы сами их взорвать не можете? Если это так просто? — перебил Моргот.

— Я не террорист, я деловой человек, — ответил Кошев.

— А я террорист, по-вашему? У меня тут склад тротила?

— Я не говорю, что это должны сделать вы. Я всего лишь прошу передать этот план тем, кто может это организовать.

— Замечательно, — усмехнулся Моргот. — Просто потрясающе! Вы и Стасе Серпенке не предлагали украсть документы. Правда? Не предлагали? Она сама отчего-то решила, что должна это сделать. Убирайтесь вон, господин Кошев. Простите, товарищ Кошев. Убирайтесь вон. Оставляйте здесь свою бумажку и катитесь на все четыре стороны. Считайте, что долг перед Родиной вы выполнили целиком. Ложась сегодня спать, не забудьте себе напомнить: «Я сделал все, что в моих силах». Слышите? Вы — великий человек и великий управленец. Я восхищаюсь вашей способностью чужими руками таскать каштаны из огня!

Моргот говорил это не очень громко, он не кричал, но, когда открылась дверь, я увидел его перекошенное лицо, покрасневшее, с капельками пота на лбу и вокруг носа.

Кошев ушел с чувством собственного достоинства, попрощался перед выходом, надев шляпу, на что Моргот крикнул ему вслед:

— Сынуле привет передавай!

— Я действительно сделал все, что в моих силах, — Кошев оглянулся на пороге и кивнул.

Моргот хлопнул дверью каморки, и мы услышали, как он упал на кровать.

Я тогда не понимал, что этим разговором Кошев его убил. Так же верно убил, как заставил Стасю Серпенку забрать документы из своего сейфа.

Моргот валялся на кровати примерно час, а потом надел кеды и ушел.

— Я позвонил Сенко, хотя я знал, что услышу, — Моргот затыгивается и смотрит на меня сузив глаза. — Конечно, по телефону мы этого не обсуждали, я приехал, он меня встретил очень... тепло... Попытался расспрашивать, предлагал выпить. Я послал его подальше и ушел. У него тоже никого не было для связи, только Макс. Я думаю, потом бы связь с ним наладили, прошло ведь всего четыре дня. Но я не знал, сколько времени им для этого потребуется. Я пошел посмотреть на этот грузовой

склад: на подъезды, подходы, сигнализацию. Подъезда не было, асфальт сворачивал метрах в пятидесяти от забора и дальше огибал территорию по кругу. Но обочина переходила в ровное поле. Что-то вроде пустой полосы перед колючей проволокой. Нашел я этот домик буквой «П», он там был такой один.

У него дрожит рука, и он снова затягивается.

— А потом?

— А потом поехал искать подходящую заправку.

— Моргот, ладно, не надо, не рассказывай, — мне тяжело на него смотреть.

— Да нет, Килька, все нормально. Чего ты нервничаешь?

— Ты ведь понял, что он тобой манипулирует. Скажи мне: почему ты это сделал? Почему?

— Килька, я сто раз повторял: я не знаю. То, что он мной пытается управлять, я понял, как только он завел речь о Максе. Он хотел меня напугать, и он меня напугал. Ты можешь себе представить, что бы со мной сделали в военной полиции, если бы я сказал им все, как есть? Что я не знал никого, кроме Макса? Да мне бы никто не поверил! Ни денег, ни документов, чтобы уехать, у меня не было. Я бы, конечно, нашел вариант, нет вопросов. У меня была сотня выходов, можешь мне поверить, я все их перебрал! Я не хотел!

— Почему?

— Потому что. Потому что убили Макса. Потому что я ненавидел Кошева. Младшего, разумеется. Потому что я их всех ненавидел, — он затягивается, чтобы удлинить паузу. — Потому что никто бы этого не сделал, кроме меня.

— Ты что-то говорил о национальной гордости? — спрашиваю я серьезно.

— Килька, не смейся надо мной. У меня было счастливое детство. Кошев нажал на все кнопки, на которые мог. Я не знаю, понял он или нет, какая из них сработала. Когда он уходил, у меня было ощущение, что он меня бросил. Что он свалил на меня свою ответственность, он оставил меня самостоятельно думать, что теперь делать. Без помощи вообще. Я был один, понимаешь?

— А Сенко?

— У Сенко кладовка была завалена книжками, а не боеприпасами. Я примерно прикинул, взрыв

какой силы нужен, чтобы наверняка разнести это к чертям собачьим. Получалось не так много для Сопротивления, но и немало для человека, который нужные компоненты будет покупать в аптеке или в магазине. Максимум, на что я был способен, — это сделать бомбочку из нитроглицерина или йодистого азота. Это так, из школьных воспоминаний. Думаю, я бы подорвался еще в подвале. Даже баллона с ацетиленом — и то не хватило бы. Я ничего в этом толком не смыслил, я немного знал химию, но все это было детство, такое детство!

— Ну неужели ты не мог придумать что-нибудь поинтересней?

— Не мог! Я не знаю, о чем я тогда думал! Я был не в себе, я после полиции вообще не мог соображать нормально. Меня кидало от апатии к истерике и обратно. Они что-то сделали со мной, я то хихикал, как дурачок, то смотрел в одну точку. Макса убили, я знал, что он сделает что-нибудь такое, знал, и я его не остановил! Я смотрел, как он уходит, и знал, что больше его не увижу. А мне тогда так весело было! И я его не остановил!

— Ты бы его не остановил, даже если бы попытался. Ну что, ты бы его к стулу привязал?

— Я не знаю. Но я и не попытался. А он... Он понял, что это у меня истерика такая, он меня валерьянкой кормил, а толку мне было от той валерьянки...

Моргот пришел днем, сразу лег спать и велел разбудить его в половине восьмого. Только он не уснул, провалялся час в кровати и вышел к нам. Посмотрел телевизор, плюнул и снова пошел к себе. Потом позвал Бублика и меня.

— На всякий случай. Мало ли что. Вот тут у меня лежат деньги, — он приподнял матрас и показал тайничок, вырезанный в дереве. Тайничок он сделал из-за Салеха, потому что тот воровал, мы же никогда не брали деньги без спроса, даже если они валялись у него на столе.

Потом он сидел за столом, что-то писал в записной книжке, черкал, вырывал листы и опять писал, валялся на кровати, выходил к нам и пил чай, глядя, как мы играем в железную дорогу, опять писал, опять валялся.

Потом вышел куда-то, но отсутствовал недолго, не больше получаса. И, вернувшись, снова сел за письменный стол.

Я понимаю, он спешил оставить след на земле, хоть какой-то след. Он пытался осознать себя пешкой и не мог представить себя ею. Никто из нас не в силах признать себя пешкой, песчинкой, направленной ходом фантастических песочных часов. Мы все мним себя демиургами и хотим участи вседержителей, а не песчинок. Мы грезим о бессмертии и не задумываемся, годимся ли для бессмертия. Я вслед за Гете наивно полагаю, что каждый человек — это вселенная, творец, но так ли это? С годами мы сдаем позиции демиургов, отказываемся от амбиций, уменьшаем в собственных глазах и, наверное, мельчаем на самом деле. Но чья участь выше — демиурга, не признанного таковым и в старости, или песчинки в неумолимом ходе бесконечного времени? Песчинки, которая упадет на дно песочных часов, выполнив предназначенную ей миссию.

Я не знаю, в какое время была сделана та или иная заметка в записной книжке Моргот. Я пытался понять, что он написал именно в тот последний день, но не смог определить этого точно.

Часов в девять вечера Моргот перестал метаться и вышел к нам, не спеша налил чаю, закурил и, как обычно, откинулся на стенку, вытянув ноги.

— Бублик!

— Чего?

— Иди сюда. И Килька тоже.

Мы бросили надоевшую игру и подскочили к столу: мы же чувствовали, что с ним происходит что-то не то, мы весь день ждали чего-то.

— Пойдете со мной сегодня вечером? — Моргот спросил, а не велел, как он обычно делал. Мы, разумеется, не знали, куда мы должны с ним пойти, но хором ответили «да!». А что еще мы могли ответить?

Сейчас я не знаю, действительно ли он нуждался в нашей помощи, или собирал зрителей на свой последний спектакль? Во всяком случае, я не жалею, что стал его зрителем. Иначе бы никто никогда не узнал, что стало с Морготом на самом деле.

Мы вышли из подвала около десяти, и я вспомнил ту ночь, когда он взял меня с собой — сжечь машину миротворца: фонарь над спуском в подвал снова не горел. И лето тогда только начиналось. Мне стало грустно от этого воспоминания, мне снова захотелось, чтобы сейчас лето только начиналось, а не заканчивалось. Мне захотелось этого до слез, и я попробовал поймать руку Моргота и закрыть глаза: мне казалось, это может вернуть тот день. Ненадолго. Моргот взял меня за руку — его рука дрожала. Так же, как тогда. Только на плече у него висела большая спортивная сумка. Мне она показалась очень тяжелой.

Мы проехали на автобусе до шоссе, ведущего в аэропорт, и зашли на ближайшую заправку, где Моргот купил пятилитровую канистру с бензином, и это снова напомнило мне сожженную машину миротворца. Он был молчалив, никуда не торопился и на наши вопросы не отвечал. Канистру он убрал в сумку, выбросив в урну какие-то старые вещи: они, оказывается, служили одной цели — спрятать тяжелый разводной ключ и еще какие-то инструменты, валявшиеся на дне. Я думаю, разводной ключ в сумке издали можно было принять за автомат, поэтому Моргот и набил сумку вещами. Канистра с успехом их заменила.

Мы прошли пешком километра три — до следующей заправки, но пробрались к ней со стороны садоводств, вилля между заборчиков, парников, грядок и сарайчиков. Моргот недолго выбирал место для остановки — видимо, он нашел его заранее. Оттуда, где он кинул сумку на землю, просматривалась и ярко освещенная заправка, и шоссе — довольно далеко, километра на два.

— Приехали, — сказал Моргот. — И только попробуйте начать нить. Нам ждать часа полтора — может, больше, может, меньше.

— А зачем мы пришли так рано, если надо ждать? — спросил я.

— На всякий случай, — ответил Моргот.

Мы с Бубликом не понимали, что он собирается сделать, нас разбирало любопытство (если наше волнение, ощущение чего-то страшного и неведомого можно назвать любопытством). Спросить мы не решились, а обсудить версии при Морготе не могли. Мы

всматривались в поток машин, мчавшихся по шоссе, как будто знали, что именно должны увидеть; поднимаясь на носочки, разглядывали заправку и перешептывались. Наконец Моргот сказал:

— Сядьте и успокойтесь. Сейчас я расскажу, что надо делать. Ваша задача — осмыслить сказанное и не сделать ни одной ошибки.

Мы раскрыли рты и смотрели на Моргота во все глаза.

— По моей команде вы бегом бежите на шоссе, но не через заправку, а с другой стороны, так, чтобы на заправке вас не видели. Там есть тропинка, можете прогуляться по ней туда и обратно, чтобы не запутаться. Вы стоите в тени и смотрите во все глаза на заправку...

Он изложил свой план трижды, выясняя, как мы его поняли, заставил нас все это повторить, послал пройти по тропинке и посмотреть на заправку со стороны шоссе. А потом, когда мы вернулись, взял Бублика за плечи, встряхнул и сказал:

— Бублик, ты умный парень. Ты можешь ни разу не ошибиться, я знаю. Не ошибись, слышишь? Я очень прошу.

Я от этих слов начал волноваться еще сильнее, Бублик же кивнул головой и спокойно ответил:

— Моргот, ты как маленький! Я же все понимаю. Я не ошибусь.

Моргот растерянно кивнул, недоверчиво и с тоской глядя на Бублика.

После этого ожидание стало невыносимым, меня с каждой минутой трясло все сильнее. Моргот же, хоть и был напряжен, напротив, перестал волноваться, я по его глазам видел, что он спокоен, а его напряжение — всего лишь готовность к прыжку. Прошел примерно час, растянувшийся для меня в столетие, у меня перед глазами мельтешил редевший поток машин, я всматривался в него до рези в глазах и разглядывал редкие автомобили, приезжавшие заправляться: был будний день, и после полуночи их почти не осталось.

Моргот посоветовал мне как следует рассмотреть работников заправки — я насчитал четверых. Как потом выяснилось, их было больше, но я увидел только этих. Кассирша — толстая, немолодая женщина — и охранник с оружием сидели в стеклянной будке и ни разу оттуда

не вышли. Еще двое бегали по территории, и я разглядел кобуру у каждого из них на поясе: в те времена не только на заправках, но и в магазинах продавцы по ночам исполняли обязанности охраны (или охранники исполняли обязанности продавцов?) — их хозяева таким образом сэкономили деньги.

Бублик сидел на канистре, иногда поворачивая голову в сторону шоссе, и являл из себя образец спокойствия, что невероятно меня раздражало. Но через какое-то время моя дрожь унялась: я устал волноваться. Поток машин окончательно иссяк, фары перестали слепить мне глаза, я сидел и ни о чем не думал. Может быть, даже задремал, потому что голос Моргота заставил меня подпрыгнуть от неожиданности:

— Пора. Давайте, пацаны.

Бублик поднялся, деловито кивнул и посмотрел на шоссе. Я увидел вдали лишь контуры большой машины — фары светили слишком ярко.

Мы выбежали на шоссе, когда тяжелый бензовоз медленно въехал на заправку. Бублик дернул меня за руку, чтобы я остановился.

— Вон, смотри, мы можем встать за щитом! Там нас никто не увидит!

— Моргот сказал стоять тут! — возразил я.

— Моргот сказал, чтоб нас никто не видел. Там будет лучше, — Бублик схватил меня за руку и потащил за собой, через освещенное огнями заправки пространство.

Позиция, выбранная Бубликом, оказалась намного лучше, чем я предполагал: нас действительно никто не видел в тени рекламного щита, а мы отлично видели все, что происходило на заправке в это время. Мы присели на корточки и затаились. Миссия наша была скромна, но без Бублика я бы обязательно сделал что-нибудь не то.

Бензовоз со скрипом остановился возле подземного резервуара, шумно выдохнул и замер. Когда замолчал его мотор, тишина показала мне слитком нарочитой; двое продавцов-охранников тут же двинулись в его сторону, а из кабины с бумагами в руках спустился водитель, даже не прикрыв как следует дверь. Я думал, нам уже пора, но Бублик толкнул меня в бок и зашипел:

— Подожди! Ты что! Они сначала пломбы проверять будут!

Я уже забыл, что Моргот сказал нам и об этом.

Водитель с бумагами, продемонстрировав охранникам пломбы, направился в стеклянную будку.

— Пора, — шепнул мне Бублик: двое охранников отошли от машины к резервуару. В тот миг, когда за водителем закрылась дверь, мы с Бубликом выскочили из засады и кинулись на заправку.

— Дяденька! Дяденька, помогите! Помогите, пожалуйста! — хором орали мы на бегу.

Моргот не надеялся, что охранники поспешат нам на помощь, но не оглянуться в нашу сторону они не могли! Ему нужно было совсем немного времени, чтобы незамеченным подойти к бензовозу и плеснуть бензином ему под колеса. Я видел, как Моргот поставил открытую канистру в лужу и перехватил разводной ключ в правую руку.

Собственно, дальше наши слова не имели никакого значения, но мы продолжали орать что-то про маму, у которой не заводится машина. Один из охранников двинулся в нашу сторону — они ведь прежде всего были людьми, а уже потом охранниками, а перепуганные дети могут разжалобить кого угодно. Тем более что кричали мы очень громко и наперебой, и разобрать в нашем оре членораздельные слова было трудновато. Моргот в это время поднялся на первую ступеньку в кабину бензовоза, но второй охранник неожиданно оглянулся и крикнул:

— Куда!

Он растегивал кобуру слишком медленно, но вдруг из открытой двери кабины высунулся еще один человек — ни Моргот, ни, разумеется, мы не могли предвидеть, что водителей будет двое! Он ударил Моргота большим гаечным ключом по голове, ударил очень сильно, но Моргот как будто и не обратил на это внимания. Я не знаю, откуда в нем взялась сила: он буквально выдернул нападавшего из кабины и с размаху врезал ему по лицу разводным ключом — гораздо более тяжелым, чем ключ гаечный. Второй водитель вывалился на асфальт мешком. Я не знаю, убил его Моргот или только ранил, но это заняло у него не более секунды. Сам Моргот не удержал равновесия и скатился со ступеньки на землю.

— Я буду стрелять! — охранник только-только успел достать из кобуры пистолет, его товарищ спешил ему на помощь, позабыв про нас, да мы и сами забыли, что нам надо бежать отсюда со всех ног.

Охранник, видимо, стрелять не привык, или ему не положено было это делать, потому что пистолет он направил вверх.

Моргот спокойно щелкнул бензиновой зажигалкой: у него в руке загорелся маленький огонек. В тот же миг раздался выстрел — охранник выстрелил в воздух и сам чуть присел от испуга, услышав грохот. Под ногами Моргота растекалась бензиновая лужа, а из раны на голове на лицо лилась кровь.

Вторым выстрелил охранник, который хотел помочь нам, и выстрелил в Моргота, а не вверх, но на бегу не попал. К нему из стеклянной будки бежал водитель бензовоза и кричал:

— Не стреляй, дубина, не стреляй! Все щас взлетим на воздух!

За ним спешил третий охранник, в камуфляже и с автоматом, — этот бы не промахнулся и предупредительных выстрелов делать бы не стал, по глазам было видно. Но водитель повис на дуле автомата:

— Сдурели все, что ли? Одной искры хватит! Это же террорист, он сумасшедший, он всех нас взорвет! Ему терять нечего!

Двадцать тонн бензина... Это я узнал потом, тогда я и представить не мог, много это или мало. Глядя на Моргота, никто бы не усомнился в том, что он может кинуть зажигалку в бензиновую лужу. Или уронить... На пороге стеклянной будки появились еще трое, но сразу же замерли, уставившись на Моргота. И остальные тоже замерли. Я не видел их лиц, они стояли к нам спиной, но они были неподвижны, они были перепуганы!

Глаза Моргота стали безумными и очень белыми на фоне красной блестящей крови. Мне показалось, что они светятся. В этот миг он был так похож на тех, кого нам показывали по телевизору, называя сумасшедшими фанатиками! Стало очень, очень тихо. Моргот медленно опустил на землю разводной ключ, и его звон показался мне оглушительным: все как один вздрогнули от этого звука. А Моргот не спеша вытер лицо рукавом, а потом

сжал правый кулак. Я ждал, что он сейчас вскинет его вверх, но вместо привычного жеста Моргот изобразил совсем другой — ударил по внутренней стороне локтя левой рукой, сжимавшей зажигалку, покачал кулаком и хрипло выкрикнул, скривив лицо:

— Непобедимы!

Я не ждал от него этого слова. Для него это было не просто слово, привычное для Макса, например. Этим словом Моргот причислял себя к тем, над кем всегда смеялся. А грубым жестом словно стремился от них отмежеваться. В его голосе не было торжества или злорадства, но в ту минуту он действительно был непобедим.

Никто не шевельнулся, Моргот ловко поднялся в кабину и хлопнул дверцей. Они все равно не решились стрелять — искру могла выбить пуля, попавшая в асфальт.

Охранники едва успели отбежать в сторону, когда бензовоз, хрипя мотором, начал неуклюже разворачиваться, чуть не задев лежавшее на асфальте тело водителя. На миг кабина повернулась прямо к нам с Бубликом, и за бликующим стеклом я увидел лицо Моргота. Он держался за руль так крепко, словно висел над пропастью и мог упасть. Глаза его, все еще сумасшедшие, чуть расширились: он боялся. Я почувствовал его страх сквозь разделявшее нас стекло и пространство. Страх и что-то еще, неизвестное мне тогда: то, что рождает дрожь, но не от страха и не от волнения. Небывалая сила, охватывающая человека в самые высокие минуты его жизни. Я до сих пор помню его лицо в ту секунду, словно в моей памяти навсегда отпечатался фотографический снимок. Я не видел его губ — их загораживал руль, только глаза, удивленно раскрытые, и поднятые брови. Он боялся и не верил самому себе. И лоб, залитый кровью, и скулы, еще резче выступившие на лице оттого, что на них блестела кровь. И спутанные волосы, свисающие сосульками. Я смотрел на него не более секунды. А потом бензовоз взревел, из выхлопной трубы вырвался сноп черного зловонного дыма, и цистерну передернуло со скрежетом: огромная машина напомнила мне ползучее чудовище, гигантскую сороконожку на мягких лапах, закованную в панцирь, изрыгающую

дым и несущую в брюхе огонь, целое море огня. Колеса податливо вмяли в себя поребрик, неуклюже вильнул негнувшийся хвост, чудовище выкатилось на дорогу и помчалось прочь, набирая скорость, сказочную скорость для такого неповоротливого гиганта.

На этом месте я хотел закончить книгу, но Бублик заставил меня написать последнюю страницу. Я не хотел ее писать. И не спешу перечитывать.

Мы слышали вой сирен, доносившийся со всех сторон и двигавшийся в сторону аэропорта. Синие с красным сполохи затмевали свет фонарей и отражались от неба. Мы слышали выстрелы — короткие очереди — и понимали, что солдаты стреляют по бензовозу. В небе появились стрекочущие вертолеты. Вся эта кутерьма отдалялась от нас, и вскоре сирены стали еле слышными.

Мы увидели пламя, которое метнулось в небо огромным заостренным штыком, словно вспарывая ему живот. Штык развернулся светящимся грибом на тонкой ножке и застыл, клубясь и переливаясь черным, белым, красным и желтым. Грохот взрыва докатился до нас не сразу — сначала под нами вздрогнула земля, словно по ней прошла рябь, как по воде.

Тогда Бублик схватил мою руку и крикнул, дергая меня за пальцы:

— Он выпрыгнул! Вот увидишь, он успел спрыгнуть!

И я кивал ему, когда мы со всех ног бежали с заправок к центру города, и тоже говорил, что Моргот обязательно успел спрыгнуть. На нас никто не обращал внимания, все уставились в сторону зарева, разливавшегося за кольцевой дорогой.

Мы ждали его очень долго. Наверное, несколько недель. Пожар в аэропорту показывали по телевизору, говорили о миллионном ущербе, причиненном случайным взрывом бензовоза. И ни слова не говорили о Морготе. Потом мы считали, что он уехал куда-нибудь далеко, где его не найдут. Потом рассказывали Первуне о том, что Моргот ушел к партизанам, сражались. Потом появились сказки о том, что он был с другой планеты и вернулся на нее, выполнив свою миссию. Поэтому он и называл себя демоном, запертым на Земле. Еще Бублик

говорил, что Моргот пришел к нам из будущего, и когда мы станем взрослыми, то обязательно его встретим. У входа стояли его тапочки. То там, то здесь лежали открытые пачки его сигарет. Перед зеркальцем над умывальником валялся не отмытый от мыла помазок. Все было так, как будто он только что ушел и вот-вот должен вернуться.

Мы продолжали жить в подвале, и только через полгода, когда нам пришлось оттуда уйти, мы с Бубликом собрали вещи Моргота — их было совсем немного. В том числе записная книжка, которую я храню на память о нем.

— Килька! — голос Моргота выводит меня из полудремы. — Ты что-то раскис.

Бублик спит в комнате для гостей, и первое мое желание — немедленно его разбудить. Чтобы он увидел, чтобы он поверил мне. Но Моргот качает головой:

— Не надо. Пусть спит.

— Я думал, ты больше не придешь. Мне казалось, я убил тебя во второй раз, в своей книге.

— Килька, это ерунда. Меня вообще нельзя убить, — он смеется, и я не понимаю, шутит он или говорит серьезно. — Так что ты напрасно волновался. Можешь дополнить трагический финал некоторыми деталями.

— Я не хочу ничего дополнять. У меня была совсем другая задумка. Я хотел все переиначить. Я хотел тебя спасти!

— Килька, тебе же не одиннадцать лет. Ты же не веришь в Деда Мороза, правда? Не переживай. Я не заметил своей смерти, я даже не успел почувствовать боль, хотя ехал и боялся именно боли. Я умер еще до взрыва. Я могу тебе сказать, что никогда в жизни не испытывал такого восторга, ни одна моя гонка не могла сравниться с этой. Машины — где-то там, внизу, как тараканы; и все мигают, и все воют, и в матюгальники орут — нервно орут, боятся, что моя бочка с бензином взорвется прямо щас. Стрелять боятся, на дороге передо мной выехать боятся. Это здорово, когда такая машина несется на огромной скорости, чувствуешь себя всесильным. Я даже успел исполнить свое последнее желание — выкурил сигарету. Я был счастлив, когда

умирал. Я не прикидывался счастливым, я на самом деле испытывал ни с чем не сравнимое счастье. Даже если бы я мог, я бы не захотел ничего изменять.

Я очень боюсь задавать ему этот вопрос и долго подбираю слова. Но мне надо об этом спросить.

— Моргот, скажи мне, если можешь... если хочешь... Скажи, зачем ты приходил ко мне? Чтобы я написал книгу?

— Килька, — Моргот смеется, — за книгу тебе большое спасибо. Я тронут, на полном серьезе, мне это приятно. Но ты же совсем не об этом? Не расстраивайся. Я и без всякой книги могу к тебе иногда заглядывать, просто потрепать языком.

— Ты серьезно?

— А почему нет? — он усмехается и отхлебывает коньяк из широкой рюмки, чего не делал никто из моих ночных посетителей.

ОТ АВТОРА

Он заставил меня привязаться к нему. К нему и к его «гостям. Но если кто-то думает, что Килька — сумасшедший, слышащий голоса и преследуемый видениями, то от себя могу добавить: все те, кто приходил к нему по ночам, являлись передо мной так же ясно, как и перед ним. Хотя я не знаю, кем или чем они были на самом деле, у меня нет сомнений в их реальности. И в последний раз, под утро, когда вокруг деревянного коттеджа в скандинавском стиле кружилась метель, покинувший библиотеку фантом вышел на крыльцо и развернул за спиной тяжелые черные крылья.

Литературно-художественное издание

ДЕНИСОВА ОЛЬГА ЛЕОНАРДОВНА

МАТЬ СЫРА ЗЕМЛЯ

Редактор *Елена Липлавская*
Компьютерная верстка *Ольга Денисова*
Корректор *Елена Липлавская*

Подписано в печать 13.04.2013
Формат 84×108 1/32. Гарнитура «Баскервиль». Отпеча-
тано с готового оригинал-макета по технологии Print-on-
Demand. Усл. печ. л. 20,16. Уч.-изд. л. 18.69.

Заказ книг на сайте **www.old-land.ru**

Издательство «Сморода», 2013